РОБЕРТ

Robert

ДАРНТОН

Darnton

ЦЕНЗОРЫ

Censors

ЗА РАБОТОЙ

at Work

• ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ •

ROBERT DARNTON

Censors at Work

HOW STATES SHAPED LITERATURE

РОБЕРТ ДАРНТОН

Цензоры за работой

КАК ГОСУДАРСТВО ФОРМИРУЕТ ЛИТЕРАТУРУ

Новое
Литературное
Обозрение

2017

УДК 070.13(091)
ББК 76.103(0)-7
Д20

Редакторы серии
И. Калинин, Т. Вайзер

Дарнтон, Р.
Д20 Цензоры за работой. Как государство формирует литературу / Роберт Дарнтон; пер. с англ. М. Солнцевой. — М.: Новое литературное обозрение, 2017. — 384 с. (Серия «Интеллектуальная история»)

ISBN 978-5-4448-0712-5

Книга профессора Гарвардского университета Роберта Дарнтона «Цензоры за работой» — это увлекательное исследование того, как в разных обстоятельствах и в разные времена работает цензура. В центре внимания автора три далеких друг от друга сюжета — роялистская Франция XVIII века, колониальная Индия XIX века и Восточная Германия на рубеже 1980–1990-х годов. Автор на многочисленных примерах прослеживает, как именно работала цензура, что сами цензоры думали о своей работе и каким образом они взаимодействовали с книжным рынком, в том числе и «черным». В книге можно найти колоритные портреты многих представителей «теневого» книжного мира — от полуграмотных завсегдатаев парижских книжных рынков до владеющих десятками языков бенгальских библиотекарей. Роберт Дарнтон показывает, какой вклад цензура вносила не только в культурную, но и в экономическую и политическую жизнь общества. Цензура предполагала слаженную работу многих людей, сплетения судеб и интересов которых могут напоминать увлекательный детективный роман.

УДК 070.13(091)
ББК 76.103(0)-7

Robert Darnton
Censors at Work. How States Shaped Literature
Публикуется по соглашению с W. W. Norton & Company
© Robert Darnton, 2014, 2017
© М. Солнцева, пер. с англ., 2017
© ООО «Новое литературное обозрение», 2017

Содержание

Вступление 7

ЧАСТЬ I. ФРАНЦИЯ БУРБОНОВ:
ПРИВИЛЕГИИ И РЕПРЕССИИ 19

Книгопечатание и закон 23

С точки зрения цензора 29

Повседневная работа 44

Проблемные случаи 63

Скандал и Просвещение 73

Книжная полиция 80

Автор в комнатах для прислуги 84

Система распространения: артерии и капилляры 94

ЧАСТЬ II. БРИТАНСКАЯ ИНДИЯ:
ЛИБЕРАЛИЗМ И ИМПЕРИАЛИЗМ 119

Любительская этнография 123

Мелодрама 132

Надзор 140

Мятеж? 161

Репрессии 173

Судебная герменевтика 183

Бродячие музыканты 192

Основное противоречие 206

ЧАСТЬ III. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ВОСТОЧНАЯ ГЕРМАНИЯ: ПЛАНИРОВАНИЕ И НАКАЗАНИЕ 207

Местные информанты 210

В архивах 231

Отношения с авторами 241

Переговоры между автором и редактором 260

Жесткие меры 274

Пьеса: шоу не должно продолжаться 290

Роман: публикация и уничтожение 301

Каким был конец цензуры 320

Заключение 331

Благодарности 353

Список иллюстраций 354

Именной и предметный указатель 355

ВСТУПЛЕНИЕ

Где в киберпространстве север? В неизведанных просторах за пределами галактики Гутенберга у нас нет ориентиров, и вопрос не только в топографии или технологиях. На заре интернета киберпространство казалось открытым и свободным. Теперь в нем чертят границы, ведут бои и возводят стены[1]. Люди, жаждущие свободы, надеялись, что электронные коммуникации обойдутся без ограничений, но эти ожидания были наивны. Кто добровольно откажется от пароля к своей электронной почте, или отключит фильтр, защищающий детей от порнографии, или оставит свою страну беззащитной перед кибератаками? Но Великий китайский фаервол и неограниченная слежка со стороны Агентства национальной безопасности доказывают стремление власти ставить свои интересы выше интересов простых людей. Дали ли новые технологии новые инструменты, которые помогут воле государства перевесить права его граждан? Возможно. Но не стоит думать, что такого никогда не бывало в прошлом. Чтобы до некоторой степени понять текущую ситуацию, мы должны изучить все попытки государства контролировать средства коммуникации.

1. *John Palfrey*. Four Phases of Internet Regulation // Social Research 77 (Fall 2010): 981–96. Пример взгляда на киберпространство как пространство свободы: *John Perry Barlow*. A Declaration of the Independence of Cyberspace (доступно онлайн на www.eff.org/cyberspace-independence).

Эта книга призвана показать, как выглядели эти попытки, причем в конкретное время и в конкретном месте, так что их можно рассмотреть во всех подробностях. Это взгляд изнутри, ведь расследование приводит в закрытые кабинеты и на секретные задания, в ходе которых государственные служащие распоряжались судьбой чужих высказываний, допуская или не допуская их в печать или запрещая книги уже после выхода их в свет.

История книги и попыток ее контролировать не откроет методов, которые можно напрямую применить к процедурам контроля над цифровыми коммуникациями. Ее важно изучить по другой причине. Показывая изнанку работы цензоров, она дает понять, как думают создатели подобных стратегий, как государство оценивает угрозы своей монополии на власть и как пытается бороться с этими угрозами. Сила печатного слова может представлять не меньшую опасность, чем кибератака. Как ее определяли государственные служащие и какими соображениями руководствовались в своих действиях? Ни один историк не может влезть в голову мертвому человеку, да и живому, раз уж на то пошло, хотя последний может дать интервью для исследования по современной истории. Но с помощью документов мы можем определить общий характер мышления и поведения цензоров. Архивы редко предоставляют достаточно информации на эту тему, ведь цензура работает тайно, а тайны, как правило, остаются нераскрытыми или утерянными. Однако, собрав необходимое количество свидетельств, можно наткнуться на невысказанные догадки и скрытую деятельность чиновников, ответственных за контроль над печатью. И тогда архивы позволяют обнаружить больше информации. Можно понаблюдать за работой цензоров, проверяющих текст строчка за строчкой, или узнать ход полицейских мер против запрещенных книг, которые утверждают границы между

законным и незаконным. Эти границы необходимо очертить, ведь они зачастую были нечеткими и нередко менялись. Где проходит черта между Кришной, веселящимся с пастушками, и недопустимым эротизмом в бенгальских книгах или между соцреализмом и «позднебуржуазной» литературой в коммунистической Восточной Германии? Подобные разграничения концепций интересны сами по себе и важны ввиду их влияния на практические действия. Всевозможные преследования книг, попадающие в категорию последующей цензуры, показывают, как государство боролось с литературой на улицах, предоставляя описания эпизодов, приоткрывающих отчаянных или бесчестных людей, действующих вне закона.

На этом этапе исследование наполняет азарт погони, ведь полиция — или ее аналог, в зависимости от конкретной исторической ситуации, — натыкается на детали, редко попадающие в книги по истории. Бродячие музыканты, хитрые нищие, мятежные проповедники, торговцы-авантюристы, писатели всех мастей, знаменитые и неизвестные, включая поддельного свами и охочую до скандала горничную, даже сами полицейские, иногда переходящие на сторону своих жертв, населяют страницы этой книги наряду с цензорами всех мастей. Мне кажется, такие детали человеческой жизни сами по себе заслуживают внимания, но, пересказывая истории настолько точно, насколько возможно, я хочу достичь большего — нового взгляда на историю цензуры, который был бы одновременно сравнительным и этнографическим.

За исключением выдающихся мастеров вроде Марка Блоха, историки призывают к сравнительным исследованиям куда чаще, чем проводят их[1]. Это трудоемкий жанр не только потому, что требует ориентироваться

1. См.: *Marc Bloch*. Pour une histoire comparée des sociétés européennes // Marc Bloch. Mélanges historiques, vol. 1 (Paris, 1963), 16–40.

в разных областях знаний и владеть разными языками, но и потому, что перенимает все недостатки сравнения. Яблоки с апельсинами еще можно не перепутать, но как изучать два учреждения, которые выглядят одинаково или носят одно название, но действуют по-разному? Человек, которого называют цензором в одной системе, может действовать согласно таким правилам игры, которые будут совершенно недопустимы для цензора в другой. Да и сами игры будут разными. Само упоминание литературы в некоторых культурах обладает непреодолимо большим весом, чем в других. В советской России, как сказал Александр Солженицын, литература была столь могущественна, что «могла ускорить историю»[1]. Для большинства американцев она значит меньше, чем профессиональный спорт. Но и их отношение сильно изменялось с течением времени. Литература занимала важнейшее место в их жизни три сотни лет назад, когда Библия (особенно женевские издания, по большей части заимствующие из одухотворенного перевода Уильяма Тиндейла) куда более непосредственно воздействовала на бытие людей. На самом деле, говорить о литературе у пуритан — некоторый анахронизм, так как этот термин отсутствовал в повседневной речи до XVIII века. Корректнее было бы сказать «религия» или «священное», что верно и для многих других древних культур, например для Индии, где исторические источники нельзя безошибочно отделить от мифологии. Но вместо того, чтобы углубляться в терминологию, я надеюсь уловить подход — понять общий настрой культурной системы, ее невысказанные реакции и имплицитные ценности через действия, к которым они приводят. Сравнительный анализ, на мой взгляд, лучше всего работает на системном уровне. Поэтому я решил воссоздать облик

1. *Aleksandr Solzhenitsyn*. The Oak and the Calf: Sketches of Literary Life in the Soviet Union (New York, 1980), 33.

цензуры при трех авторитарных режимах: монархии Бурбонов во Франции XVIII века, Британской Индии XIX века и коммунистической диктатуре в XX веке в Восточной Германии. Каждый из них заслуживает отдельного изучения. А если сравнить их вместе, можно пересмотреть историю цензуры в целом.

Может показаться, что нужно начать с вопроса: что такое цензура? Когда я попросил своих студентов привести мне примеры, там были такие ответы (кроме очевидных упоминаний репрессий при Гитлере и Сталине).

- Оценки.
- То, что к профессору нужно обращаться «профессор».
- Политкорректность.
- Отзыв на научную работу.
- Любой отзыв.
- Редактура и публикация.
- Запрет на автоматическое оружие.
- Присяга или отказ от присяги флагу.
- Подача заявления или выпуск прав на вождение автомобиля.
- Наблюдение со стороны Агентства национальной безопасности.
- Система оценки фильмов Американской ассоциацией кинокомпаний.
- Закон о защите детей в интернете.
- Камеры, фиксирующие скорость.
- Необходимость соблюдать скоростной режим.
- Засекречивание документов для защиты национальной безопасности.
- Засекречивание чего-либо.
- Алгоритмы ранжирования в поисковых системах.
- Использование «она» вместо «он» как местоимения по умолчанию.
- Ношение или не ношение галстука.
- Вежливость.
- Молчание.

Этот список можно продолжать бесконечно, включая в него законные и незаконные санкции, психологический и технологический отсев и любое поведение со стороны государственной власти, частных компаний, дружеских групп и отдельных людей, пытающихся разобраться в секретах собственной души. Оставив в стороне вопрос о том, правомерны ли приведенные примеры, можно увидеть, что широкое понимание цензуры может включать в себя почти все, что угодно. Может показаться, что цензура неизбежно существует повсюду, но повсюду значит нигде. Всеохватывающее понятие стерло бы все различия и, таким образом, потеряло бы смысл. Включать в цензуру запреты любого рода — значит превратить ее в общее место.

Вместо того чтобы начать с определения, а потом искать примеры, его подтверждающие, я начал с допроса самих цензоров. У них нельзя взять интервью (цензоры из Восточной Германии из третьей части книги являются редким исключением), но можно услышать их голоса в архивных документах и задать им вопросы, проверяя и изменяя интерпретации от одного документа к другому. Нескольких отдельных рукописей недостаточно. Нужны тысячи, и поиск должен быть очень глубоким, чтобы показать, как цензоры справлялись с повседневными задачами. Тогда наиболее уместным становится вопрос: как они работали и как осмысляли свою работу? Если свидетельств достаточно, можно выявить особенности поведения среди цензоров и окружающей их среды — от отсеивания рукописей редакторами до изъятия книг полицией. Роли могут меняться в зависимости от организации, а распределение обязанностей между ними будет зависеть от социополитического строя. Но было бы неправильно ожидать, что все публикации проходят один и тот же путь и что, если они оскорбили власть, их будут преследовать одним и тем же способом. Здесь нет общих моделей.

Зато в изучении цензуры за последние сто лет сложились общие подходы[1]. Рискуя все излишне упростить, я назову два: во-первых, история борьбы за свободу высказывания против государственной и церковной власти, во-вторых, описание всех запретов, касающихся распространения информации. Несмотря на то что они так противоположны друг другу, мне кажется, оба заслуживают обсуждения.

Первый выглядит манихейским. Он противопоставляет детей света детям тьмы и обращается ко всем защитникам демократии, принимающим определенные истины как самоочевидные[2]. Какова бы ни была их логическая или эпистемологическая ценность, эти истины служат основным принципом не только в абстрактных рассуждениях, но и в политической практике. Первая поправка к Конституции США является отправной точкой законов и судебных решений, давших определение и очертивших пределы «свободы слова и печати», как это записано в тексте одной великолепной фразой[3]. Интеллектуалы могут высмеивать «абсолютизм Первой поправки»[4], но свобода, заложенная в Билле о правах, относится к политической культуре, которую даже можно назвать «светской религией»[5], развивающейся в течение двух с лишним

1. Обзор литературы: Censorship: A World Encyclopedia, ed. Derek Jones, 4 vols. (London and Chicago, 2001).
2. См.: *Reinhold Niebuhr.* The Children of Light and the Children of Darkness: A Vindication of Democracy and a Critique of Its Traditional Defence (New York, 1944).
3. Первая поправка гласит: «Конгресс не должен принимать законов, поддерживающих утверждение государственной религии, запрещающих свободно практиковать таковую или ограничивающих свободу слова или печати, право людей на мирное собрание и на обращение к правительству за удовлетворением жалоб».
4. *Stanley Fish*. There's No Such Thing as Free Speech, and It's a Good Thing, Too (New York, 1994), 111.
5. *Robert Bellah*. The Broken Covenant: American Civil Religion in Time of Trial (Chicago, 1992).

веков и завоевавшей преданность миллионов граждан. Придерживаясь Первой поправки, граждане США поддерживают определенный стиль жизни. Они подчиняют свое поведение власти законов, а если между ними происходит конфликт, обращаются в суд, который определяет, какой закон является актуальной практикой.

Ратуя за основные права, философы оперируют абстракциями, но они обычно понимают, что эти идеи основываются на системе власти и взаимодействия. Джон Локк, философ, чье имя в первую очередь связывают с его теорией о естественном праве, не требовал свободы слова в то время, когда предварительная цензура была обычной практикой в Англии. Наоборот, он приветствовал решение парламента не обновлять лицензионный акт, обеспечивающий работу цензуры, считая это победой над торговцами из Книгоиздательской компании, которых презирал за монополистские действия и низкопробный товар[1]. Мильтон тоже выступил против Книгоиздательской компании в «Ареопагитике», величайшем манифесте свободы слова на английском языке — великом, но ограниченном (ведь в нем не дозволялись «папизм» и «откровенные суеверия»)[2]. Эти примеры, как и другие, приходящие на ум (пример Дидро)[3], демонстрируют не принципиальную неспособность философов доказать ценность свободы слова,

1. The Correspondence of John Locke. Electronic Edition, Intelex Past Masters, vol. 5, p. 78.
2. *John Milton*. Areopagitica (Rockville, Md., 2008), 57 и 61.
3. Как свободный мыслитель, Дидро, безусловно, почитал свободу слова, но, как автор, пойманный между угрозой заключения через *lettre de cachet* (внесудебный ордер от короля) и давлением литературного рынка, контролируемого Парижской гильдией издателей и книготорговцев, он без прикрас описывал книжную индустрию того времени, которая во многом напоминала ту, что описал Мильтон веком раньше, хотя Дидро больше зависел от могущественных издателей. См.: *Denis Diderot*. Lettre sur le commerce de la librairie / Ed. Jacques Proust (Paris, 1962).

а то, что они воспринимали ее как идеал, который нужно защищать в мире экономических интересов и политических лобби. Для них свобода была не само собой разумеющейся нормой, а основным принципом политического дискурса, с помощью которого они добились общественной перестройки реальности в Европе XVI–XVII веков. Многие из нас живут в мире, который был создан этими философами, мире гражданских свобод и общечеловеческих ценностей. Эти моральные законы не устарели с появлением интернета. Трудно представить себе более бессмысленное занятие, чем осуждение цензуры без учета традиции, ведущей от Античности к Мильтону и Локку, а от них к Первой поправке и Всеобщей декларации прав человека.

Этот аргумент может показаться несколько наивным. Он не просто попахивает, от него несет низкопробным либерализмом[1]. Я должен признаться, что сам разделяю либеральные взгляды и считаю «Ареопагитику» одной из самых проникновенных полемических работ, которые я читал. Но я также осознаю, что симпатизирую второму подходу к предмету, который сбивает спесь с первого. Сказанное или написанное слово обладает

1. Трактовка истории вигами, как ее описывал Герберт Баттерфилд, подчеркивала неостановимое движение прогресса к победе над реакцией в настоящем, которое выглядит как триумф либерализма: *Herbert Butterfield*. The Whig Interpretation of History (London, 1931). Из-за своей очевидной культурной и политической предвзятости «история вигов» стала уничижительным термином, но в последней статье Уильям Кронон утверждает, что ее стоит переоценить: *Wiliam Cronon*. Two Cheers for the Whig Interpretation of History // Perspectives on History 50, no. 6 (Sept. 2012). Конечно, взгляд на историю, выступающий против цензуры как постоянного подавления правды, не обязан иметь что-то общее с вигами или быть связанным с либералами. Одно из самых известных исследований цензуры было написано консервативным историком идей Лео Штраусом: *Leo Strauss*. Persecution and the Art of Writing (Glencoe, Ill., 1952). В нем открыто порицается тот тип «историзма», который я отстаиваю в этой книге.

силой. На самом деле, сила речи не сильно отличается по принципу своей работы от других действий. Акты речи, согласно лингвистической философии, призваны произвести воздействие на окружающий мир. А их письменную форму нет причин связывать только с литературой. Некоторые теоретики литературы доходят до утверждения бессмысленности священного и защищенного конституцией понятия свободы слова. Как заявил Стенли Фиш в своем вызывающем эссе: «Свободы слова не существует, и это хорошо»[1].

Можно привести и другие тенденции, так называемые постмодернистские[2], в поддержку этой точки зрения. В отличие от тех, кто воспринимает цензуру как нарушение прав, многие теоретики приходят к выводу, что она является неизбежной составляющей социаль-

1. *Stanley Fish*. There's No Such Thing as Free Speech (Oxford, 1994), 102–19. Исследователи юриспруденции часто указывают на различные значения слова «свободный», иллюстрируя их разницей между выражениями «свободная пресса» и «свободная касса». Первое описывает действие, защищенное законом и ограниченное юридическими препятствиями, второе — продавца, готового к новой сделке. Таким образом, провозглашение свободы слова и свободного доступа к материалам в интернете не является забвением экономических и социальных реалий или приверженностью невежественному идеализму, который порицает Фиш. См.: *Lawrence Lessig*. Free Culture: How Big Media Use Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity (New York, 2004).
2. Помимо других исследований культуры, уделите внимание постмодернистским теориям, см.: *Michael Holquist*. Corrupt Originals: The Paradox of Censorship // Publications of the Modern Languages Association 109 (1994), 14–25; эссе из: Censorship and Silencing: Practices of Cultural Regulation / Ed. Robert C. Post (Los Angeles, 1998); эссе: Censorship and Cultural Regulation in the Modern Age / Ed. Beate Müller (New York, 2004); эссе из: The Administration of Aesthetics: Censorship, Political Criticism, and the Public Sphere / Ed. Richard Burt (Minneapolis, 1994), и книгу: *Sophia Rosenfeld*. Writing the History of Censorship in the Age of Enlightenment. Postmodernism and the Enlightenment: New Perspectives in Eighteenth-Century French Intellectual History / Ed. Daniel Gordon (New York, 2001).

ной жизни. С их точки зрения, цензура всегда и везде работает на уровне индивидуальной психики и общественного мышления. Она настолько вездесуща, что, как и в примерах, приведенных моими студентами, ее почти невозможно отличить от других форм контроля. Это ставит историю цензуры перед проблемой. С одной стороны, важно удерживаться от ограничения предмета исследования жесткими рамками, с другой — возникает искушение расширять его до бесконечности. Мы видим два конфликтующих подхода: один — нормативный, другой — относительный. На мой взгляд, их можно объединить, приняв оба и выведя на новый уровень анализа, который я назвал бы антропологическим. Чтобы доказать это, я привожу подробное описание работы цензуры в трех очень разных политических системах[1].

Такого рода исследование требует погружения в архивы — исторического аналога полевой работы антрополога. Мой путь начался много десятилетий назад с архивов Бастилии и коллекций Анисон-Дюперонов и Шамбре из Национальной библиотеки Франции. Благодаря ряду удачных обстоятельств я смог провести год, с 1989-го по 1990-й, в Берлинском научном колледже, а вскоре после падения Берлинской стены познакомился с некоторыми цензорами из Восточной Германии. В 1993–1994 годах я смог пополнить предоставленную ими информацию, проведя еще один год в Берлинском научном колледже в качестве стипендиата, и продолжил изучать эту тему в нескольких последующих исследованиях газет восточногерманской коммунистической партии (СЕПГ). Изучив работу цензоров в двух разных политических системах XVIII и XX веков, я решил обратиться к материалу XIX века из неевропейской части мира. Благодаря помощи Грэхэма Шоу, тогда

1. Яркое описание можно найти в: *Clifford Geertz*. The Interpretation of Cultures: Selected Essays (New York, 1973), 3–30.

заведовавшего собранием книг и документов Министерства по делам Индии в Британской библиотеке, мне удалось провести два лета, работая с невероятно подробными архивами Индийской гражданской службы.

Наконец после стольких экспедиций к богатым залежам информации я стал думать, как превратить все это в книгу. Наверное, чтобы передать полученные сведения во всей их полноте, мне пришлось бы написать три книги. Но я хотел собрать результаты исследований в одном томе, чтобы читатели могли находить общие качества в разных обстоятельствах и сравнивать их. Попытка решить концептуальные и контекстуальные проблемы, сводя вместе информацию о трех разных странах в трех разных веках, может показаться обреченной на провал, но я все же надеюсь, что эта книга, излагающая информацию столь сжато, сможет привлечь широкую аудиторию и навести читателей на размышления о проблеме, вызываемой столкновением двух сил — государства, стремящегося бесконечно расширять свою власть, и коммуникации, постоянно увеличивающей объемы с развитием технологий. Система цензуры, исследуемая в этой книге, показывает, что вторжение государства в сферу литературы далеко не ограничивается правками в рукописях. Оно доходит до формирования самого облика литературы как силы, проникающей во все слои общества. Если у государства была такая власть в эпоху печати, что может помешать ему воспользоваться ею в эпоху интернета?

ЧАСТЬ

I

ФРАНЦИЯ БУРБОНОВ: ПРИВИЛЕГИИ И РЕПРЕССИИ

Манихейский подход к цензуре искушает особенно сильно, когда речь идет об эпохе Просвещения, которую легко воспринять как противостояние света и тьмы. Она сама создала себе такой образ, а ее приверженцы на основе этого конфликта вывели новые дихотомии: разум против мракобесия, свобода против угнетения, терпимость против фанатизма. Они видели работу двух разных сил в политике и обществе: с одной стороны, общественного мнения, взятого на вооружение философами-просветителями, с другой — мощи государства и церкви. Разумеется, исторические исследования этой эпохи избегают подобного упрощения. Они разоблачают противоречия и двусмысленность, особенно когда соотносят абстрактные идеи с организациями и событиями. Но, когда речь заходит о цензуре, исторические интерпретации обычно противопоставляют репрессивные действия правительственных чиновников попыткам писателей продвигать свободу слова. Во Франции это приводило к особенно драматичным событиям: сожжению книг, аресту писателей и запрету самых выдающихся литературных произведений, в первую очередь работ Вольтера и Руссо, а также «Энциклопедии», история издания которых воплощает борьбу за освобождение знания от оков, навязанных государством и церковью[1].

1. Примеры этой тенденции в известных исследованиях Просвещения на английском языке см.: *Kingsley Martin*. French Liberal Thought in the Eighteenth Century (London, 1962; 1st ed., 1929),

В поддержку такой интерпретации говорит многое, особенно если воспринимать ее в ключе классического либерализма или защиты прав человека, то есть с современной точки зрения, берущей начало в Просвещении. Но, если говорить о правомерности такой оценки исторических фактов, ей не хватает углубленного изучения внутренней работы цензуры. Чем занимались цензоры, как они воспринимали свою задачу и как их деятельность встраивалась в существующий общественный и политический порядок?[1]

95–102; *George R. Havens*. The Age of Ideas: From Reaction to Revolution in Eighteenth-Century France (New York, 1955), 9, 27–28; *Peter Gay*. Voltaire against the Censors // Peter Gay. Voltaire's Politics: The Poet as Realist (New Haven, 1959); и *Peter Gay*. The Enlightenment: An Interpretation (New York, 1969), vol. 2, 69–79.

1. Эти вопросы особенно важны для истории книг, области исследований, которая только начинает оказывать влияние на понимание истории в целом. Чтобы составить общее представление об истории книг, можно обратиться к первой из паниццианских лекций: *D. F. McKenzie*. Bibliography and the Sociology of Texts (Cambridge, 1999).

Книгопечатание и закон

Обратите внимание, например, на титульный лист обычной книги XVIII века «Nouveau voyage aux isles de l'Amérique» (Париж, 1722). Он исписан текстом и больше похож на суперобложку, чем на титульный лист современной книги. И действительно, его предназначение во многом было таким же, как у суперобложки: он суммировал и рекламировал содержание книги любому, кто мог бы заинтересоваться ее прочтением. Кроме того, бросается в глаза, по крайней мере современному читателю, отсутствие фамилии автора. Ее просто нет. Не потому, что автор пытался скрыть свою личность: его фамилия напечатана на обложке. Но вот человек, который действительно отвечал за книгу, нес юридическую и финансовую ответственность за нее, ясно обозначен внизу страницы, и даже приведен его адрес: «В Париже, на рю Сен-Жак, магазин Пьера-Франсуа Жиффара, рядом с рю де Матюрин, под вывеской Святой Терезы». Жиффар был книготорговцем (*libraire*) и, как и многие другие книготорговцы, издавал книги (современное слово для издателя, *éditeur*, еще не вошло в употребление), покупая рукописи у авторов, обеспечивая им печать и продавая готовый продукт в своей лавке. С 1275 года книготорговцы входили в сферу ответственности университета и поэтому должны были обустраивать лавки в Латинском квартале. Особенно много их было на рю Сен-Жак, где железные вывески (вроде «вывески Святой Терезы») качались на ветру, словно ветки в лесу. Братство типографов и книготорговцев, посвященное святому Иоанну

NOUVEAU

VOYAGE

AUX ISLES

DE L'AMERIQUE.

CONTENANT

L'HISTOIRE NATURELLE DE CES PAYS, l'Origine, les Mœurs, la Religion & le Gouvernement des Habitans anciens & modernes.

Les Guerres & les Evenemens ſinguliers qui y ſont arrivez pendant le long ſejour que l'Auteur y a fait.

Le Commerce & les Manufactures qui y ſont établies, & les moyens de les augmenter.

Avec une Deſcription exacte & curieuſe de toutes ces Iſles.

Ouvrage enrichi de plus de cent Cartes, Plans, & Figures en Tailles-douces.

TOME PREMIER.

A PARIS, RUE S. JACQUES;

Chez PIERRE-FRANÇOIS GIFFART, près la ruë des Mathurins, à l'Image Sainte Thereſe.

M. DCC. XXII.

Avec Approbation & Privilege du Roy.

Ил. 1. Типичный титульный лист книги, побывавшей в руках цензора, Париж, 1722.

Богослову, встречалось в церкви Матуринов на рю де Матюрин рядом с Сорбонной, факультет теологии которой часто оценивал ортодоксальность напечатанных текстов. Так что адрес на этой книге помещает ее в сердце официальной торговли, и ее более чем законный статус становится очевиден еще и потому, что внизу страницы напечатана фраза: «С апробации и привилегии короля».

Здесь мы видим пример цензуры, потому что апробация была официальным разрешением, выдаваемым королевскими цензорами. В приведенном случае речь идет о четырех апробациях, они все напечатаны в начале книги и написаны цензорами, которые утвердили рукопись. Один из цензоров, профессор Сорбонны, снабдил свою апробацию примечанием: «Я получил удовольствие, читая эту книгу, и нашел в ней немало занимательного». Другой, профессор ботаники и медицины, подчеркнул пользу книги для путешественников, торговцев и исследователей естественной истории и особенно отметил литературный стиль. Третий цензор, теолог, просто признал, что книгу приятно читать. Он написал, что не мог ее отложить, потому что чувствовал «приятное, но не дающее покоя любопытство, которое вынуждает нас читать дальше». Разве таких слов мы ожидаем от цензора? Перефразируя вопрос в форму, с которой, говорят, Эрвинг Гофман начинал любое социологическое исследование: что происходит?

Ответ кроется уже в самой привилегии, напечатанной после апробаций. Она выглядит как письмо от короля его чиновникам в судах, сообщающее, что король даровал автору книги, чье имя впервые упоминается в этот момент, эксклюзивное право печатать и продавать свое произведение через посредников из гильдии книготорговцев. Привилегия — это длинный и сложный текст, в котором подробно оговариваются физические качества книги. Ее следовало печатать на «хорошей бумаге, красивым шрифтом, в соответствии с нормами

vû moi-même durant presque huit années la plûpart des choses dont il y est parlé, je les ai trouvé décrites avec une exactitude & avec une netteté qui ne laisse rien à souhaiter. L'Auteur entre dans des détails qui instruiront même ceux du Païs, & par son seul Livre on peut apprendre en Europe ce qu'il y a de plus interessant pour nous à l'Amerique. Il sera difficile d'en commencer la lecture sans éprouver cette douce, quoiqu'avide, curiosité qui nous porte à poursuivre. On n'y trouvera rien qui soit contraire à la Foi & aux bonnes mœurs. Donné à Paris dans nôtre Maison de Saint Honoré ce 17. Aoust 1719.

F. NICOLAS JOUIN, *Professeur en Theologie, de l'Ordre des FF. Prêcheurs, & Regent.*

APPROBATION DE M. HENRY BESNIER, *Docteur Regent en Medecine en l'Université de Paris, & ancien Professeur de Botanique aux Ecoles de la Faculté.*

J'AY lû avec une attention singuliere, *les Memoires du R. P. Labat-Missionnaire de l'Ordre des FF. Prêcheurs aux Isles Françoises de l'Amerique* Rien à mon avis n'est si utile aux voiageurs, aux Habitans de ce Païs, aux Commerçans, & à ceux qui s'appliquent à l'étude de l'Histoire naturelle. Les remarques judicieuses de l'Auteur sur ce qui concerne cette Partie du Monde, le style simple & concis de ces Memoires attireront sans doute l'approbation de ceux qui ont connoissance du Païs, & donneront à d'autres l'envie d'en connoître la verité en faisant le même voyage. Rien n'est donc si necessaire au Public que l'Impression de cet Ouvrage. A Paris ce 4. Octobre 1719.

BESNIER.

APPROBATION DE M. l'Abbé RAGUET.

J'AY lû par l'ordre de Monseigneur le Chancelier *les Memoires des nouveaux Voyages aux Isles de l'Amerique, par le P. Labat, de l'Ordre de S. Dominique*: & ils m'ont paru dignes de la curiosité du Public. Fait à Paris le premier Septembre 1721.

RAGUET.

PRIVILEGE DU ROY.

LOUIS par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre: A nos amez & feaux Conseillers les Gens tenans nos Cours de Parlemens, Maîtres des Requestes ordinaires de nostre Hôtel, Grand Conseil, Prevost de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra, SALUT. Nostre bien amé le P. Jean-Baptiste Labat, Missionnaire de l'Ordre des FF. Prêcheurs, Nous ayant fait remontrer qu'il souhaite-

Ил. 2. Апробации и привилегия, напечатанные перед текстом «Nouveau voyage aux isles de l'Amérique». Некоторые замечания в тексте привилегии (здесь приведена только первая часть) указывают на легальные действия, предпринятые для ее коммерческого применения: 1. Книга включена в официальный реестр Парижской гильдии издателей и книготорговцев. 2. Автор, Ф. Ж.-Б. Лаба, официально отказался от привилегии, которую ему предоставили, в пользу двух книготорговцев: Жиффара и Кавелье-сына. (Как показывает предыдущая отметка, только книготорговцы и издатели могли продавать книги.) 3. Жиффар и Кавелье-сын подтвердили, что разделили привилегию на четыре части, каждый оставил себе одну, а две другие они вместе передали Кавелье-отцу и Теодору ле Гра, тоже книготорговцам.

торговли книгами». Эти нормы задавали строгие стандарты качества: бумага должна была быть сделана из волокна определенного сорта, шрифт должен был быть откалиброван так, чтобы *m* в ширину занимала ровно столько же места, что и три *l*. Это было кольберианство в чистом виде, то есть продвижение государством торговли посредством установления стандартов качества и защиты интересов гильдий системой тарифов, изначально введенное в практику самим Жаном-Батистом Кольбером. Заканчивается привилегия так же, как и все королевские эдикты: «Ибо такова наша воля». Юридически книга существовала благодаря волению короля, это был результат «милости» правителя. Слово *grâce* можно встретить во всех ключевых эдиктах, касающихся книготорговли. Более того, *Direction de la librairie,* или королевская администрация, управляющая книготорговлей, была разделена на два отдела: *Librairie contentieuse*, улаживающий конфликты, и *Librairie gracieuse*, распределяющий привилегии. Наконец, после текста привилегии идет несколько абзацев, утверждающих, что она была внесена в реестр гильдии книготорговцев, а также разделена на части, проданные четырем разным людям.

Итак, на взгляд современного человека, все это выглядит довольно странно: мы видим цензоров, высоко оценивающих стиль и литературные качества книги, вместо того чтобы вырезать из нее крамолу, короля, распространяющего на нее свою милость, и гильдию книготорговцев, которая делит эту милость и продает по частям, как будто это имущество. Действительно, что происходит?

Чтобы разгадать эту головоломку, нужно воспринимать книгу в XVIII веке так же, как некоторые банки с джемом или коробки с печеньем в Англии, которые привлекают внимание иностранцев тем, что существуют «по специальному предписанию Ее Величества Королевы». Книга была ценным продуктом, она имела

высочайшую апробацию, выдавая которую цензоры ручались за высокое качество текста. Цензура не сводилась к уничтожению крамолы. Она была *позитивной* и служила королевским одобрением книги и официальным приглашением прочесть ее.

Ключевым понятием в этой системе является «привилегия». Привилегии вообще были организующим принципом в эпоху Старого режима, не только во Франции, но и во всей Европе. Закон не распространялся на всех в равной мере, ведь предполагалось, что все люди рождены неравными — и в этом нет ничего плохого, так как иерархия была определена Богом и является частью природы. Идея равенства перед законом была невообразима для большинства европейцев, за исключением нескольких философов. Закон был особым распоряжением, выдаваемым конкретным людям или группам людей согласно традиции и с дозволения короля. И подобно тому как привилегии даровались знатным людям из хороших семей, их получали и высококачественные книги. Более того, в издательском деле привилегии действовали на трех уровнях: привилегия была у книги (современная идея авторского права еще не существовала нигде, кроме Англии), у книготорговца (он обладал эксклюзивным правом продавать книги как член гильдии) и у гильдии (она имела определенные права, например освобождение от большинства налогов). Короче говоря, монархия Бурбонов разработала сложную схему управления силой печатного слова. Как продукт системы, приведенная книга служит лицом целого режима.

С точки зрения цензора

Таковы были формальные характеристики печати при Старом режиме. Как выглядела эта система за фасадом титульных страниц и привилегий, то есть с точки зрения самих цензоров? К счастью, подборка рукописей в Национальной библиотеке Франции изобилует информацией о том, как цензоры выполняли свою работу в 1750-е и 1760-е годы. Тысячи их писем и рапортов главному директору книжной торговли (*Direction de la librairie*) К. Г. де Ламуаньону де Мальзербу описывают их методы работы и, что особенно интересно, причины, по которым они удовлетворяли запрос на привилегию или отказывали в ней[1].

1. Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22137–22152. Из этих обширных реестров первые три содержат *jugements*, предоставляемые цензорами Мальзербу, собранные под их именами. Остальные двенадцать представляют собой набор документов разных типов, в том числе многие *jugements*. Несмотря на их подробность, документы охватывают только период с 1750 по 1763 год, когда Мальзерб был директором по книжной торговле. Друг и покровитель нескольких просветителей, он был известен своей гибкостью и толерантностью и был вынужден постоянно защищать власть государства от попыток церкви, университетов и парламентов вмешаться в надзор за книготорговлей. Преемник Мальзерба, Антуан де Сартин (1763–1774), в целом продолжал его либеральную политику, но при более поздних директорах были периоды репрессий, особенно при Ле Камю де Невийя (1776–1784). Следующие наблюдения ограничены директорством Мальзерба, хотя я обращался ко всему материалу из обширной коллекции Анисона-Дюперонов и пытался прочесть любые документы за 1769–1789 годы. Полный обзор этой коллекции см.: Inventaire de la Collection Anisson sur l'histoire de l'imprimerie et la librairie principalement à Paris

Как тайная переписка с Мальзербом, рапорты рассматривают книги с откровенностью, немыслимой в официальных оценках. Иногда цензоры просто, на всякий случай, убеждались, что в рукописи нет ничего, оскорбляющего религию, мораль или государство, — это были основные критерии, которыми они должны были руководствоваться. Но многие положительно отзывались о стиле и содержании, даже если их отзыв состоял всего из пары строк. Вот, например, типичная рекомендация к привилегии: «Я изучил, по приказу господина канцлера, *Lettres de M. de la Riviure*. На мой взгляд, книга хорошо написана и полна разумных и поучительных рассуждений»[1]. Когда цензорам нравился текст, они не жалели слов в его поддержку. Один из них дал точное перечисление всех качеств, которые оправдывали получение привилегии книгой о Британских островах: безупречная организация материала, великолепная

(manuscrits français 22061–22193), 2 vols. (Paris, 1900). Среди исследований цензуры во Франции XVIII века, на мой взгляд, лучшим является: *Raymond Birn*. Royal Censorship in Eighteenth-Century France (Stanford, 2012). Другая работа (*Nicole Herrmann-Mascard*. La Censure des livres à Paris à la fin de l'Ancien Régime, 1750–1789 (Paris, 1968)) заимствует многое из сенсационной работы: *J.-P. Belin*. Le Commerce des livres prohibés à Paris de 1750 à 1789 (Paris, 1913). Но немало ценного можно найти в более современных работах, в особенности: *William Hanley*. The Policing of Thought in Eighteenth-Century France // Studies on Voltaire and the Eighteenth Century 183 (1980), 265–93; *Barbara Negroni*. Lectures interdites: Le travail des censeurs au XXVIIIe siècle, 1723–1774 (Paris, 1995); *Georges Minois*. Censure et culture sous l'Ancien Régime (Paris, 1995); *Edoardo Tortarola*. Invenzione della libertà di stampa: Censura e scrittori nel Settecento (Rome, 2011). Есть две публикации, связанные с моими собственными исследованиями бумаг из дирекции по книжной торговле: Reading, Writing, and Publishing in Eighteenth-Century France: A Case Study in the Sociology of Literature // Daedalus (Winter 1971), 214–56; Censorship, a Comparative View: France, 1789 — East Germany, 1989 // Historical Change and Human Rights: The Oxford Amnesty Lectures 1994 (New York, 1994), 101–30.

1. *Abbé Geinos*. Nov. 24, 1750, Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22137, document no. 103.

история, точнейшая география, то, что нужно, чтобы удовлетворить любопытство читателя[1]. Другой цензор хвалил книгу по этике в основном за эстетические качества. Хотя ему не хватало величия слога, текст был прост и ясен, расцвечен забавными случаями и написан так, чтобы удерживать внимание читателя, убеждая его в преимуществах добродетели[2]. Некоторые одобрительные рапорты доходят до того, что похожи на рецензии[3]. Один цензор увлекся похвалами книге о путешествиях, но потом остановил себя и решил отправить краткий отзыв, «чтобы избежать вторжения в сферу журналистики»[4].

Литературные соображения особенно заметны в негативных отзывах, где можно было бы ожидать особенно фанатичную борьбу с крамолой. Один из цензоров осудил «легкомысленный и шутливый тон» трактата о космологии[5]. Другой не высказал теологических возражений против биографии пророка Мухаммеда, но нашел ее поверхностной, а проведенные исследования недостаточными[6]. Третий отказался рекомендовать учебник по математике, потому что он не описывал задачи достаточно детально и не приводил кубические

1. *Lagrange de Chécieux*. Sept. 6, 1759, ms. fr. 22138, no. 2.
2. *Simon*. May 2, 1752, ms. fr. 22139, no. 113. «Эта рукопись, предваренная вводным словом, лишена величественного и пышного стиля, которого можно было бы ожидать от такой темы. Но, несмотря на свою простоту, написана она внятно и может убедительно доказать, что добродетели, которые в ней обсуждают, могут принести преимущества и способствовать совершенствованию всех людей. В целом она полна интересных исторических замечаний, соответствующих рассматриваемым добродетелям, и забавных случаев, которые могут развлечь читателя, наставляя его поучительными максимами. Не найдя в рукописи ничего, что могло бы помешать ее изданию, я думаю, что должен ее одобрить».
3. Например, *de Mareille*. May 4, 1752, ms. fr. 22138, no. 111, on a Vie de Grotius.
4. *Lagrange de Chécieux*. Nov. 6, 1757, ms. fr. 22152, no. 190.
5. Недатированное сообщение аббата Фуше (ms. fr. 22137, no. 90).
6. Недатированное сообщение Дегинье (ms. fr. 22137, no. 135).

и квадратные степени некоторых величин[1]. Четвертый отверг юридический тракт на основании того, что там была некорректная терминология, неправильно датированные документы, неверно истолкованные термины и множество орфографических ошибок[2]. Оценка кампаний Фридриха II вызвала негодование пятого цензора не из-за неподобающей оценки международной политики Франции, а так как это была «компиляция, составленная без всякого вкуса и стыда»[3]. А шестой отказал труду в защиту религиозных традиций от нападок вольнодумцев в первую очередь за небрежность:

> Это вообще не книга. Невозможно понять ход мысли автора, пока не дочитаешь до конца. Сначала он долго рассказывает об одном, а потом перескакивает далеко назад. Его аргументы слабы и поверхностны. Его слог, пытаясь звучать живо, становится просто нахальным… Стараясь ввернуть красивую фразу, он зачастую производит нелепое впечатление[4].

Разумеется, в рапортах содержится множество комментариев, осуждающих нетрадиционные идеи. Цензоры, безусловно, защищали церковь и короля. Но они работали, исходя из того, что апробация — это положительный

1. *Le Blond*. Oct. 2, 1752, ms. fr. 22138, no. 38. В похожем недатированном сообщении де Парсьё отказывает математическому трактату за «мешанину из огромного количества задач, в которой невозможно найти никакого порядка или метода… Автор обращается с задачами, как рабочий из Лимузина со штукатуркой… С начала [рукописи] до ее конца невозможно ничего усвоить, но было бы еще хуже, если бы это случилось. У нас и так довольно книг, которые плохо учат». Ms. fr. 22139, no. 3.
2. Неподписанное и недатированное сообщение (ms. fr. 22140, no. 12).
3. *Delaville*. Nov. 23, 1757, ms. fr. 22138, no. 19. «Это компиляция, составленная без всякого стеснения и вкуса… Я нахожу работу отвратительной по форме и содержанию».
4. *Foucher*. Jan. 17, 1754, ms. fr. 22137, no. 94.

отзыв о книге, а привилегии подразумевают поддержку короны. Цензоры выражали свое мнение как образованные люди, желающие защитить «честь французской литературы», как сказал один из них[1]. Они часто высказывались свысока, жестко критикуя работы, не соответствовавшие стандартам, которые могли быть установлены еще в Великий век. Один из цензоров был столь же резок, как Николя Буало, самый въедливый критик XVII века, отвергая альманах, где не было ничего предосудительного, кроме языка: «Такой стиль непростителен»[2]. Другой не принял сентиментальный роман потому, что тот был «плохо написан»[3]. Третий осудил перевод английского романа только потому, что нашел его скучным:

1. *Rémond de St. Albine*. April 29, 1751, ms. fr. 22138, no. 78, где описывается отказ в апробации пьесы: «Содержание этой пьесы слишком банально, и этот недостаток автор не пытается компенсировать остроумием диалогов. В целом работа не выдерживает стиль, а автор даже допускает несколько грамматических ошибок. Огромное количество неверных рифм повсюду в тексте пьесы особенно оскорбит любого читателя с тонким вкусом. Я не вижу других причин для запрета печати этой пьесы, кроме урона, который наносит чести французской литературы невероятное изобилие работ, не стоящих внимания читателя».
2. *Guiroy*. July 24, 1753, ms. fr. 22137, no. 136. Неподписанное и недатированное сообщение об отказе в апробации антиянсенистской работы было столь же прямолинейным. Ее содержание было полностью приемлемым, но «вся работа содержит огромное количество невнятностей, излишнего многословия, правильные аргументы подаются крайне неубедительно, а некоторые фразы просто не имеют отношения к французскому языку». Ms. fr. 22140, no. 17.
3. Неподписанное сообщение: *Simon*. Ms. fr. 22139, no. 107. «Этот роман плохо написан, содержит стилистические ошибки, большинство понятий использованы некорректно и даже не по-французски. Эта небольшая история лишена какого-либо правдоподобия, и пустые приключения, которые она описывает, недостаточно интересны, чтобы развлечь читателя. Не найдя ни малейшей пользы или наставления обществу, я нахожу своим долгом отказаться одобрить ее».

> Я обнаружил только тоскливое морализаторство, перемежаемое невыдающимися приключениями, плоскими шутками, невнятными описаниями и тривиальными рассуждениями... Такая работа не заслуживает официальной апробации[1].

Цензура такого рода приводила к проблеме: если работа должна быть не только безобидной, но и достойно апробации Людовика XV, разве это не отсеивает большинство книг? Цензор, работавший с упомянутым выше романом, выбрал типичное решение:

> Так как [это произведение], несмотря на свои недостатки и посредственность, не содержит ничего опасного или предосудительного и все же не оскорбляет религию, мораль или государство, я думаю, что вполне допустимо разрешить ее печать с молчаливого согласия, хотя публика и не обрадуется такому подарку[2].

Другими словами, режим создавал лазейки в юридической системе. «Молчаливое согласие», «допущение», «простое согласие», «согласие полиции» — чиновники, надзирающие за книготорговлей, разработали целую систему категорий, которую можно было использовать, чтобы разрешить печать книги без официальной апробации. Учитывая суть системы привилегий, им не оставалось ничего другого, иначе пришлось бы дать бой всей литературе того времени. Как сказал Мальзерб, вспоминая свои годы в качестве главного директора книжной торговли: «Если бы человек читал только те книги, которые сразу выходили с официальной апробацией правительства, он отстал бы от своих современников почти на сто лет»[3]. Мальзерб больше, чем

1. *De Bougainville*. Aug. 26, 1751, ms. fr. 22137, no. 33.
2. Ibid.
3. *C. G. de Lamoignon de Malesherbes*. Mémoires sur la librairie et sur la liberté de la presse (1809, оригинал 1788; перепечатка: Geneva, 1969), 300.

все предыдущие директора книжной торговли, расширил применение «молчаливого согласия», обещания закрывать глаза на продажи книги, если она не вызывала скандала столь крупного, чтобы ее приходилось изымать с рынка — обычно с помощью полиции. В отличие от привилегий молчаливое согласие не гарантировало эксклюзивного права на печать книги, но для него требовалось утверждение цензором и внесение в реестр. На титульном листе книги не оставалось никаких следов этих процедур, включая имя цензора, вместо них там часто был указан фальшивый адрес, показывающий, что книга напечатана за пределами Франции. В особенно сложных случаях цензоры могли рекомендовать *simples tolérances*, неформальную договоренность, что директор книжной торговли будет смотреть сквозь пальцы на продажу книги из-под полы или из-под прилавка. *Permissions de police* выдавались от имени генерал-лейтенанта полиции коротким произведениям-однодневкам, и они тоже могли быть изъяты, если вызывали неприятности.

Цензору, получившему новую рукопись, эта система ранжирования законности обычно оставляла три варианта действий: во-первых, он мог запросить через главного директора книжной торговли, чтобы канцлер предоставил книге привилегию, и тогда она могла выйти с апробацией и именем цензора на титульном листе. Во-вторых, цензор мог рекомендовать молчаливое согласие, тогда книга выходила без официальной поддержки, как если бы была напечатана за границей. В-третьих, он мог отказать в публикации рукописи, после чего она могла быть напечатана либо нелегально, либо никак[1]. Делая выбор, цензор должен был

1. Принятые 30 августа 1777 года правила, регулирующие книжную торговлю, вводили новое понятие, «простое разрешение», которое давало неэксклюзивное право снова опубликовать текст, чья привилегия истекла. Это делало эксплицитным право автора получать привилегию, которой он и его

учитывать сложные и часто противоречивые факторы: соответствие устоявшимся нормам религии, политики и нравственности, значимость вклада в литературу или соответствующую сферу знаний, эстетические качества и, иногда, коммерческий потенциал, возможное влияние на текущую ситуацию в стране, соприкосновение с паутиной вражды и протекций среди *le monde* — элиты, в которую входили в силу рождения, богатства и таланта и которая управляла общественной жизнью Франции. Рассмотрим два примера.

Для начала, история успеха. Шевалье де Муи — наемный писатель и по совместительству полицейский шпик обладал минимумом таланта и еще меньшими средствами, но заработал огромное количество «протекций», что в XVIII веке означало злоупотребление властью, служившее основой взаимодействия среди *le monde*. В 1751 году Муи собрал под одной обложкой несколько бульварных эссе, дав книге название «Драматические картинки» («Tablettes dramatiques»), и использовал один из своих козырей: знакомство с шевалье де Поном, одним из советников герцога де Шартра. Де Пон дал Муи возможность показать рукопись герцогу во время аудиенции в замке Сен-Клу. Взглянув на текст, герцог заметил, что надеется увидеть работу опубликованной. После этого Муи вернулся на свой чердак, настрочил цветастое посвящение герцогу и после некоторых переговоров по поводу лести в одной из фраз убедил де Пона уговорить герцога принять его. Дальше Муи намеревался протащить

наследники могли владеть вечно. Но обычно авторы передавали свои привилегии книготорговцам, публиковавшим их работы. В таких случаях эдикты 1777 года ограничивали действие привилегии временем жизни автора при минимуме в десять лет. См.: Arrêt du Conseil d'Etat du Roi, portant règlement sur la durée des privilèges en librairie. Du 30 août 1777, перепечатанный в: *Antoine Perrin*. Almanach de la librairie (Paris, 1781), который, в свою очередь, был перепечатан в: Almanach de la librairie (Aubel, Belgium, 1984).

текст через цензуру, что было нелегко, ведь в нем содержалось несколько нелестных замечаний об ученых и Французской академии. Чтобы облегчить свой путь, Муи использовал следующий козырь: протекцию маршала де Бель-Иля. Маршал написал господину де ла Реньеру, тестю Мальзерба, объясняя, что он оказывает Муи протекцию и был бы рад, если бы де ла Реньер сделал то же самое. Муи послал де ла Реньеру письмо и от своего имени, подчеркивая посвящение, двойную протекцию и важность скорого получения привилегии, потому что по коммерческим причинам он должен был выпустить книгу на рынок как можно быстрее. Де ла Реньер согласился и послал письмо Мальзербу, а Мальзерб пошел на уступку и назначил сочувствующего цензора, Ф.-А. Паради де Монкрифа, драматурга, поэта, члена Французской академии и человека, заручившегося связями среди *le monde* благодаря своим прекрасным манерам и остроумию. Монкриф понял, чего от него хотят, потому что Мальзерб в своем приказе указал, что маршал де Бель-Иль, один из самых могущественных людей Франции, заинтересован в этом деле.

Все шло хорошо, но Монкриф получил неряшливый экземпляр рукописи, написанный почерком, который едва можно было прочесть. Ему потребовалось потратить много времени и труда, чтобы расшифровать его, расставляя свои инициалы на просмотренных страницах согласно принятой процедуре. Муи, умоляя действовать быстрее, убедил цензора отдать первую часть одобренных страниц, чтобы книгу можно было внести в список на апробацию во время следующей аудиенции у Мальзерба в *Bureau de la librairie*. Таким образом, издатель мог бы начать работать над уже утвержденной частью текста, пока Монкриф читает остальное. Это было нормально, ведь Монкриф мог потом сверить корректуру с помеченными страницами рукописи. Более того, Муи предоставил ему полное право выкидывать любые спорные пассажи, одновременно заверяя, что в тексте

ничего такого нет и не может быть. Но вместо корректуры Монкриф получил свежеотпечатанную книгу вместе с материалом, который получили издатели. В нем было множество эпизодов, отсутствовавших в той версии, которую одобрил Монкриф, включая некоторые ремарки на странице 76, которые точно обидели бы его коллег из Французской академии. Монкриф рванулся в магазин, получивший первые экземпляры книги, вырвал оскорбительную страницу и потребовал от Муи заменить ее чем угодно перед поступлением в продажу основного тиража. В конце концов цензору удалось спасти свою репутацию, а автор получил желанную книгу за вычетом одной страницы благодаря своей способности обходить бюрократию и дергать за ниточки[1].

У следующей истории не такой счастливый конец. Гийом Понсе де ла Грав, адвокат и незначительный писатель, был куда более талантлив, чем месье де Муи, но совсем не так умел в поисках покровительства, хотя в какой-то момент и сам стал цензором. В 1753 году он закончил «Проект украшений города Парижа и его предместий» («Projet des embellissements de la ville et des faubourgs de Paris»), где излагались предложения по благоустройству Парижа и изменению облика публичных пространств. Под покровительством того же цензора Монкрифа, который специализировался на работах по изящным искусствам, Понсе тоже пытался выпустить свой труд под знаменем влиятельного патрона, попросив разрешение посвятить его маркизу де Мариньи, брату мадам де Помпадур и главному чиновнику, занимающемуся королевскими строительными проектами. У него ничего не вышло. Мариньи вернул набросок посвящения со скупым отказом, а когда Понсе потребовал ясного ответа, заметил: «Принять посвящение работы значило бы согласиться дать ей

1. Письма и сообщения по этому делу разбросаны по: ms. fr. 22138, nos. 151, 160, 161, 168; ms. fr. 22149, nos. 18–24.

официальную апробацию». Более того, он не дал Понсе обратиться к самой мадам де Помпадур: «Так как у моей сестры очень мало свободного времени, я не вижу удобного случая, когда я мог бы вас представить»[1]. Неудача с посвящением стала препятствием на пути к получению апробации, потому что цензор не хотел заполучить врагов из Версаля[2]. Понсе и Монкриф долго обсуждали это безвыходное положение во время встречи в замке Тюильри. Согласно словам Понсе, Монкриф считал книгу полностью заслуживающей публикации и признался, что «долг цензора» взывает к тому, чтобы он ее утвердил, но ничто не могло заставить его выступить против Мариньи[3]. А у Мариньи были свои планы в области архитектурных проектов, и он не хотел создавать впечатление, что одобряет другие схемы, особенно подразумевающие увеличение налогов. Версаль, как обычно, был стеснен в средствах. Но почему эти соображения должны были встать на пути у верного подданного, пытающегося издать книгу, не оскорблявшую короля, церковь или что-либо, кроме вкуса одного добившегося высокого положения маркиза?

В недоумении Понсе через голову Монкрифа обратился к самому Мальзербу. «Автору во Франции тяжело сталкиваться с таким количеством трудностей, — писал

1. Маркиз де Мариньи к Понсе де ла Граву (April 17, 1755, ms. fr. 22149, no. 65): «Принять посвящение работы — значит дать публичное одобрение». Документы по этому делу находятся в: ms. fr. 22149, nos. 59–74.
2. Монкриф к Понсе (Oct. 13, 1755, ms. fr. 22149, no. 67): «Я могу только повторить, что мне довелось сообщить вам о своем принципе не давать одобрение никаким работам о том или ином виде искусства без согласия человека, которого король назначил управлять им. Я не упрашиваю их и не спорю, когда они приходят к собственному мнению».
3. Понсе в письме к Мальзербу (Oct. 21, 1755, ms. fr. 22149, no. 69) сообщает о беседе, в которой Монкриф сказал Понсе: «Я знаю, что это мой долг как цензора. Но я могу расстроить господина де Мариньи, который дал понять, что не хочет, чтобы эта книга была опубликована».

он. — Я никогда не умел играть в придворного. В этом моя беда». Но после этого он сам прибегает к придворному языку: «Если бы я не знал о вашей справедливости, месье, я мог бы использовать связи своей семьи с месье д'Урияком и месье Кастарнье. Хотя я не часто бываю в их обществе, они знают, кто я такой, им прекрасно известно мое имя... Среди благородных людей кровь многое значит»[1]. Мальзерб попросил Монкрифа изложить свою версию происходящего. Цензор признал свое нежелание вступать в противостояние с влиятельными людьми и попросил освободить его от этого дела. Он также написал возмущенное письмо Понсе, жалуясь, что тот навлек на него неудовольствие Мальзерба. Так что Понсе в итоге пришлось умолять о другом цензоре и молчаливом согласии. Когда его книга наконец увидела свет без привилегии и апробации, ее судьба была именно такой, какой можно было бы ожидать с самого начала: она никого не оскорбляла, и никто не обратил на нее внимания.

Эти два случая больше говорят о работе цензоров, чем нашумевшие преследования работ просветителей. На самом деле авторы и цензоры вместе работали в серой зоне, где законное постепенно перетекало в незаконное. Они разделяли одинаковые идеи и ценности — что неудивительно, ведь они происходили из одной среды[2]. Большинство цензоров и сами были

1. Ibid.
2. Учитывая неполный и неравномерный характер источников, провести полноценное социологическое исследование цензоров может быть столь же тяжело, как написать социальную историю авторства во Франции XVIII века. Но цензоры перечислялись в ежегодных выпусках «Almanach royal» и оставили множество следов своей работы в коллекции Анисон-Дюперонов в Национальной библиотеке Франции. Используя эти и другие документы, Уильям Хенли готовит строгий биографический словарь, который сделает возможным составление проспографии или коллективного портрета всех цензоров последние пять десятилетий Старого режима. См.: *William Hanley*. A Biographical Dictionary of French Censors, 1742–1789 (Ferney-Voltaire, 2005), vol. I (A–B).

писателями, включая авторов, связанных с Просвещением вроде Фонтенеля, Кондильяка, Кребийонасына и Сюара. Как и «энциклопедисты», они были выходцами из университетов и академий, духовенства, образованных профессионалов и королевской администрации[1]. Они не зарабатывали на жизнь, цензурируя книги, но строили карьеру профессоров, врачей, юристов и чиновников всех мастей. Цензура для них была побочным занятием, и большинство выполняло эту задачу бесплатно. Из 128 цензоров в 1764 году 33 получили скромное жалованье в 400 ливров за год, один — 600 ливров, а остальные — ничего[2]. После долгого и преданного труда они могли надеяться получить пенсию. В 1764 году государство выделило 15 000 ливров на пенсии для отставных цензоров. Но для большинства награда за работу заключалась в престиже и возможности получения протекции. Быть отмеченным как *censeur du Roi* в «Almanach royal» значило занять высокое положение среди слуг короны, которое могло стать шагом на пути к более прибыльным должностям. Один из цензоров сообщил Мальзербу, что он согласился на работу с учетом того, что влиятельный покровитель будет способствовать его продвижению по службе, но покровитель скончался, так что у цензора пропало желание править рукописи[3]. Статус

1. О социальном и профессиональном характере составителей «Энциклопедии» Дидро и ее ближайшей наследницы «Encyclopédie méthodique» см.: *Robert Darnton*. The Business of Enlightenment: A Publishing History of the Encyclopédie, 1775–1800 (Cambridge, Mass., 1979), 437–47.
2. «Mémoire sur l'état ancien et actuel de la librairie, présenté à M. de Sartine, directeur général de la librairie et imprimerie, par les syndic et adjoints en charge au mois de mars 1764», Bibliothèque nationale de France, Collection Anisson-Duperron, ms. fr. 22063, fol. 136 verso.
3. Террасон к Мальзербу (March 5, 1758, ms. fr. 22146, no. 61): «Более того, месье, сейчас я не спешу браться за изучение книг. Канцлер Д'Агюссо по собственному разумению и в связи с его намерением поощрить меня поместил мое имя в список [цензоров], руководствуясь несколькими причинами, одной

censeur du Roi определялся количеством людей, получавших эту должность, и не терял ценности на протяжении века. Число цензоров продолжало расти — от 10 в 1660 году до 60 в 1700-м, 70 в 1750-м, 120 в 1760-м и почти 180 в 1789-м[1]. Но этот рост отражал колоссальное увеличение объема книжной продукции, что можно заметить по ежегодным запросам на официальное направление книги в печать в течение XVIII века — от 300 в 1700 году до 500 в 1750-м и более тысячи в 1780-м[2]. Авторы, издатели и цензоры — все были связаны с растущим производством. Но цензоры получали от него меньше всех.

из которых является то, что мой отец долгое время был цензором. Так как это [намерение] не было осуществлено, я нахожусь в ситуации, когда могу посвятить себя другой работе».

1. Эти показатели основаны на именах, перечисленных в ежегодном «Almanach royal», однако цензоров продолжали вносить туда после того, как они перестали работать, так что числа приблизительны. Самое тщательное исследование цензоров как группы можно найти в диссертации: *Catherine Blangonnet*. Recherche sur les censeurs royaux et leur place dans la société au temps de M. de Malesherbes (Ecole des Chartes, 1975). Не имея доступа к этой работе, я опирался на пересказ находок мадемуазель Бланьоне из: *Daniel Roche*. La Censure // Histoire de l'édition française: Le livre triomphant, 1660–1830 / Ed. Roger Chartier and Henri-Jean Martin (Paris, 1984), 91; *Raymond Birn*. La Censure royale des livres dans la France des Lumières (Paris, 2007), 101–31, где содержится много дополнительного материала. Мои собственные исследования тех же источников подтверждают многие из выводов Брина. Несколько другая статистика числа цензоров приведена в: *Robert Estivals*. La Statistique bibliographique de la France sous la monarchie au XVIIIe siècle (Paris, 1965), 50.
2. Estivals, La Statistique bibliographique de la France sous la monarchie. Разные регистры запросов на разные типы разрешения на печать с неизбежностью приводят к разным статистическим выводам. Обсуждение этой проблемы и дальнейшие подсчеты можно найти в эссе из: Livre et société dans la France du XVIIIe siècle / Ed. François Furet (Paris, 1965 and 1970). Пересказ запросов на привилегии см. у: *Henri-Jean Martin*. Une croissance séculaire // Histoire de l'édition française, vol. 2, Le livre triomphant 1660–1830 / Ed. Roger Chartier and Henri-Jean Martin (Paris, 1984), 97–100.

Почему находилось столько образованных, зачастую принципиальных людей, готовых взяться за такую работу? «Условия работы», как мы сказали бы сегодня, выглядели совсем непривлекательными: маленькая зарплата или ее полное отсутствие, ни своего стола, ни кабинета, почти ничего, кроме синего карандаша, который предоставляло правительство. Зато работа цензора была связана с долгими часами кропотливого труда и постоянным риском оскорбить высокопоставленных людей и даже навлечь на себя позор. Но сама постановка вопроса будет анахронизмом. За исключением некоторых протестов вроде знаменитого монолога Фигаро из «Женитьбы Фигаро»[1], большая часть негодования обрушилась на цензоров после 1789 года, когда среди обычных людей распространилась уверенность, что все заслуживают свободы слова. Тогда чем же была цензура как система, требующая уважения, в мире, руководствовавшемся другими принципами?

1. Акт 5, сцена 3: «Так как в своей работе я не обсуждаю ни власть, ни религию, ни политику, ни мораль, ни важных персон, ни влиятельные организации, ни Оперу, ни какие-либо другие театры и никого, кто обладал бы значением, я могу публиковать ее полностью совершенно свободно при проверке двух или трех цензоров».

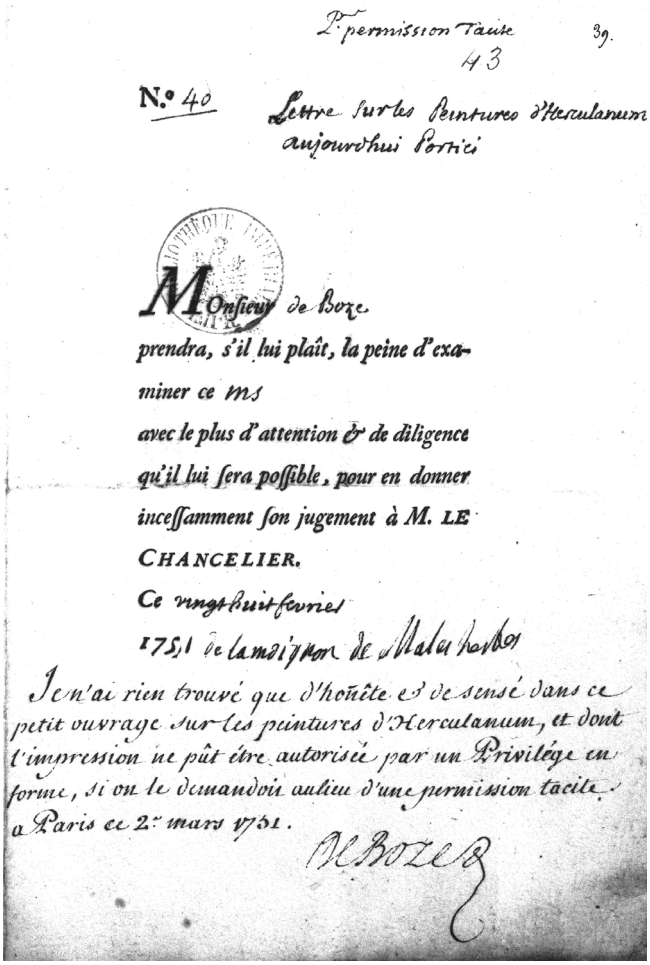
Повседневная работа

Начать следует с понимания взаимосвязи между цензурой и расширением государства, процессом, набиравшим во Франции все большую скорость со времен Ришелье. Ко времени Мальзерба старая абсолютистская монархия была преобразована новым явлением, согласно Максу Веберу, повлиявшим на облик всего современного общества: бюрократизацией. Термин «бюрократия» появился в 1750-е годы вместе с растущей зависимостью от бумажных документов, бланков, установленного регламента выполнения задач и целой иерархии работников на жалованье, от простых клерков и переписчиков до *premiers commis* и глав департаментов[1]. Разумеется, большинство учреждений

1. *Max Weber*. The Development of Bureaucracy and Its Relation to Law // Max Weber. Selections in Translation / Ed. W. G. Runciman (Cambridge, 1978), 341–56. Согласно Le Grand Robert de la langue française (Paris, 2001), vol. 1, p. 1755, слово *bureaucratie* было введено экономистом Ж.-К.-М.-В де Горнеем, умершим в 1759 году. Также см.: *Ferdinand Brunot*. Histoire de la langue française des origins à nos jours (Paris, 1966), vol. 6, pt. 1, 445–47. Луи-Себастьян Мерсьер включил главу под названием «Bureaucratie» в свой труд «Tableau de Paris» (Amsterdam, 1783), vol. 2, p. 572, и в ней подчеркивает деспотическую власть государственных чиновников, скрытую от глаз публики: «Бюрократия. Слово, созданное недавно, чтобы кратко и емко обозначить растущую силу обычных чиновников, которые в разных кабинетах министерств продвигают множество проектов, которые сами придумывают, или зачастую находят пылящимися в ящике стола, или выделяют из-за личных вкусов или маний».

до конца Старого режима оставались коррумпированными, а государство решало свои финансовые и юридические проблемы предвзято и нерационально, что во многом поспособствовало коллапсу 1789 года[1]. Как часть государственного аппарата отделение *Chancellerie*, или, как мы бы сейчас сказали, Министерства юстиции — *Direction de la librairie*, и отдаленно не напоминало современное бюрократическое учреждение. В нем не было даже кабинетов. Мальзерб вел дела из своего городского особняка на рю Нёв-де-Петит-Шамп неподалеку от рю де ла Фёйад, престижного района Парижа поблизости от Вандомской площади. Решения по вопросам цензуры или огромному множеству других тем, связанных с книготорговлей, он принимал в комнате, называемой «бюро». Но она служила для «аудиенций», во время которых Мальзерб принимал просителей как вельможный лорд, что неудивительно, ведь он принадлежал к известной династии Ламуаньон из «дворянства мантии»: он занимал место президента палаты податей, выносившей решения относительно налогов, а его отец занимал высочайший пост в королевстве, будучи канцлером Франции[2]. Цензоры, работавшие под началом Мальзерба, не имели своих рабочих мест. Они оценивали рукописи в собственных домах или там, где находились в силу своей основной работы. Называть их неологизмами XVIII века вроде *bureaucrate* (бюрократ),

1. Анализ дисфункциональных аспектов управления во Франции XVIII века: *Marcel Marion*. Les Impôts directs sous l'Ancien Régime: Principalement au XVIIIe siècle (Paris, 1910); *Herbert Lüthy*. La Banque protestante en France, de la Révocation de l'Edit de Nantes à la Révolution (Paris, 1959); *J. F. Bosher*. French Finances, 1770–1795, from Business to Bureaucracy (Cambridge, 1970).
2. *Pierre Grosclaude*. Malesherbes: Témoin et interprète de son temps (Paris, 1961). Согласно упоминаниям в переписке Мальзерба приемы по четвергам были многолюдными сборищами, где решались всевозможные вопросы, связанные с книготорговлей. См., например, письмо Мальзерба к архиепископу Тулузы (August 17, 1763, ms. fr. 22150, no. 62) и Мальзерба к Семонвилю (Feb. 14, 1760, ms. fr. 22146, no. 87).



Ir permission Tacite 39.
43

N.° 40 Lettre sur les Peintures d'Herculanum aujourd'hui Portici

MOnsieur de Boze
prendra, s'il lui plaît, la peine d'examiner ce ms
avec le plus d'attention & de diligence
qu'il lui sera possible, pour en donner
incessamment son jugement à M. LE
CHANCELIER.
Ce vingt huit fevrier
1751 de la maison de Malesherbes

Je n'ai rien trouvé que d'honête et de sensé dans ce petit ouvrage sur les peintures d'Herculanum, et dont l'impression ne pût être autorisée par un Privilége en forme, si on le demandoit au lieu d'une permission tacite. a Paris ce 2.e mars 1751.

DE BOZE

Ил. 3. Billet de censure, датированный 28 февраля 1751 года и подписанный Мальзербом, приказывает цензору де Бозу изучить рукопись под названием «Lettre sur les peintures d'Herculanum». Внизу де Боз написал «jugement», датированное 2 марта 1751 года, подтверждая, что текст заслуживает молчаливого согласия или привилегии. Пометка сверху указывает на то, что рукопись получила молчаливое согласие, а цифра в левом верхнем углу обозначает номер регистрации в Feuille des jugement.

buraliste (конторщик) или *paperasseur* (бумагомаратель) было бы неверно[1].

И все же бумаги, оставленные ими, указывают на процессуальные нормы и самосознание, которые можно считать признаками бюрократического подхода — смешанного, разумеется, с архаическими элементами, свойственными индустрии под руководством гильдии, *Communauté des libraires et des imprimeurs de Paris*. Книготорговцы, которые обязаны были быть членами гильдии, часто приходили на встречи у Мальзерба, шумные, оживленные сборища, проводимые каждый четверг, и старались сдать рукописи с просьбой о привилегии[2]. Мальзерб назначал для каждой цензора через *billet de censure*, также известный как *renvoi*. Это был бланк, отосланный цензору и содержащий стандартную формулировку:

> Месье ...,
> будет рад взять на себя изучение этой рукописи со всем возможным вниманием и усердием, чтобы предоставить скорое суждение о ней господину канцлеру.

Секретарь Мальзерба вписывал имя цензора, название рукописи, дату и в верхнем левом углу номер заявки. Этот номер вместе с соответствующей информацией вносился в реестр, называемый *livre sur la librairie*. Получив рукопись вместе с *billet de censure*, цензор проглядывал текст, ставил свои инициалы на каждой прочитанной странице (если только он не решал отвергнуть текст, что отменяло необходимость в инициалах) и делал пометки о всех изменениях, которые считал необходимыми. В простых случаях, когда цензор полностью одобрял рукопись, он часто писал *jugements*, как это называли, прямо внизу *billet de censure*, который возвращал Мальзербу. Так выглядела типичная положительная оценка:

1. Об этом см.: *Brunot*. Histoire de la langue française, vol. 6, pt. 1, p. 445.
2. Монкриф к Мальзербу (Nov. 4, 1775, ms. fr. 22138, no. 159).

> В этой небольшой работе о рисунках в Геркулануме я не нашел ничего, кроме достойных и разумных сведений, и на ее публикацию вполне можно дать официальное разрешение, а не молчаливое согласие[1].

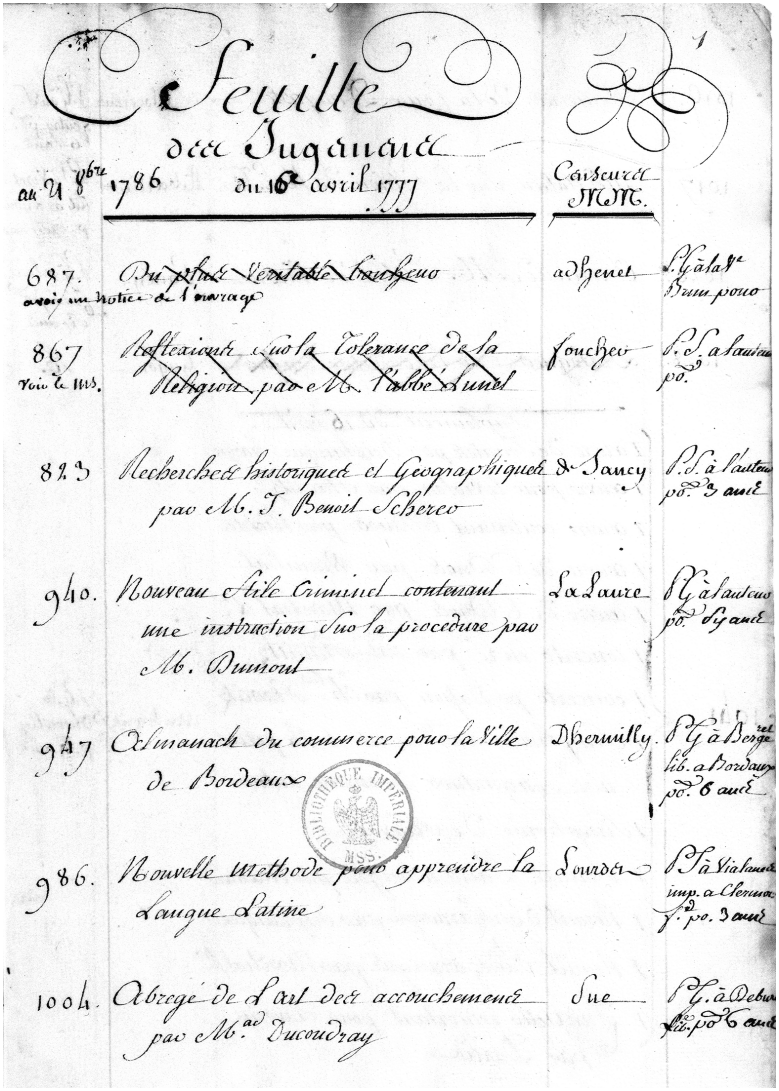
В более сложных случаях цензор отсылал свое мнение Мальзербу в виде письма. Кроме того, он мог высказать свое суждение устно и подробно обсудить его с Мальзербом на рабочих встречах с цензорами, так называемых *bureau de jeudi* (приемные часы по четвергам), которые тоже проходили в городском особняке Мальзерба.

В любом случае суждение оставалось между Мальзербом и цензором, часто было написано неформальным языком и могло быть довольно длинным. Напротив, апробация была официальным одобрением запроса на привилегию, которое часто печатали вместе с привилегией в тексте книги. Цензоры были склонны использовать более сдержанный и лаконичный стиль, когда писали апробации. Обычно их посылали вместе с суждением в особняк Мальзерба, где его служащие (он мог обходиться одним секретарем и клерком или переписчиком) руководили следующей стадией процесса[2].

1. Этот *billet de censure* с ответным *jugement* находится в письме Боза к Мальзербу (Feb. 28, 1751, ms. fr. 22137, no. 38). См. также похожие документы в письме Секуса к Мальзербу (Jan. 2, 1752, ms. fr. 22139, no. 98).
2. Это описание процесса цензуры опирается на замечания, раскиданные по переписке Мальзерба с цензорами. В особенности обратите внимание на письмо Мийе к Мальзербу (Feb. 28 и May 26, 1755) и Мийе к архиепископу Парижа (Dec. 9, 1755, ms. fr., 22138, nos. 137, 138, 139); неподписанное письмо к Мальзербу (March 24, 1753, ms. fr. 22137, no. 91); Рассико к Мальзербу (Dec. 24, 1750, ms. fr. 22139, no. 18); Симона к Мальзербу (Oct. 1, 1755, ms. fr. 22139, no. 135); Леблонда к Мальзербу (Oct. 2, 1752, ms. fr. 22138, no. 37); Буссанеля к Мальзербу (Feb. 21, 1761, ms. fr. 22146, no. 43); Мальзерба к Бюре (June 22, 1762, ms. fr. 22150, no. 103); а также серию «rapports et décisions» в: ms. fr. 22140, nos. 80–109. Описание формальной процедуры получения привилегии в 1781 году см.: *Perrin*. Almanach de la librairie.

Они делали копию апробации для своего архива и готовили еще одну, так называемый *feuille* (лист), чтобы послать хранителю печати, который рано или поздно наделял ее всей силой закона, делая оттиск Большой печати (*grand sceau*), находившейся в его распоряжении, и выпуская привилегию вроде той, которая цитировалась в начале этой главы. Хранитель печати возвращал заверенную апробацию (*feuille scellée*) директору, у которого во время аудиенции в четверг ее мог забрать книготорговец, а с 1777 года сам автор (эдикт о книготорговле от 30 августа 1777 года официально разрешал авторам получать привилегию от своего имени, что иногда случалось и до того, а также продавать отпечатанные экземпляры). Книготорговец должен был заплатить взнос в размере тридцати шести ливров и двенадцати су — довольно крупную сумму, приблизительно месячный заработок неквалифицированного рабочего. Затем *feuille scellée* и привилегию нужно было отнести на регистрацию в членскую палату (*Chambre syndicale*) Парижской гильдии издателей и книготорговцев. Как только чиновник гильдии копировал полный текст привилегии в реестр, книготорговец получал исключительное право на распространение книги в течение определенного периода, обычно не менее десяти лет. После этого он мог печатать рукопись, либо обратившись к мастеру-типографу из гильдии (печатью в Париже, в принципе, могли заниматься всего сорок мастеров), либо самостоятельно (если он, помимо своего официального положения как книготорговца, был признан мастером-типографом). Как только была готова черновая версия, цензор последний раз принимал участие в процессе, так как он должен был проставить свои инициалы на каждой странице черновика, чтобы подтвердить, что печатный текст точно соотносится с той версией рукописи, которую он одобрил.

Система подразумевала столько смешения и перемещения бумаг, что открывала бесчисленные возможности для ошибок или жульничества, как в случае



Feuille
des Jugemens
du 21 8bre 1786 du 16 avril 1777

		Censeurs MM.	
687. avoir un notice de l'ouvrage	Du plus Veritable bonheur	adhenet	S.G. à la P. pour pour
867 voir le MS.	Reflexions sur la Tolerance de la Religion par M. l'abbé Lunel	Fouchet	P.S. à la Faculté pr.
893	Recherches historiques et Geographiques par M. J. Benoit Scherer	de Sancy	P.S. à la Faculté pr. 3 ans
940.	Nouveau Stile Criminel contenant une instruction sur la procedure par M. Dumont	La Laure	P.G. à la Faculté pr. 5 ans
947	Almanach du commerce pour la Ville de Bordeaux	D'Hermilly	P.G. à Berge. et lib. à Bordeaux pr. 6 ans
986.	Nouvelle Methode pour apprendre la Langue Latine	Lourder	P.G. à Vialanes imp. à Clermont pr. 3 ans
1004.	Abregé de l'art des accouchemens par M.ad Ducoudray	Sue	P.G. à Debure lib. pr. 6 ans

BIBLIOTHÈQUE IMPÉRIALE MSS

Ил. 4. Страница из feuille des jugements, показывающая число billets de censure с jugements, названия книг, имена цензоров и решения, касающиеся типа разрешения (привилегия, permission tacite или permission simple), и срок его действия.

с Муи, пытавшимся втиснуть оскорбления своих врагов из Французской академии в незаверенный черновик, скрыв это от цензора. Но стандартная процедура показывает желание внести разумный порядок в сложный процесс надзора за текстами на пути от рукописи к печати. Заполнение бланков, нумеровка документов, отслеживание досье, копирование и регистрация, печати и согласование — не является ли все это симптомами полномасштабной бюрократизации? Не в полном, веберовском, смысле этого слова. *Direction de la librairie* можно описать как бюрократию без бюрократов. Она занимает промежуточную ступень в веберовском процессе и таким образом характеризует попытки Старого режима вести дела более эффективно, не отказываясь от системы привилегий и протекций, пронизывающей барочное великолепие королевского двора.

Цензоры были вынуждены справляться с ограничениями и противоречиями этой протосовременной барочной бюрократии, как могли, выполняя поток заданий. Мальзерб обычно раздавал работу согласно специальности цензора, которая значилась рядом с его именем в стандартных рубриках «Almanach royal»: теология, юриспруденция, натурфилософия, медицина и химия, хирургия, математика, литература, история и сходные области, обозначаемые как «прочее»: география, навигация, путешествия и архитектура. Объем работы мог существенно отличаться. Некоторые цензоры обозревали лишь одну или две рукописи в год, тогда как другие, кажется, были постоянно заняты, урывая все возможное время от основной работы. Такая нагрузка сказывалась на старательных работниках вроде аббата Бюре, церковного цензора, который в июле 1762 года чувствовал себя абсолютно разбитым. Прокорпев много часов над книгой по философии и еще одной по теологии, он вынужден был рассмотреть перевод святого Августина, а также труд о церковной администрации за тринадцать дней до начала своего отпуска. Он молил

об отсрочке, чтобы увидеться с семьей в деревне и присмотреть за делами своего прихода[1]. Аббат де ла Виль жаловался, что он прочитал столько посредственных трактатов по истории, что, когда ему присылают рукопись, он уже не может сказать, не читал ли он ее раньше. По собственному признанию, аббат был способен только на «быстрый и поверхностный взгляд» на труды, громоздившиеся на его столе[2]. С теологией, по словам аббата Фуше, все обстояло еще хуже. После тщательного сокращения и корректуры трактата о душе он тяжело вздохнул и воскликнул: «Да здравствуют исторические книги и антологии!»[3]

Большинство цензоров, похоже, подходили к своей задаче серьезно и работали с усердием. Изучая трактат о торговле и курсе валют, один из них исправил орфографические ошибки и переделал большую часть расчетов[4]. Другие делали списки фактических ошибок, подправляли грамматику, отмечали стилистические неточности и особенно старались отметить фразы, которые могли быть сочтены оскорбительными. Цензоры часто возражали против резкого тона, защищая идеалы умеренности и пристойного поведения (*bienséances*)[5]. В таких случаях они вписывали возможные варианты

1. Бюре к Мальзербу (July 9, 1762, ms. fr. 22150, no. 115).
2. Аббат де ля Виль к Мальзербу (Aug. 8, 1756, ms. fr 22138, no. 12): «На моем столе скопилось такое большое количество исторических и политических мемуаров, большинство из которых негодного качества по форме и содержанию, что неудивительно, что я могу уделить им только поверхностное внимание».
3. *Foucher*. Aug. 25, 1754, ms. fr. 22137, no. 97: «Я занят изучением довольно длинной работы о душе и происхождении ее знаний, направленной против господина Локке… Содержание кажется мне весьма достойным… но тем не менее я буду требовать множества исправлений и сокращений, что отяготит меня большим количеством тяжелой письменной работы. Да здравствуют исторические книги и антологии!».
4. *Simon*. Aug. 30, 1752, ms. fr. 22139, no. 134.
5. *La Palme*. Без датировки, ms. fr. 22138, no. 11; *Tercier*. Feb. 1, 1751, ms. fr. 22139, no. 144; *Barthélemy*. Без датировки, ms. fr. 22137, no. 8; *Cahusac*. Без датировки, ms. fr. 22137, no. 45.

улучшения текста. Один цензор даже потребовал заново переписать рукопись, оставив между строками больше пространства для исправлений[1]. Столь внимательная цензура напоминает о старательности, с которой рецензенты сейчас подходят к оценке книг для издательств.

В силу того, что для этого процесса требовалось столько усердия, заботы и ответственности, он связывал писателя и цензора крепкими узами, иногда доходившими почти до соавторства. Цензора назначал главный директор книжной торговли, который часто консультировался с авторами и удовлетворял просьбы, которые ему присылали. Мальзерб знал всех известных писателей своего времени и иногда помогал их рукописям обойти опасности и препоны на пути к получению привилегии или молчаливого согласия. Наиболее знаменитые авторы заслуживали особого обращения, ведь знаки уважения и использование собственного влияния были обычным делом среди *le monde*. Вольтер всегда добивался покровительства не только от Мальзерба, но и от министров, генерал-лейтенанта полиции, влиятельных вельмож и любого, кто мог дать ход его произведениям — разумеется, законным. Свои незаконные труды он публиковал подпольно и под вымышленными именами или, еще лучше, под именами своих врагов[2]. В ходе своих сложных отношений с Руссо Мальзерб сам практически руководил публикацией его основных работ, особенно «Новой Элоизы» и «Эмиля». Менее известным, но тоже обладавшим хорошими связями писателям иногда удавалось заверить свои произведения у человека, который вообще не был цензором, потому что Мальзерб мог выпустить *billet de censure* для особого случая. Когда влиятельный адвокат по имени Обер попросил поспособствовать выходу

1. *Cotteret*. Sept. 9, 1756, ms. fr. 22137, no. 57.
2. Примеры того, как Вольтер манипулировал легальной и нелегальной системой издания книг, см. в: *René Pomeau*. Voltaire en son temps (Oxford, 1995, new ed.), vol. 1, 799–800 и 810–11.

его юридического трактата, Мальзерб послал *billet de censure* самому Оберу и попросил его вписать имя цензора[1]. Такого рода манипуляции нередко приводили к тому, что друг друга цензурировали друзья и коллеги. Фонтенель одобрил «Oeuvres diverses» Монкрифа, своего товарища-цензора и собрата из Французской академии[2]. Другой цензор, Секус, рассматривал юридическую антологию, составителем которой был и вовсе он сам[3]. Иногда никому не известные писатели получали особое покровительство, очевидно, потому, что Мальзербу показались убедительными их просьбы. Священник, написавший «Plan général d'institution publique pour la jeunesse du ressort du parlement de Bourgogne», попросил выбрать для рассмотрения работы своего друга цензора Мишоля. Он подчеркнул, что не стоит опасаться фаворитизма, ведь Мишоль — «человек честный, искренний и слишком преданный процветанию литературы, чтобы закрыть глаза на то, что работа недостойна публикации. Я полностью доверяю его суждениям и внесу все исправления, которые он предложит, с уважением и послушанием, которых он заслуживает». Мальзерб согласился[4].

1. Мальзерб к Оберу (March 18, 1759, ms. fr. 22142, no. 17). Похожий случай затрагивал выбор цензора для «Chronologie historique militaire» из представителей военного министерства. По требованию маршала де Бель-Иля, Мальзерб выпустил *billet de censure* служащему из Министерства иностранных дел: Мальзерб к Бель-Илю (без даты, ms. 22143, no. 87). Профессор Страсбургского университета, написавший целую книгу об Эльзасе, просил Мальзерба доверить рукопись выходцу из Эльзаса, который мог бы понять местную ситуацию. Мальзерб в ответ предоставил список цензоров из Эльзаса и предложил послать *billet de censure* одному из них по выбору автора: Мальзерб к Шёпфлину (April 6, 1761, ms. fr. 22142, no. 1).
2. *Fontenelle*. Oct. 2, 1750, ms. fr. 22137, no. 85.
3. Заметка на решении в «bureau de librairie», озаглавленная «Труд 30 сентября» («Travail du 30 septembre 1754», ms. fr. 22140).
4. *Picardet*. Aug. 2, 1763, ms. fr. 22148, no. 51. Пометка вверху письма гласила «Пошлите *billet de censure* господину Мишолю».

Теоретически и, как правило, практически авторы не должны были знать имена своих цензоров. Последние иногда настаивали на анонимности как условии работы. У Монкрифа было столько связей среди элиты культуры и общества, что он не смог бы нормально работать, если бы его имя стало известно авторам доверенных ему рукописей[1]. И все же случались утечки, к ужасу цензоров, в том числе Монкрифа[2]. Узнав, что один из его отрицательных отзывов может быть показан автору, особенно трепетный цензор попросил вырезать свою подпись с нижнего края страницы[3]. Даже положительная оценка могла вызвать проблемы, ведь, когда имя цензора появлялось вместе с апробацией и привилегией в тексте книги, он выглядел сторонником автора и мог разгневать его врагов. Литературный цензор умолял Мальзерба дать лишь *permission tacite* вполне пристойной работе, критиковавшей Вольтера, потому что боялся, что станет мишенью для поклонников писателя, если его имя будет напечатано вместе с апробацией[4]. Вольтер и Д'Аламбер требовали смотреть сквозь пальцы на собственные работы, но пытались заставить Мальзерба помешать публикации своих врагов, но он отказался[5]. Мальзерб из принципа поощрял свободу

1. *Moncrif*. Без даты, ms. fr. 22138, no. 167.
2. *Moncrif*. Без даты, ms. fr. 22143, no. 81. Монкриф жалуется, что аббат де ла Бом узнал, что он проверяет его «La Christiade»: «Цензоры не могут свободно выражать свои суждения после того, как их имя становится известно автору. Господин аббат ла Бом написал мне, что его судьба в моих руках».
3. *Déparcieux*. Nov. 29, 1753, ms. fr. 22152, no. 109.
4. *Millet*. July 16, 1756, ms. fr. 22138, no. 144.
5. Мальзерб объяснил свой принцип терпимости и нейтральности в длинном письме к Д'Аламберу, в котором отказывался принять меры против работ Эли-Катрин Фрерона, главного врага просветителей, потому что не хотел ограничивать обсуждение на уровне идей. Оно полностью приведено в: *de Negroni*. Lectures interdites, 60–61.

полемики[1], но его цензоры часто были вынуждены сталкиваться с противоборством разных лагерей. Типичный случай произошел с одобрением книги «Cours de chimie» доктора по имени Барон, в которой критиковались антиньютоновские высказывания из анонимной брошюры. К сожалению, автором брошюры оказался Жан-Батист Сенак, королевский врач, бывший очень влиятельной фигурой в мире медицины. В гневном письме Мальзербу Сенак требовал наказать цензора, который, по его словам, был «так же виновен, как и автор». Мальзерб ответил, что и книга, и апробация касались только идей, а не личностей, более того, цензор не знал, что автором анонимной брошюры является Сенак. Но, узнав о реакции королевского врача, Барон запаниковал. Он написал Мальзербу отчаянное письмо, надеясь опередить реакцию Версаля. Доктор заявлял, что его книга имеет дело лишь с научными теориями. Разве свободный обмен мнениями не является основным правом любого в «Республике писем»? И более того: «...разве я враг самому себе, чтобы злоупотребить протекцией, которой вы наградили меня, и по столь незначительному поводу оскорбить личного врача короля?» Эта история так ни к чему и не привела, но она показывает противоречивые элементы в самом сердце литературного мира Старого режима: с одной стороны — уважение к идеалам свободной и открытой «Республики писем», с другой — реальная ситуация с властью и личными предпочтениями. Цензоры, как и авторы, должны были действовать в сфере, где эти противоречия проявлялись постоянно[2].

1. В своих «Mémoires sur la librairie» Мальзерб объясняет, что, управляя цензурой, он руководствовался преданностью свободному обмену идеями, если только они не оскорбляли церковь, корону, мораль или конкретных людей. См.: Second mémoire // Mémoires sur la librairie, особенно: 83–90.
2. Сенак к Мальзербу (без даты, ms. fr. 22143, no. 36); Барон к Мальзербу (Dec. 31, 1755, ms. fr. 22143, no. 35).

Пытаясь одновременно удовлетворить требования сил, вторгавшихся в их работу, и улучшить качество рукописей, цензоры часто начинали симпатизировать авторам вверенных им произведений. Они нередко переписывались с авторами и даже встречались с ними, хотя те и не должны были знать, кто цензурирует их работу, до выпуска апробации. После отправки нескольких замечаний теологу, написавшему трактат о Боговоплощении, один из цензоров оказался вовлечен в сложное обсуждение церковной доктрины[1]. Другой организовал встречу с автором, чтобы объяснить тонкий нюанс: рукопись вышла прекрасной, но она обесценивала свои аргументы, используя излишне полемический тон, автору нужно было научиться следовать литературному *bienséances*[2]. Третий цензор одобрил историю Ла-Рошели, но не напыщенный стиль, которым она была написана. Взяв на себя роль литературного редактора, он прошелся по рукописи с карандашом, вычеркнул самые оскорбительные фразы и получил согласие автора на то, чтобы их переписать[3]. В некоторых случаях авторы отказывались вносить изменения, и цензоры прекращали с ними работать — или Мальзерб назначал нового, часто с подачи первого цензора[4].

1. *Marcilly*. Nov. 7, 1755, ms. fr. 22138, nos. 111 и 112.
2. *Tanevot*. Oct. 12, 1752, ms. fr. 22139, no. 141.
3. Неподписанный и недатированный отзыв на «Histoire de la Rochelle» M. Арсера (ms. fr. 22140, no. 16): «Эту работу в основном определяет ее ораторский стиль, который иногда становится очень надменным, витиеватым и полным неологизмов, то есть не соответствует той простой и благородной манере, в которой должны писаться книги об истории. Хотя не дело цензора перерабатывать стиль книги, которой он дает оценку, в некоторых местах выражения показались мне столь немыслимыми, что я отметил основные из них карандашом, и автор обещал уделить им внимание».
4. Отказывая «Histoire de l'Opéra», Монкриф так объяснял свое решение Мальзербу (Aug. 18, 1751, ms. fr. 22138, no. 150): «Я не могу ее одобрить и умоляю назначить другого эксперта. Я предложил автору некоторые поправки, но он не прислушался к ним».

Но чаще авторы принимали критику и «любезно», как с уважением писали цензоры[1], соглашались переписать нужные абзацы. Симпатия приводила к большей гибкости цензоров. Они могли обойти правила ради «бедняги», который состряпал банальную работу плохого качества, чтобы просто свести концы с концами[2]. Конечно, цензоры свысока отзывались о произведениях, написанных ради денег, и придерживались уважительного тона, когда имели дело с известными и высокопоставленными авторами. Но, в любом случае, они играли такую активную роль в процессе создания книги, что брали на себя ответственность за нее. В характерном докладе Мальзербу один из цензоров выражает сожаление, что не смог уделить больше времени исправлению стилистики рукописи, но автор очень торопился

1. *Moncrif.* Nov. 4, 1755, ms. fr. 22138, no. 159. Монкриф счел прославление Людовика XIV в прологе либретто к опере «Picus et Canente» недостаточным. Он сообщил автору Ривуару де Терральбу, что он «должен вырезать пролог, и тот доброжелательно воспринял эту невинную критику с моей стороны».
2. Мальзерб постарался найти сочувствующего цензора для проверки альманаха, «чтобы помочь бедняге»: недатированное письмо, ms. fr. 22141, no. 151. См. также записку Монкрифа к Мальзербу (April 1, 1751, ms. fr. 22138, no. 149), где дается одобрение «Dialogues et fables allégoriques»: «Эта работа благодаря множеству внесенных мной поправок не содержит ничего оскорбительного для морали. Это лучшее, что я могу о ней сказать. Однако автор лишен средств к существованию. Он получит 300 ливров за свои басни. Пожалуйста, найдите в своем сердце достаточно доброты, чтобы дать ему молчаливое согласие на их печать. Стихотворения по большей части плохи, а темы басен несущественны, так что подписать апробацию такой работы было бы стыдно. Но эта книга забудется, как и многие другие плохие произведения, которые находят тем не менее своего читателя». Клод-Проспер Жольё де Кребийон, также известный как Кребийон-сын, выдающийся писатель и цензор, был особенно доброжелателен по отношению к авторам, но он, как правило, выдавал только *permissions de police* коротким и легкомысленным работам. См. несколько предвзятое описание «аудиенции» Кребийона у Луи-Себастьяна Мерсьера в: Tableau de Paris, vol. 1, 804–8.

получить ее назад, и поэтому именно он будет виноват, если книгу раскритикуют после публикации[1].

Разумеется, сотрудничество могло окончиться плачевно. Не сумев убедить автора переписать рукопись согласно своим представлениям, цензоры иногда отказывались иметь с ним какое-либо дело[2]. Обсуждения текста могли доходить до перепалки. Цензоры жаловались на качество копии, авторы — на задержки[3]. Отставной морской офицер счел унизительным требование сократить свои стихотворения, а потом, после нескольких «увечий», необходимость сокращать еще[4]. Математик, который был убежден, что нашел формулу квадратуры круга, пришел в ярость от отказа публиковать его рукопись. В ней не было ничего против религии, государства или морали, но цензор отказал ей в публикации, так как не хотел проблем с Академией наук, членом которой являлся (а академия отказалась рассматривать новые трактаты на эту тему):

1. *Foucher*. Aug. 24, 1762, ms. fr. 22148, no. 110.
2. *Foucher*. Dec. 20, 1755, ms. fr. 22137, no. 98. Фуше объяснил Мальзербу, что рукопись пришла в двух частях. Первую «я прочитал с удовольствием. Но вторая заставила остановиться. В ней я нашел различные замечания, которые не могу одобрить, и, так как автор решил, что не готов принять мои требования, я вернул ему рукопись, сказав, что больше не хочу брать на себя необходимость просить у вас разрешения, которого автор хотел добиться».
3. *Cotteret*. Sept. 9, 1756, ms. fr. 22137, no. 57; Мальзерб к Сальмону (May 23, 1760, ms. fr. 22148, no. 23).
4. Шевалье дю Плесси к Мальзербу (July 10, 1763, ms. fr. 22150, no. 13). Автор жалуется на цензора: «Я предложил убрать стихотворение, которое показалось оскорбительным моему деятельному цензору, чтобы получить его одобрение, соглашаясь на те условия, которые он предложил. Но этот достойный человек стал преследовать меня дальше, сказав, что не хочет одобрять сокращения и что я должен смягчить больше [фрагментов, которые ему не нравились]. Я больше не буду ничего смягчать… Я чувствую себя израненным этим обвинителем». См. также: дю Плесси к Мальзербу (без даты, ms. fr. 22150, no. 132).

> Это ли награда за огромный труд, самый неблагодарный, самый трудный и в то же время самый необходимый, которым только может заниматься геометр? Вот награда, которая должна внушить нам рвение и дух соперничества! Или, сказать точнее, вот источник отвращения и разочарования, не позволяющий нам быть одинаково полезными миру, который мы населяем[1].

Несмотря на эти разногласия, цензура в ее повседневном варианте скорее сближала авторов и цензоров, чем разделяла их. Их взаимоотношения обычно превращались в ту или иную форму сотрудничества, а не безжалостное подавление. Насколько можно подсчитать, отказов было довольно мало, около 10%[2]. Но, разумеется, рукописи, которые действительно бросали вызов ценностям церкви и государства, не попадали к цензорам в *Direction de la librairie*. Они отправлялись на печатные станки, расположенные за границами Франции, где простирался благодатный полумесяц издательских домов от Амстердама вниз к Брюсселю и Льежу, через Рейнскую область в Швейцарию и, наконец, в папскую область в Авиньоне. Эта недвусмысленно запрещенная литература вместе с большим количеством незаконно изданных книг составляла щедрый заработок для зарубежных издателей, отправляющих все это во Францию через обширную сеть подпольных распространителей и контрабандистов[3]. Ущерб, наносимый французской экономике, был настолько велик, что директора книжной торговли, особенно Мальзерб и его преемник Антуан де Сартин, делали все возможное, чтобы

1. Автор «Traité démonstratif de la quadrature du cercle» к Мальзербу (без даты, ms. fr. 22138, no. 71).
2. *Daniel Roche*. La Censure // Histoire de l'édition française: Le livre triomphant, 1660–1830 (Paris, 1984), vol. 2, p. 83.
3. См.: *J.-P. Belin*. Le Commerce des livres prohibés à Paris de 1750 à 1789 (Paris, 1913); *Robert Darnton*. The Forbidden Best-Sellers of Pre-Revolutionary France (New York, 1995).

расширить рамки законности с помощью увеличения числа молчаливых одобрений, простых одобрений, допущений и других методов поддержки местного производства. Экономика в вопросах цензуры значила не меньше, чем политика или религия[1].

Но у администраторов не было полной свободы действий, так как они в Париже не могли принять ни одного важного решения, не учитывая реакции Версаля. Как только всплывал чувствительный вопрос, Мальзерб в обход своих цензоров обращался прямо к ключевым фигурам в министерствах и при дворе. Можно ли напечатать трактат о военных укреплениях? Пусть решит военный министр. Исследование зарубежной торговли? Его отправляли генеральному контролеру финансов. История Ирландии с особым упором на войну и дипломатию? Министр иностранных дел должен был заверить рукопись перед отправкой цензору. Книга о необходимости построить в Париже новый госпиталь? Цензор дал ей предварительное одобрение, но окончательное решение ее судьбы было в руках министра, возглавляющего парижский департамент[2].

1. Это соображение, повсюду сквозящее в документах Дирекции по книжной торговле и членской палаты Парижской гильдии издателей и книготорговцев, открыто высказано Мальзербом в «Mémoires sur la librairie» (p. 86 и 177). Примеры похожих взглядов у самих цензоров можно найти в письме Салье к Мальзербу (Dec. 28, 1750, ms. fr. 22139, no. 80). Цензор утверждает, что современные протестанские произведения должны получать неофициальные *tolérance* по экономическим соображениям: «Каждый день внушительные суммы денег уходят на покупку книг, напечатанных в Голландии. Если есть возможность допустить печать работ, не оскорбляющих мораль или религию, я думаю, это будет большой услугой государству».
2. Много подобных обсуждений можно найти в подборке «Rapports et décisions» (fr. 22140, nos. 80–109). Также см.: послание графа д'Арженсона к Мальзербу (Feb. 11, 1755, ms. fr. 22140, no. 72); Машо к Мальзербу (July 19, 1756, ms. fr. 22143, no. 138); Мальзерба к графу де Праслену (Jan. 3, 1763, ms. fr. 22144, no. 142); Мальзерба к графу д'Арженсону (без даты, ms. fr. 22147, no. 54).

Посвящения тоже были деликатным делом, ведь публичная фигура, принявшая посвященную книгу, косвенно выражала ей свою поддержку и становилась с ней связана. Писатели вечно бросались на знатных вельмож, надеясь, что посвящение приведет к протекции. Обычно они не продвигались дальше прихожей или секретаря сановника, но периодически пытались срезать угол, опубликовав посвящение без разрешения и отправив своему потенциальному покровителю специально переплетенную копию. Мальзерб должен был пресекать подобного рода проступки. Он не позволял печатать посвящение, если автор не мог подтвердить, что оно было принято, с помощью письма, и всегда требовал от цензора проверить его текст[1].

В этот момент обсуждение на первый взгляд доходит до полной противоположности. Цензоры давали положительные отзывы на книги. Они обращали внимание скорее на эстетическую и смысловую ценность текста, чем на угрозы церкви, государству и морали. Они часто симпатизировали авторам, встречались с ними и даже вносили свой вклад в их работу. Вместо того чтобы ограничивать литературу, они помогали ей существовать. Неужели цензоры вообще не занимались идеологической полицейской работой, которая обычно ассоциируется с их профессией?

1. См. серию документов, собранных под названием «Acceptations et refus d'éloges et de dédicaces» (ms. fr. 22140, nos. 18–54).

Проблемные случаи

Цензуру вполне возможно показать с хорошей стороны, отбирая из доказательств те, что показывают ее в выгодном свете. В предыдущем описании занятий цензоров я старался быть, насколько это возможно, непредвзятым. Но, сосредоточиваясь на обычной повседневной работе, я не уделил внимания выдающимся событиям, которые привлекают большинство историков, и не рассматривал случаи, когда цензоры занимались непосредственно идеологическими вопросами. Середина XVIII века была временем великого брожения. Тот срок, который Мальзерб занимал пост директора книжной торговли, почти совпадает с периодом, когда были изданы самые значимые труды эпохи Просвещения от «Энциклопедии» (ее проспект впервые вышел в 1750 году, а последние десять томов все вместе были напечатаны в 1765-м) до «Эмиля» и «Рассуждения о науках и искусствах» Руссо (обе работы вышли в 1762-м). Мальзерб был другом просветителей, и его действия на посту директора многие считают поворотной точкой в истории Просвещения и свободы слова в целом. Как это сказывалось на повседневной работе цензоров, служивших под его началом?

Внимательное изучение всех отчетов, писем и докладов цензоров с 1750 по 1763 год показывает отсутствие особого интереса к работам просветителей. Философия вообще не вызывала беспокойства. В отзыве на книгу, одобряющую метафизику Лейбница, цензор пренебрежительно отзывается о важности таких вопросов:

> Многие философы среди нас могут не соглашаться с истинностью этих принципов и утверждать, что выводы, к которым они приводят, могут плохо повлиять на религию. Но это просто споры о философии, и я не думаю, что есть какая-то существенная причина, почему нужно запрещать выход работы, которая к ним приводит[1].

Изредка цензоры выражали беспокойство распространяющимся деизмом вольтерианского духа[2]. Но имя самого Вольтера почти не появляется в документах *Direction de la librairie*. Это и неудивительно, ведь, как было описано ранее, ни одна рукопись, которая открыто бросала вызов устоявшимся порядкам Старого режима, не отправлялась на получение апробации и королевской привилегии или хотя бы молчаливого согласия. Такие работы посылали к Марку-Мишелю Рею в Амстердам, Габриэлю Крамеру в Женеву и к другим издателям, действовавшим вне власти французского закона. Из тех книг, что попадали в руки цензоров, больше всего проблем вызывали религиозные — обсуждения нюансов теологии внутри католической церкви, протестантские догматы, и в первую очередь янсенизм, аскетическое августинианское религиозное направление, основывающееся на работах Корнелия Янсена и осужденное как ересь в нескольких папских буллах[3]. Авторы и издатели таких работ отправляли их цензорам, веря, что они не противоречат ортодоксальному католицизму[4]. Цензору приходилось решать, так ли это.

1. Неподписанный и недатированный отзыв на «Mélanges philosophiques» М. Форме (ms. fr. 22140, no. 3).
2. Недатированная заметка Мийе (ms. fr. 22140 в «Rapports et décisions»).
3. В «Lectures interdites» (p. 195) Барбара Негрони подсчитывает, что из всех книг, подвергавшихся последующей цензуре, 63% имели отношение к янсенизму и 8% были посвящены философии.
4. *Ladvocat*. Nov. 16, 1757, ms. fr. 22138, no. 33. Протестантское опровержение деизма показалось приемлемым одному цензору: *Millet*. Nov. 6, 1758, ms. fr. 22138, no. 141. Однако другой не мог

Большинство из тех, кто принимал такие решения, были профессорами теологии в Сорбонне. Они были довольно терпимы к протестантским работам неполемического характера вроде молитвенных книг, если те были поучительными, хотя протестанты и обращались к Богу на «ты», а не на «вы», как католики. Цензоры также давали молчаливое согласие на издание нерелигиозных работ протестантских авторов, несмотря на некоторые опасения по поводу отдельных ремарок о щекотливых вопросах вроде природы брака[1]. Но они отказывались терпеть любую книгу с малейшим налетом янсенизма или касающуюся спорных вопросов вроде непреодолимой благодати, которые использовались в янсенистской полемике[2]. Цензоры однажды отказались одобрять даже антиянсенистский памфлет — полностью ортодоксальную работу епископа Систерона — потому что, как заметил один из них, она не улучшала ситуацию, «только будоража умы»[3].

смириться даже с протестансткими работами, требующими религиозной терпимости: неподписанный и недатированный отказ на «Questions sur la tolérance» (ms. fr. 22149, no. 121).

1. *De Passe*. Oct. 19, 1757, ms. fr. 22139, no. 12; отзыв на «Принципы естественного права» Жана-Анри-Самюэля Форме: «В книге высказываются определенные мысли о браке, которые придется переписать, но автор выражает свои мысли в согласии с доктриной своей веры, и я не думаю, что то, что он может сказать на эту тему, сделает чтение его работы опасным».
2. *De Lorme*. April 13, 1752, ms. fr. 22138, no. 61. Недатированное упоминание в мемуарах просьбы иезуитов о новом издании: «Réfutation d'un livre publié par feu M. l'évêque de Mirepoix sous le titre de Défense de la grâce efficace par elle-même» — сообщает, что им отказали, потому что «Монсеньор [то есть канцлер] не считает разумным разрешение печатать какие-то новые книги на эту тему» (ms. fr. 22140 Rapports et decisions, no. 80–109). Сложно указать точное положение документа в этой разрозненной подборке.
3. Неподписанный и недатированный меморандум Руссле (ms. fr. 22139, no. 70). В заметке о встрече цензоров 17 августа 1745 года («Rapports et décisions») отказ печатать рукопись, касающуюся янсенизма, объяснялся следующим образом: «Такие книги только будоражат умы».

Цензоры сталкивались с множеством трудов в защиту традиционных взглядов, но не спешили дать им ход, если те были недостаточно убедительны. Один из цензоров отказал фанатичному труду, опровергающему деизм, на основании его несостоятельности: «Приводить столь слабые аргументы в защиту религии, все равно что непреднамеренно обличать ее»[1]. Религиозные книги не просто должны были воздерживаться от ереси, им приходилось соответствовать высоким стандартам стиля и убедительности. Иначе они оказывали противоположное действие и не могли быть опубликованы[2].

Та же логика применялась к политическим работам. Цензоров не беспокоили нападки на короля, ведь их никто и не присылал на одобрение. Вместо этого они беспокоились о трудах, которые недостаточно его прославляли. Либретто оперы могло быть опубликовано, по словам одного цензора, только при условии, что

1. *Tamponnet*. Без даты, отказ на «Exposition des vérités chrétiennes et des moeurs de ce siècle», ms. fr. 22139, no. 150: «Намерения автора заслуживают уважения, но, к сожалению, исполнение им не соответствует. Он хочет вступить в полемику с деистами. Но делает это беспорядочно, бессвязно и бессодержательно. Я считаю его работу бесполезной и даже вредоносной, потому что плохо защищать веру — все равно, что невольно обличать ее».
2. *Cotteret*. May 26, 1751, ms. fr. 22137, no. 54. Отказываясь одобрить рукопись «Théologie curieuse, ou questions recherchées extraites des Saintes Ecritures», Коттере замечает, что «в ней автор затрагивает вопросы, касающиеся религии, очень неубедительно. Его аргументы ничего не стоят и поданы не в той манере, которая может просветить читателя. Более того, работа плохо написана. Я не думаю, что от нее может быть польза». Аббат ле Руж отказал «Exhortations sur l'Eucharistie» по тем же причинам (March 4, 1751, ms. 22138, no. 45): «Книга не разделена по содержанию, лишена порядка и бессвязна. Ее [главы] изобилуют повторяющимися абзацами, не имеющими отношения к предмету, и простонародными выражениями, далеко уходящими от торжественности [религиозного] таинства… Не нужно оскорблять общество этой бессмысленной работой, которая может нанести вред религии».

автор выкинет из него пролог, содержащий недостаточно хвалебную речь в адрес Людовика XV[1]. «Политика» для цензоров, как и для многих других французов в XVIII веке, означала не борьбу за власть внутри правительства, которую нельзя было обсуждать открыто, а международные отношения. Жан-Пьер Терсьер, первый секретарь Министерства иностранных дел, следил, чтобы рукописи не отклонялись от текущего курса зарубежной политики[2]. Оскорбительное замечание о Пруссии было приемлемо во время Семилетней войны (1756–1763), когда Фридрих II сражался против Франции, но не в ходе Войны за австрийское наследство (1740–1748), когда он был союзником[3]. Точно так же некоторые проякобитские замечания в первых томах истории Ирландии казались цензору приемлемыми, когда Франция поддерживала претензии на трон «молодого претендента» (Чарльза Эдварда Стюарта, позже известного как Красавчик принц Чарли), но не тогда, когда на одобрение поступили следующие тома. К этому времени, после Войны за австрийское наследство, Франция оставила дело якобитов, и история Ирландии стала выглядеть иначе. Вопрос должен был решить министр иностранных дел[4]. Военный министр отказывался разрешать публикацию любых трактатов о военном деле, даже технических описаний осадных орудий, во время Семилетней войны[5]. Во время кризиса, связанного с попыткой ввести новую «двадцатину» в 1749 году, генеральный контролер финансов старался помешать публикации любых книг

1. *Moncrif.* Nov. 4, 1755, ms. fr. 22138, no. 159. В недатированном рапорте (ibid., no. 162) Монкриф настаивает на удалении некоторых фрагментов из книги о военных победах Франции, потому что в них используется неприемлемый для восхваления короля язык.
2. *Tercier.* March 25, 1758, ms. fr. 22141, no. 2.
3. *Salley.* April 11, 1759, ms. fr. 22139, no. 94.
4. Мальзерб к графу де Праслену (Jan. 3, 1763, ms. fr. 22144, no. 142).
5. Маршал Бель-Иль к Мальзербу (Aug. 25, 1760, ms. fr. 22147, no. 188).

о налогообложении[1]. Парламент Парижа постоянно сопротивлялся новому налогу и бросал вызов абсолютной власти короля, особенно в связи с преследованием янсенистов. Но цензоры редко имели дело с парламентскими дебатами, возможно, потому, что противоречивые работы никто не присылал на одобрение[2]. Все, что касалось текущих событий, должно было быть заверено у вышестоящих сановников, но цензоры редко получали злободневные работы. Вместо этого они изучали огромное количество исторических текстов, которые поднимали разного рода идеологические вопросы. В таких случаях цензоры могли быть удивительно терпимы, как в случае с рапортом об истории Англии, написанной французским монахом:

> Можно было бы подумать, что это история Англии, написанная для англичан из самой безумной фракции вигов… Ярость, с которой автор критикует священников и монахов, доходит до такой степени, которой можно было бы ожидать от работ Вольтера. Он часто использует его интонации и выражения. Также в начале книги автор заявляет, что английский народ обладает властью выбирать себе короля, исходя из своих нужд, и использует это, чтобы показать, что Яков II был законно лишен престола. …Хотя я вычеркнул наиболее вызывающие абзацы… текст все еще пропитан английским духом, что делает

1. Жан-Батист Машо д'Арнувиль к Мальзербу (May 5, 1753, ms. fr. 22149, no. 110). В августе 1750-го Машо попытался ввести новый «двенадцатеричный» налог, который должны были выплачивать не только простолюдины, но и дворяне с духовенством. Эта важная попытка реформировать налоговую систему вызвала серьезное противодействие и в результате потерпела неудачу, в первую очередь из-за протестов духовенства.
2. Исключительным случаем было молчаливое согласие, выданное «Vie de Clément XI», рекомендованное Мальзербу Руселе (Dec. 23, 1751, ms. fr. 22139, no. 67). «В нем автор тщательно избегает всех тем, которые могли бы оскорбить парламент… Я обнаружил только три небольших раздела, нуждающихся в редактуре».

> невозможным получение автором привилегии на книгу. И все же, если г-н Мальзерб решит дать ему молчаливое согласие и автор представит книгу как изданную в Лондоне, читатели легко поверят ему и никогда не подумают, что книга написана французским монахом-бенедиктинцем[1].

Последней категорией, заслуживающей особого внимания, согласно мнению Мальзерба и других людей, отзывавшихся о книготорговле, была литература, наносящая урон принятым моральным устоям, — сейчас это обычно называют порнографией. В XVIII веке этого термина не существовало, но эротическая литература процветала, не привлекая особого внимания, если действующими лицами не становились монахи, монашки или официальные фаворитки. Такие книги были достаточно скандальными, чтобы хорошо продаваться из-под полы, но никогда не попадали в руки цензоров. Лишь несколько непристойных романов было отправлено на рассмотрение, и к ним, как правило, относились терпимо[2]. Единственным случаем необычайно похабной книги, который я встретил в записях цензоров, стала «Mystères de l'hymen, ou la bergère de velours cramoisy» («Мистерии девственной плевы, или Крылатое кресло из алого вельвета»), которую цензор отверг как отвратительный плод помрачения ума[3].

1. *Bonamy*. Dec. 18, 1755, ms. fr. 22137, no. 23.
2. В недатированном сообщении Мальзербу (ms. fr. 22141, no. 96) цензор по имени Лавор отказывает одному из томов «Bibliothèque amusante» «из-за нескольких случаев из жизни, которые я считаю противоречащими морали». Мальзерб передал труд другому цензору, который его одобрил.
3. *De Passe*. July 16, 1753, ms. fr. 22139, no. 9: «Некоторые части этой рукописи неприкрыто непристойны и откровенно похабны. Все остальное — нелепая выдумка, наполненная размышлениями, не обладающими ни красотой, ни смыслом. Смешно подумать, что автор вообще осмелился послать цензорам такое произведение, на мой взгляд, оскорбительное для морали, плохо написанное и не заслуживающее никакого внимания».

После изучения сотен докладов цензоров сталкиваешься с непредвиденной проблемой: если цензоры в первую очередь думали не о вынюхивании безбожия и вольнодумства, за исключением особых случаев вроде янсенизма или международных отношений, в чем они видели опасность? Не там, где мы бы ожидали, не среди философов-просветителей. Нет, их больше беспокоил двор. Точнее, они опасались быть втянутыми в сети протекций и обязательств, бывших основными рычагами власти при Старом режиме. Хотя к 1750 году книжный рынок процветал и новые силы изменяли облик коммерции, королевские цензоры все еще принадлежали миру, созданному принцами эпохи Возрождения, где неверный шаг мог привести к катастрофе и судьба зависела от воли власть имущих (*les grands*).

Опасность, таким образом, исходила не от идей, а от людей — всех, обладающих влиянием, кого могло задеть неуважительное или неосторожное замечание. Один из цензоров вычеркнул из исторической книги упоминание о преступлении представителя могущественной династии Ноай, совершенном в XVI веке, и не потому, что оно не было совершено, а потому, что «дом [Ноай] может быть недоволен тем, что о нем вспомнили»[1]. Другой цензор отверг абсолютно точную работу по генеалогии на том основании, что она может содержать ошибки, оскорбляющие некоторые влиятельные семьи[2]. Третий отказался одобрить описание отношений Франции с Оттоманской Портой, потому что в нем содержались «подробности, затрагивающие семьи, требующие уважения», и даже назвал имена: один аристократ сошел с ума, служа послом в Константинополе, а другой не смог получить должность посла из-за придворной вражды со своей эксцентричной тещей[3]. Повсеместно цензоры содрогались при мысли

1. *De La Haye*. Без даты, ms. fr. 22138, no. 11.
2. *Abbé Boudot*. Sept. 10, 1754, ms. fr. 22137, no. 27.
3. *Tercier*. Без даты, ms. fr. 22144, no. 203.

пропустить завуалированное упоминание кого-то, обличенного властью. Потребовалось специальное расследование в Лионе, чтобы выпустить книгу, которая могла оскорбить местных нотаблей[1]. Мальзерб, который и сам принадлежал к влиятельной династии, постоянно отправлял рукописи на проверку высокопоставленным людям, которые могли понять отсылки, недоступные цензорам более скромного происхождения. Вельможи ожидали такого рода услуг. Герцог Орлеанский, например, поблагодарил Мальзерба через посредника за то, что тот следит, чтобы «никакая информация о его отце не была опубликована до того, как об этом сообщат ему [нынешнему герцогу]»[2].

Жанром, вызывавшим у цензоров наибольший ужас, был «роман с ключом». Его легко было не опознать, не обладая достаточным знанием *le monde*. Неискушенный аббат Жируа, к примеру, попросил Мальзерба назначить другого цензора для романа, который не просто высмеивал писателей (что было приемлемо), но мог метить в более значимые цели. «Я боюсь аллюзий. Они встречаются часто, и я не решаюсь взять на себя ответственность за них. Если бы я мог их понять, то, возможно, не волновался бы так, но я не могу сказать, кто имеется в виду»[3]. Та же опасность мерещилась другому несведущему цензору, который отказался одобрить рукопись, хотя нашел ее безупречной во всем, кроме одного: «Это может быть аллегория, скрытая с изяществом и точностью за священными именами, которую при дворе используют для злонамеренных намеков (*applications malignes*). Поэтому я нахожу работу опасной для публикации в этом королевстве, даже с молчаливого одобрения»[4]. Мальзерб с пониманием относился

1. *Delagarde*. Jan. 2, 1758, ms. fr. 22143, no. 93.
2. *De Silhouette*. May 5, 1753, ms. fr. 22140, no. 26.
3. Аббат Жируа, видимо, к секретарю Мальзерба (Oct. 25, 1751, ms. fr. 22137, no. 135).
4. *Simon*. Feb. 23, 1752, ms. fr. 22139, no. 128.

к опасениям людей, работающих под его началом. Они, в конце концов, не имели высокого положения (*des gens assez considérables*) и не могли уловить аллюзии, очевидные для любого человека из более светских кругов. Более того, они были боязливы. Цензоры скорее отказали бы рукописи, чем рискнули обратить на себя неудовольствие, одобрив ее[1]. Отказ часто показывал страх *applications* — этот термин нередко упоминается в бумагах цензоров, а также полиции[2]. Под ним подразумевались зашифрованные в книгах, песнях, эпиграммах и остротах намеки, обычно оскорбления или компрометирующая информация. *Applications* оставались не замеченными обычными читателями, но могли причинить большой ущерб представителям высшего общества. Это была форма власти, требующая контроля в обществе, где репутация и «лицо» (*bella figura*) были знаками политического влияния и потенциальной уязвимости, как три сотни лет назад при итальянских дворах.

1. *Malesherbes*. Mémoires sur la librairie, 91–92. Похожие замечания см. на: p. 58, 101–2 и 206.
2. Например, Руселе (Oct. 30, 1751, ms. fr. 22139, no. 69) одобрил роман под названием «Le Mot et la chose» с таким комментарием: «Все в нем мудро и выверено. На мой взгляд, нет никаких грозящих скандалом *applications*, которые можно было бы увидеть в персонажах, действующих в произведении. Более того, за них должен отвечать автор, потому что я сам не знаю никого, кто переживал бы приключения, настоящие или вымышленные, описанные в рукописи». Обсуждение одержимости *applications* в полиции можно найти в «Vies privées et affaires publiques sous l'Ancien Régime» в моей книге: «Bohème littéraire et Révolution» (Paris, 2010), 113–34.

Скандал и Просвещение

Если в бумагах цензоров можно услышать эхо Возрождения, заметны ли в них признаки грядущей революции? Ответ будет отрицательным: пристальное изучение цензуры с 1750 по 1763 год позволяет избежать ощущения, что все, происходившее в последние годы Старого режима, вело к взрыву 1789 года. Оставив в стороне телеологию, приходится признать, что в литературном мире действовало достаточно сил, подрывающих устои. Одной из них было Просвещение. И хотя его приверженцы посылали самые скандальные книги печататься за пределами Франции, иногда они пытались издать их внутри королевства, отправляя цензорам, и в редких случаях цензоры одобряли их. Это могло послужить причиной скандала. Не только у самого цензора начинались проблемы, но, что более важно, государственный аппарат подвергался угрозе со стороны внешних сил, намеренных присвоить идеологический контроль. Речь идет о последующей цензуре. Книги могли вызвать негодование многих инстанций — Парижского университета (особенно факультета теологии в Сорбонне), парламентов (независимых судов, которые могли вмешиваться в дела при беспорядках в городе), Генеральной ассамблеи церкви Франции (она часто запрещала книги во время своих собраний раз в пять лет) и, из числа других духовных авторитетов, в первую очередь французских епископов и Ватикана. Все эти силы требовали права осуществлять цензуру, и государство успешно отбивалось от них, намереваясь сохранить за собой монополию на власть в мире печати.

Эта монополия была сравнительно недавним явлением. В Средние века корона предоставляла право надзора за книготорговлей Парижскому университету, который в первую очередь был озабочен точностью копий, предоставляемых скрипториями. После вспышки Реформации Сорбонна продолжала контролировать книги, но не могла справиться с потоком протестантских работ. Корона попыталась решить проблему в 1535 году, постановив, что, если кто бы то ни было напечатает что бы то ни было, его повесят. Это не помогло. За следующие 150 лет государство наращивало собственный репрессивный аппарат, сокращая власть церкви. Муленский эдикт (1566 года) требовал, чтобы все книги перед изданием снабжались королевской привилегией, а «кодекс Мишо» (1629 года) устанавливал механизм цензуры через королевских цензоров под властью канцелярии. К концу XVII века государство укрепило свою власть над издательским делом, и университет перестал играть в нем какую-либо существенную роль, но епископы и парламенты продолжали запрещать книги после их выхода, издавая *mandements* и *arrêtés* (епископские послания и парламентские эдикты). Конечно, у этих документов не было особого эффекта, если только они не выходили в момент кризиса[1].

Самые серьезные проблемы возникли в связи с изданием «Об уме» Клода Адриана Гельвеция в 1758 году[2]. Ни одна книга не вызвала столько негодования со сто-

1. Исследование всех аспектов производства и контроля за книгами в раннее Новое время см. в: Histoire de l'édition française, ed. Roger Chartier and Henri-Jean Martin, 2 vols. (Paris, 1982–84).
2. Среди множества упоминаний об истории с трактатом «О душе» особенно достойно внимания: «La Disgrâce d'un premier commis: Tercier et l'affaire de De l'Esprit (1758–1759)», Bibliothèque de l'Ecole des Chartes 113 (1955): 140–70; *David W. Smith*. Helvétius: A Study in Persecution (Oxford, 1965). Мальзерб выражает свое мнение, подчеркивая попытки парламента вторгнуться на территорию правительства, в «Mémoires sur la librairie» (p. 58–74).

роны претендентов на место цензоров — ни эдикт парижского парламента, ни резолюция Генеральной ассамблеи духовенства Франции, ни *mandement* архиепископа Парижа, ни похожие возмущенные письма других епископов, ни осуждение Сорбонны, ни бреве от Папы и ни предписание Королевского совета. В «Об уме», безусловно, содержалось достаточно вызывающего — материалистическая метафизика, утилитарная этика, неортодоксальная политика, чтобы вызвать осуждение у любого приверженца традиционных подходов. Но чехарда с ее осуждением свидетельствует о большем, чем праведный гнев. Каждое высказывание против книги было посягательством на авторитет государства и попыткой присвоить себе его часть. Конечно, скандальные работы выходили и до этого, но они распространялись по подпольным каналам книготорговли. «Об уме» продавалась открыто, с королевской привилегией и апробацией.

Ее цензором был Жан-Пьер Терсьер, главный чиновник в Министерстве иностранных дел. Поглощенный дипломатической бурей, которую породила Семилетняя война, Терсьер не мог уделить время абстрактной философии и едва ли обладал возможностью понять ее. Обычно он проверял книги, связанные с историей и международными отношениями. Чтобы окончательно его запутать, рукопись была предоставлена Терсьеру в нескольких пачках и с перепутанным порядком изложения, что сильно затрудняло возможность проследить за ходом мысли. И его уговаривала поторопиться мадам Гельвеций, ослепительная красавица, пустившая в ход свои чары на обеденном приеме и умолявшая закончить до того, как она с мужем будет вынуждена покинуть загородный дом. В конце концов Терсьер дал книге полноценную апробацию, которая вышла в печати вместе с королевской привилегией. Атеистический труд с королевской печатью одобрения! Скандал можно было воспринять как нечто, более серьезное, чем

бюрократическая ошибка: он подразумевал, что цензура слишком важна, чтобы доверить ее королевским цензорам, и внешним силам нужно предоставить некоторый контроль над тем, что попадает в *Direction de la librairie*.

Парижский парламент изо всех сил старался обратить ситуацию в свою пользу. Ее генеральный прокурор требовал от Терсьера отозвать свою апробацию, хотя это находилось в юрисдикции Мальзерба, действовавшего от лица канцлера и короля. Мальзерб ликвидировал эту угрозу, организовав аннулирование апробации через эдикт Королевского совета. Гельвеций был вынужден уйти в отставку с поста, который занимал при дворе, а Терсьер, который, кроме всего прочего, поссорился с мадам де Помпадур, был уволен из Министерства иностранных дел. Но парламент снова нанес удар, вынудив Гельвеция отречься от книги в ряде унизительных выступлений, и даже дошел до осуждения целого ряда просвещенческих работ; среди них были «De l'Esprit: La Religion naturelle, poème» («Естественная религия, стихотворение») Вольтера, «Pensées philosophiques» («Философские размышления») Дидро, «La Philosophie du bon sens» («Разумная философия») Ж.-Б. Бойера, маркиза д'Аржана, «Pyrrhonisme du sage» («Пирронизм мудреца») Луи де Бособра, «Lettres semiphilosophiques du chevalier de *** au comte de ***» («Полуфилософские письма шевалье де *** к графу ***») Ж.-Б. Паскаля, «Lettre au R.-P. Berthier sur le matérialisme» («Письмо о материализме преподобного отца Бертьера») Ж.-Б. Койера и первые семь томов «Энциклопедии». 10 февраля 1759 года все эти книги, за исключением «Энциклопедии», были разорваны и сожжены палачом у подножия главной лестницы парламента. Такое церемониальное аутодафе выглядело как объявление войны Просвещению.

Трудно представить себе более неподходящий момент. Слухи о заговорах и предательстве ходили по Парижу и Версалю с момента полубезумного и нерешительного

покушения на Людовика XV, предпринятого Робером-Франсуа Дамьеном 5 января 1757 года[1]. Дамьен, скорее всего, повредился умом на почве истерии вокруг янсенизма, которая вспыхнула посреди серьезного конфликта между парламентом и короной. В то же время экономика трещала под гнетом Семилетней войны, опустошившей казну и вынудившей короля ввести новые налоги. Сама война превратилась в череду катастроф, увенчавшихся 5 ноября 1757 года поражением при Россбахе, когда Фридрих II обратил в бегство объединенные армии Франции и Австрии. Не сумев сохранить хладнокровие перед лицом неудач, правительство запаниковало. 16 апреля 1757 года Королевский совет выпустил указ, грозивший смертной казнью любому, кто писал, издавал или продавал работы, которые хоть немного склоняли к брожению умов (*émouvoir les esprits*)[2].

К этому времени переполох, вызванный «Энциклопедией», стал для противников просветителей особенно уязвимой мишенью. Иезуиты, янсенисты и огромное количество полемистов осуждали нечестивость и ересь, изложенные в первых двух томах, так неистово, что Королевский совет осудил их в 1752 году, хотя и не запретил публикацию следующих томов. На практике запрет ни на что не повлиял, только увеличил продажи, резко взлетевшие до 4000 подписок. Это было целое состояние: 1 120 000 ливров с изначальной ценой подписки в 280 ливров (позже она возросла до 980 ливров, что сделало «Энциклопедию» одной из самых дорогих и, возможно, самой прибыльной книгой в истории Франции среди изданных до XIX века)[3]. Мальзерб был

1. Описание общего контекста того времени см.: *Dale Van Kley*. The Damiens Affair and the Unraveling of the Ancien Régime, 1750–1770 (Princeton, 1984).
2. *Jourdan Isambert, Alfred Decrusy*. Recueil général des anciennes lois françaises (Paris, 1821–33), vol. 22, 272–74.
3. Я рассказываю об экономической стороне повторных изданий «Энциклопедии» в «The Business of Enlightenment», особенно в главах 2 и 7.

особенно внимателен к экономической стороне книжного дела[1]. Он поощрял использование молчаливого согласия, чтобы не дать капиталу утечь за границы Франции к зарубежным издателям. Благодаря его протекции «Энциклопедия» продолжала непрерывно издаваться до седьмого тома, вышедшего в ноябре 1757 года. Через восемь месяцев после этого разразился скандал с «Об уме». Гельвеций не писал для «Энциклопедии», но в своих обвинениях Просвещения генеральный прокурор парламента объединил обе книги как доказательство заговора против церкви и государства. Парламент, хотя и пощадил «Энциклопедию» во время сожжения книг 10 февраля 1757 года, поддержал ту же линию, запретив все продажи «Энциклопедии» и создав комиссию для ее изучения. Мальзерб успешно отбил эту атаку, но для этого ему пришлось взять на себя преследование книги. 8 марта эдиктом Королевского совета привилегия «Энциклопедии» была отозвана. Четыре месяца спустя государство обязало ее издателей выплатить неустойку в 72 ливра каждому подписчику, а Мальзерб отправил полицию обыскать штаб Дидро, чтобы конфисковать все бумаги, связанные с этим гигантским проектом. Защищая свой авторитет, государство склонилось к жесткой последующей цензуре[2].

Однако перед полицейским рейдом Мальзерб предупредил Дидро, чтобы тот отправил бумаги в безопасное место. Дидро ответил, что не знает, куда деть такое количество материалов за такой короткий срок. Мальзерб вошел в положение и спрятал большую их часть в собственном городском особняке. С точки зрения внешнего мира, «Энциклопедии» пришел конец, но Дидро продолжал втайне составлять ее еще шесть лет вместе с основной группой единомышленников, которые

1. См., например, его «Mémoires sur la librairie» (p. 85–86).
2. Мальзерб выразил свой взгляд на кризис вокруг трактата «О душе» и «Энциклопедии» в «Mémoires sur la librairie» (p. 57–74).

не бросили его. Последние десять томов вышли разом в 1765 году с поддельным штампом Невшателя. К этому времени во Франции воцарился мир, споры о янсенизме улеглись, противостояние короны и парламентов стихло, хотя бы на короткое время, и работы просветителей продолжали выходить, пусть и без привилегии[1].

1. Самым скандальным случаем после 1759 года стала публикация в 1770-м вольтерианского трактата «De la Philosophie de la nature», написанного Ж.-Б.-К. Исоардом, известным как Делиль де Сале. Надеясь получить привилегию, Делиль отправил текст симпатизирующему цензору, аббату Шретьяну. Но они поссорились после попытки Делиля без ведома своего приятеля отправить в печать неправленую версию рукописи. Делиль умудрился добиться передачи книги другому цензору и смог его одурачить, одновременно создавая следующие тома. В итоге скандал привел к часто цитируемой полемике, в которой Шретьян оправдывает свою роль цензора и порицает скрытные поползновения Делиля. Книга была осуждена Генеральной ассамблеей духовенства и судом Шателе и сожжена палачом в 1775 году. См.: *Pierre Malandain*. Delisle de Sales philosophe de la nature (1741–1816) (Oxford, 1982).

Книжная полиция

Пережив двойной скандал с «Об уме» и «Энциклопедией», Просвещение сумело найти своего читателя в самый опасный период своего существования при Старом режиме. Но этот случай, и сам по себе значимый, может показаться столь драматичным, что затмит более всеохватывающие и долгосрочные действия цензуры. Не стоит воспринимать события 1757–1759 годов как типичную работу цензоров или позволять им превратить историю цензуры во Франции XVIII века в битву просветителей и их противников. Более правильно было бы воспринимать работу Мальзерба и его людей как часть того, что можно назвать литературными реалиями, то есть повседневным миром писателей, издателей, книготорговцев и влиятельных фигур при дворе и в столице. Этот мир, как писал Мальзерб в «Mémoires sur la librairie» (1759), в основном был под контролем. Но, как и любой высокопоставленный чиновник при Старом режиме, Мальзерб имел смутное представление о том, что происходило за пределами Парижа и Версаля. Он даже не знал, в скольких городах есть инспектор по книжной торговле (только в двух, кроме Парижа, — в Лионе и Руане) и в скольких есть отделения гильдии, способные обеспечить выполнение королевских распоряжений (в двадцати семи городах были гильдии или профессиональные объединения, чьи члены имели особое право продавать книги, но только в пятнадцати из них были *chambres syndicales*, ответственные за проверку всех книжных поставок). Хотя Мальзерб знал, что в провинциях процветает

нелегальная торговля книгами, он и представления не имел о ее масштабе.

Преемник Мальзерба, Антуан де Сартин, бывший куда более способным администратором, попытался понять настоящее положение дел в книготорговле, набрав интендантов, чтобы исследовать всех торговцев в королевстве. В итоге колоссальная перепись, затронувшая 167 городов и законченная в 1764 году, выявила огромную индустрию, которая действовала, не обращая особенного внимания на попытки государства ее контролировать. Эта информация послужила почвой для введения в 1777 году новых правил, призванных добиться хоть какого-то порядка, но они, как и все королевские эдикты, привели лишь к частичным результатам. Провинциальные торговцы книгами и в больших городах вроде Лиона, Руана и Марселя, и в маленьких, таких как Аванш, Бур-Сент-Андеоль, Шатодан-ан-Дюнуа, Форж-Лез-О, Ганж, Жуэнвилль, Лудан, Монтаржи, Негрепелис, Тарб, Валанс, вели бизнес вне поля зрения Парижа и по большей части вне рамок закона[1]. В 1770-х более 3000 предпринимателей разного рода торговали книгами, но в полуофициальном «Almanach de la librairie» 1781 года указаны только 1004. У большинства не было никакого права. (Чтобы легально продавать книги, нужно было быть членом гильдии или хотя бы купить сертификат, называемый *brevet de libraire*.) Основную часть их товара составляли книги, изданные за рубежом, купленные напрямую или через посредников, и многие из них были

1. Во всех этих маленьких городках были свои книготорговцы, состоявшие в переписке со швейцарским издательством-оптовиком *«Société typographique de Neuchâtel»*, но никто из них не внесен в «Almanach de la librairie» (Paris, 1781), куда теоретически должны были вписывать всех книготорговцев Франции. Обсуждение *STN* и его обширной переписки см. в моей работе «My Forbidden Best-Sellers of Pre-Revolutionary France» и сопроводительном томе «The Corpus of Clandestine Literature in France, 1769–1789» (New York, 1995).

нелегально изданными или запрещенными. У нас нет достаточных данных, чтобы определить пропорции, но, каким бы ни было статистическое соотношение законной и незаконной литературы, очевидно несоответствие между книгами, которые занимали цензоров, и теми, что действительно распространялись по каналам торговли[1].

Власти полностью осознавали это несоответствие, несмотря на их неполную осведомленность, потому что книги часто изымались на границе Парижа и во время проверок поставок, проходящих через провинциальные *chambres syndicales*. Получив сигнал от информаторов, власти обыскивали книжные лавки, изымали нелегальные труды и допрашивали торговцев. Обысками руководили полицейские инспекторы, назначенные надзирать за книготорговлей. Самый активный из них, Жозеф д'Эмери, тесно сотрудничал с Мальзербом и Сартином и собрал невероятно богатый материал по всем областям издательской индустрии. Все ли эти действия можно отнести к формам последующей цензуры?[2]

Французы XVIII века сочли бы это обычной работой полиции. «Полиция» тогда была широким понятием, содержащим большую часть задач муниципального управления, включая освещение, гигиену и поставку про-

1. Информация для этого параграфа взята из прекрасной работы: *Thierry Rigogne*. Between State and Market: Printing and Bookselling in Eighteenth-Century France (Oxford, 2007) — и моих исследований бумаг *«Société typographique de Neuchâtel»* в публичной библиотеке Невшательского университета в Швейцарии.
2. Информацию о полицейских операциях можно найти в «The Forbidden Best-Sellers of Pre-Revolutionary France» и моей же «Edition et sédition: L'Univers de la littérature clandestine au XVIIIe siècle» (Paris, 1991), где содержится большой объем информации, которая не опубликована на английском языке. Полицейскую работу д'Эмери я рассматриваю в главе «A Police Inspector Sorts His Files: The Anatomy of the Republic of Letters» в «The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History» (New York, 1984).

дуктов[1]. Парижская полиция была известна своей отточенной, современной и хорошо организованной работой. Ее устройство было настолько продвинутым, что служило вдохновением для трактатов о полиции, что можно считать вкладом в литературу Просвещения. Вольтер считал *sociétés policées* социальным устройством, достигшим высшей степени развития цивилизации. Ошибочно было бы связывать полицию при монархии Бурбонов с репрессивными органами при тоталитарных режимах. Однако, несмотря на свою продвинутость, литературная полиция Франции XVIII века изъяла множество работ просветителей наряду с многими другими, так никогда и не вошедшими в историю литературы, но бывшими основной мишенью государственного преследования.

Чтобы полноценно осветить все аспекты полицейской работы этого рода, понадобилась бы целая книга. Но ее основы можно увидеть на примере изучения нескольких дел, которые показывают, как инспекторы книжной торговли (*inspecteurs de la librairie*) осуществляли свою работу. Во время обходов полицейские проверяли известные издательские дома и книжные лавки Латинского квартала, но куда чаще поиски незаконных книг приводили их на чердаки, в задние комнаты, подпольные магазины и секретные склады, где производили и распространяли «плохие книги» (*mauvais livres*), как их называли инспекторы. Эти книги были настолько вредны в глазах властей, что не было нужды подвергать их цензуре. Их следовало найти и уничтожить или, в некоторых случаях, замуровать в Бастилии, ведь они существовали полностью вне закона.

1. Мнение современников о парижской полиции можно найти в: *Jean-Baptiste-Charles Le Maire*. La Police de Paris en 1770: Mémoire inédit composé par ordre de G. de Sartine sur la demande de Marie-Thérèse d'Autriche, ed. Antoine Gazier (Paris, 1879); *Nicolas de La Mare*. Traité de police, où l'on trouvera l'histoire de son établissement, les fonctions, et les prérogatives de ses magistrats. . . (Amsterdam, 1729); *Jacques Peuchet*. Encyclopédie méthodique: Jurisprudence, tome neuvième: Contenant la police et les municipalités (Paris, 1789 и 1791).

Автор в комнатах для прислуги

«Инспекция» литературы иногда приводила полицию к известным авторам, но большую часть времени они пытались выследить никому неведомых писак, создававших худшие из «плохих» книг. Один случай рассказывает о необычном авторе и работе полиции по искоренению подпольной печати в особенно опасном месте — Версале[1].

В августе 1745 года полиция обнаружила, что из-под полы начали распространять особенно спорную книгу о любовной жизни короля, слегка замаскированную под сказку под названием «Tanastès». Они поймали книгоношу, сообщившего, что берет товар на секретном складе в Версале, который держит книготорговец по имени Дюбюиссон. Дюбюиссона немедленно схватили и увезли в Бастилию на допрос. Он признался, что получил рукопись от некого Мазелина, лакея гувернантки дофина. Мазелин получил ее от автора, Мари-Мадлен Бонафон, горничной принцессы де Монтобан, которая рассталась с ней в обмен на 200 копий книги, издание которой Дюбюиссон организовал в Руане в магазине вдовы Ферранд.

Один отряд полиции выехал в Версаль за Мазелином и мадемуазель Бонафон, другой — в магазин Ферранд в Руане. Тем временем инспекторы на улицах

1. Это описание составлено по подробному делу из архивов Бастилии: Bibliothèque de l'Arsenal, Archives de la Bastille, ms. 11582.

продолжали отлавливать книгонош. В итоге они притащили в Бастилию двадцать одного говорливого заключенного, допрос которых позволяет многое понять о подпольной печати. Самое откровенное признание было получено от автора, мадемуазель Бонафон. 29 августа после двух ночей, проведенных в одиночестве в камере, ее привели к Клоду-Анри Фейдо де Марвию, генерал-лейтенанту полиции.

Генерал-лейтенант считался одним из самых высокопоставленных чиновников Франции, занимая примерно то же положение, что и современный министр внутренних дел. Он не допрашивал заключенных в Бастилии лично, за исключением важных государственных дел. В этом случае Марвий, очевидно, почуял неладное, потому что горничные не пишут политических романов, да и вообще обычно не пишут. Поэтому он тщательно подготовился к допросу и проводил его на манер игры в кошки-мышки. Марвий расставлял ловушки, мадемуазель Бонафон пыталась их обойти, а запись разговора запечатлела все их ходы, так как велась в форме диалога: вопрос–ответ, вопрос–ответ, каждая страница подписана мадемуазель Бонафон, чтобы подтвердить, что все изложено точно[1].

Марвий быстро расправился с формальностями: мадемуазель Бонафон поклялась говорить только правду и назвалась уроженкой Версаля двадцати восьми лет, из которых последние пять она служила горничной у принцессы де Монтобан. Потом генерал-лейтенант сразу перешел к делу: писала ли она книги?

Да, сказала мадемуазель Бонафон, «Tanastès» и начало еще одной, «Le Baron de xxx», а еще пьесу, которая

1. Следующие цитаты взяты из записи трех допросов мадемуазель Бонафон: Ibid., folios 55–57, 79–80, and 115–16. Как указано в тексте выше, я суммировал части диалога (те, что не были помечены как цитаты), но старался придерживаться оригинала, который, как и все допросы, был написан в прошедшем времени: «Был задан вопрос», «Ответила, что…» и т. д.

никогда не ставилась и находилась у Мине-сына из Comédie française. (Позже она заявила, что закончила черновики двух других пьес, «Les Dons» и «Le Demi-Savant», и сочинила довольно много стихотворений.) Был задан вопрос, что привило ей вкус к творчеству? Не советовалась ли она с кем-нибудь, сведущим в композиции, чтобы научится излагать мысли в тех книгах, что она хотела написать? Она ответила, что не советовалась ни с кем, что, так как она много читала, это поспособствовало желанию писать самой. Более того, ей казалось, что таким образом она сможет заработать немного денег. Никто не учил ее театральным порядкам, но она поняла их сама из пьес. Несколько раз по поводу «Le Destin» она действительно советовалась с Мине, но над другими упомянутыми произведениями работала сама. Она никому не рассказывала о «Tanastès», кроме господина Мазелина, которого попросила найти кого-либо, кто организует издание книги.

Это было невероятно: женщина-служанка говорит главе полиции, одному из самых могущественных людей в королевстве, что она написала книгу, потому что хотела ее написать, и сделала это сама без посторонней помощи. Генерал-лейтенант не мог в это поверить. «Писала ли она книгу, основываясь только на своем воображении? — спросил он. — Не давал ли ей кто-то записанного материала, чтобы обработать его? Кто давал ей [такой материал]?». Она ответила, что ей не давали никаких записей, что сочинила книгу сама и действительно руководствовалась только воображением. Марвия не остановили эти общие заявления. Он потребовал точной информации о создании и распространении книги. (Здесь я перескажу содержание допроса, строго придерживаясь записи.)

Когда она ее писала?

С декабря по январь и в марте 1745 года.

Какие были договоренности насчет публикации?

Мазелин доставил рукопись Дюбюиссону, который обещал за нее отдать 200 экземпляров книги. Дюбюиссон или кто-то из его сотрудников сделали для издания эпиграф на латыни, предисловие и примечания, которые не были написаны ей самой.

Где ее напечатали?

По словам Мазелина, в Руане.

Что она сделала со своими 200 экземплярами?

Сожгла.

Когда?

После того, как услышала об аресте Дюбюиссона.

В этот момент допрос дошел до опасной точки, потому что защита Бонафон начала сдавать. Хотя она не могла отрицать своего авторства, горничная пыталась выставить «Tanastès» безобидным любовным романом, слегка вдохновленным придворными слухами. А Марвий пытался вынудить Бонафон признать, что она с самого начала знала, что это оскорбительная клевета на короля. То, что она до последней минуты ждала перед уничтожением книг, показывало, что горничная хотела нажиться на скандале, который осознанно создавала. Так что, пока Бонафон придерживалась своей версии событий, Марвий кружил вокруг, атакуя вопросами слабые места.

Разве Мазелин, первый раз прочитав рукопись, не предупредил ее, что это можно использовать для *mauvaises applications* или опасных параллелей с текущими событиями?

Да, но она заверила Мазелина, что это всего лишь история, каких множество появляется каждый день, не создавая никаких *applications*.

Если Мазелин предупредил ее об опасности, почему она продолжала настаивать на издании книги?

Она признала, что была не права, но она не видела ничего дурного в *applications*. Она решила не отказываться от публикации только потому, что «очень нуждалась в деньгах».

Разве к истории не было ключа? Не был ли он приложен к тем экземлярам, которые она получила?

Нет. Она видела ключ три недели назад, рукопись прилагалась к некоторым экземплярам, продаваемым на прилавке Дюбюиссона в Версале, но она не имеет к этому никакого отношения.

Эта реплика обнажила слабость в защите Бонафон, и Марвий немедленно нанес удар.

Вот как! Значит, задолго до того, как она сожгла свои экземпляры, она все знала об *applications* и тем не менее не отказалась от своего плана продать книги. Более того, она бы продала весь запас, если бы Дюбюиссона не арестовали. Она была виновна в создании и распространении «самой непристойной книги в мире»! Не она ли была автором ключа? Или это был Мазелин? Предосторожности, которые они предприняли, чтобы скрыть свои действия, показывают, что оба осознавали их преступность.

Вовсе нет, ответила она. Она прибегла к секретности только потому, что не хотела афишировать свое имя. Только отчаянная нужда в деньгах вынудила ее написать книгу, она не писала ключ и не верила, что Мазелин сделал бы это.

На этом месте Марвий остановил допрос. Он узнал достаточно, чтобы доказать причастность мадемуазель Бонафон к созданию незаконной литературы, но подозревал, что есть еще что-то, чего она не хочет говорить. Ведь зачем простолюдинке, особенно женщине из домашних слуг, писать романы? Чтобы узнать подноготную этой истории, Марвию нужно было допросить других заключенных в Бастилии, а их было предостаточно.

В конце концов генерал-лейтенант и его подручные разобрали двадцать одно дело, отправив в заключение одних, изгнав других и отпустив пару книгонош

и посыльных издателя. Они составили полную картину подпольной сети, соединяющей Руан, Версаль и Париж. Но основной проблемой полиции оставалось авторство ключа и самого романа, так что они сосредоточились на мадемуазель Бонафон. Они вызывали ее еще на два допроса и продолжали расставлять ловушки, а она продолжала их обходить. Но полиция добилась большего от ее соучастников. Когда удавалось выудить компрометирующую информацию из одного подозреваемого, ее проверяли у другого, придерживая новые сведения, чтобы поймать его на лжи. Тогда ему рассказывали о показаниях подельника, пытаясь добиться признания. Кроме того, полиция пробовала докопаться до истины с помощью техники, известной как «конфронтация». Они вызвали мадемуазель Бонафон и Мазелина из отдельных камер и зачитали их показания, стараясь вызвать взаимные обвинения. Когда это не сработало, привели Дюбюиссона и повторили процедуру. Версия издателя насчет ключа откровенно противоречила остальным, но никто не сдавался. Так что расследование не двигалось с места в течение нескольких дней, пока наконец следователи не заставили расколоться Майяра, консьержа маркиза де При. Он признался, что работал на потайном складе в городском особняке маркиза в Париже. Оттуда он снабжал парижских книгонош, а сам получал товар из Версаля: сорок пять экземпляров от Мазелина и двадцать пять от мадемуазель Бонафон, которая должна была получить по три турских ливра за каждую проданную книгу. (Ливр, наиболее ходовая валюта, в 1750 году был примерно равен дневному заработку неквалифицированного работника.) В посылке, пришедшей от Бонафон, был ключ, написанный ее рукой.

Признание Майяра дало генерал-лейтенанту нужную информацию для третьего допроса мадемуазель Бонафон. Он сначала скрывал ее, задавая привычные

вопросы о ключе и получая в ответ привычное отрицание. Потом сделал выпад:

Знает ли мадемуазель Бонафон некого Майяра, консьержа маркиза де При?

Она видела его однажды в Версале вместе с мадам де При.

Писала ли она когда-нибудь Майяру или отправляла ему экземпляры «Tanastès»?

Нет.

Ложь. Ему было уже известно, что мадемуазель Бонафон отправила двадцать пять экземпляров книги Майяру и участвовала в поставке еще сорока пяти, рассчитывая получить по три ливра с каждой продажи.

В этот момент последний бастион защиты мадемуазель Бонафон пал, и ей ничего не оставалось, кроме как признаться, скрыв как можно больше информации.

Да, признала она, это правда: она пыталась извлечь выгоду из тех книг, которые оставались в ее распоряжении. Она вверила их слуге принца де Константина, который мог без проблем провезти их через таможню в карете принца.

Был ли в посылке ключ?

Да, она не могла этого отрицать. Майяру нужен был ключ, чтобы продавать книги. Так что ей пришлось написать его своей рукой и отдать Мазелину для отправки Майяру, но с условием, что он будет служить только для пользования Майяра, а не распространяться вместе с книгами.

Тогда Марвий показал бумагу, исписанную от руки. Это ключ?

Да, призналась она. Это был именно тот экземпляр, который она послала Майяру, написанный ее рукой. Единственное, что она могла сказать в свою защиту, так это то, что не получила от книг никакой прибыли.

Отбросив это оправдание, Марвиль начал вещать:

> Довел до ее сведения, что с момента своего заключения она взяла в привычку признавать часть фактов, свидетельствующих против нее, и отвергать другую.
>
> Она была виновна в создании и распространении литературы самого возмутительного и опасного рода. Она пыталась обогатиться, клевеща на короля. И может не сомневаться, что останется в тюрьме до тех пор, пока корона не соблаговолит помиловать ее.

На самом деле мадемуазель Бонафон провела в Бастилии четырнадцать с половиной месяцев. Ее здоровье было настолько подорвано, что, согласно докладу управляющего Бастилией, она могла умереть, не переведи ее власти в более здоровую среду. Так что мадемуазель Бонафон отправили в монастырь сестер-бернардинок в Мулине, где она провела следующие двенадцать лет без права принимать посетителей или получать письма.

Почему я выбрал именно это дело из сотен, находящихся в архивах Бастилии? Современному читателю (это чистое предположение, скорее всего, я — единственный, кто читал этот текст за последние 250 лет) «Tanastès» покажется просто скучным. Но для читателей XVIII века, вооруженных ключом, это была сенсация — первая работа о сексуальной жизни Людовика XV и придворных интригах, с нею связанных. Конечно, слухи в Версале держали двор в курсе романов короля, с их неловкого начала с тремя дочерями маркиза де Несля (особенно всеми ненавидимой графини де Шатору, сопровождавшей Людовика на фронт в Метц во время Войны за австрийское наследство) до назначения мадам де Помпадур *maîtresse en titre*, но «Tanastès» предал все это печати. С помощью ключа, в котором говорилось, что Танастэ — это Людовик XV, Оромаль — кардинал

де Флёри, Амариель — епископ Суассона и так далее, любой читатель мог понять хитросплетения власти и секса в сердце французской монархии. Так воспринимала книгу полиция. В докладе правительству о проделанной работе было написано:

> Эта книга представляет собой аллегорическую сказку, из которой легко вывести оскорбительные *applications* в адрес короля, королевы, мадам де Шатору, герцога де Ришелье, кардинала де Флёри и других придворных мужей и дам. В ней рассказываются обстоятельства болезни короля в Метце в 1744 году, отставка мадам де Шатору, возвращение ей милости короля и восстановление положения, ее болезнь, смерть и новый выбор — мадам де Помпадур[1].

Это было форменное оскорбление величества.

Что еще примечательнее, учитывая старания государства контролировать мир печати, вся схема осуществлялась из комнат прислуги. Автор, ее посредник (Мазелин), перевозчик (слуга принца де Константина) и распространитель (Майяр) — все в разных должностях служили аристократам. Дюбюиссон был одним из многих издателей, ведущих дела в Версале, который держал запрещенные работы на потайных складах и продавал из-под прилавка или распространял из-под полы (*sous le manteau*, как обычно говорили). Дворец был переплетением каналов литературного подполья. И некоторыми из тайных агентов были женщины. Генерал-лейтенант полиции с трудом мог поверить, что горничная написала скандальный роман с ключом, но у мадемуазель Бонафон набралась целая подборка трудов — стихотворений и пьес, помимо

1. Ibid., fol. 20. Я ознакомился с копией книги в библиотеке Арсенала: Tanastès: Conte allégorique par Mlle de xxx (The Hague, 1745), 8 B. L. 19489, куда был включен рукописный ключ с именами персонажей, скрывающихся за сказочными героями.

«Tanastès». Более того, эта книга была напечатана в лавке, которой владела женщина, вдова Ферранд из Руана. Как и большинство вдов в книжной торговле, она возглавила дело мужа после его смерти. Литературная полиция обнаружила достаточно странных и неожиданных персонажей, чтобы сказать, что литература в широком понимании, включающем все стадии создания и распространения книг, проникала в обществе при Старом режиме куда глубже, чем это показывают труды, сосредоточенные на великих людях и великих произведениях.

Система распространения: артерии и капилляры

«Следствие» по книге часто начиналось с последнего пункта на пути ее распространения и продвигалось вверх к владельцам складов, извозчикам, типографам, издателям и авторам. Чтобы проследить эти нити, охотясь за запрещенной литературой, полиции нужно было ориентироваться в хитросплетении сосудов торговли, ведущих в задние комнаты, по маршрутам книгонош и к палаткам под открытым небом, где беднейшие обитатели литературного мира пытались заработать на хлеб. Нищета часто приводила к преступлениям, ведь наибольшую прибыль можно было извлечь там, где риск выше всего, — в подпольной торговле. Полиция часто задерживала маргинальных дельцов, действующих в этом опасном секторе, изо всех сил пытаясь сделать предложение соответствующим спросу, и архивы Бастилии полны историй этих «бедолаг» (*pauvres diables*) со дна книжной торговли.

Досье парижской *bouquiniste* (мелкой торговки книгами, обычно работавшей в палатке под открытым небом) служит богатейшим источником информации об этой стороне книжной системы распространения. Луиз Манишель, известная в торговых кругах как «девка Ла Марш», держала палатку в переулке, соединяющем сад Пале-Рояль с рю де Ришелье в самом сердце Парижа. Задолго до того, как Бальзак прославил его в «Утраченных иллюзиях», Пале-Рояль стал важной точкой в издательской индустрии. Он воплощал другую

сторону системы привилегий, свойственной Старому режиму. Так как Пале-Рояль принадлежал герцогу Орлеанскому, члену королевской семьи, это было *lieu privilégié* (привилегированное место), куда был закрыт вход полиции. Инспекторы и их доносители могли изучать товары, которые лежали на прилавках, рассеянных по саду, но не имели права проводить обыски или аресты без предварительного согласования с управляющим дворца, который обычно задерживал такие дела на достаточное время, чтобы виновники могли скрыться. В результате Пале-Рояль, чьи территории были открыты всем парижанам, предоставлял безопасное место для всевозможных сомнительных занятий — проституции, азартных игр, политических слухов и продажи запрещенных книг. Девка Ла Марш предлагала отборный товар покупателям, жаждавшим узнать об интригах министров, сексуальной жизни королевских особ и всякого рода вольностях, как философских, так и эротических.

Она не имела права этого делать. Формально все книгоноши и *bouquinistes* должны были получать разрешение от полиции и регистрироваться в *Direction de la librairie*, но Пале-Рояль защищал Ла Марш и некоторых других мелких торговцев в тени своих привилегий. Они устанавливали прилавки (*étalages*) под галереями, окружающими сад, и во всех соединенных с ним аллеях и переулках. Когда представлялся случай, они торговали между собой, сбивали друг другу цены и заключали союзы со своими коллегами из других относительно безопасных мест — Лувра и Дворца правосудия. Такие дельцы обычно получали книги от мелких книготорговцев из Парижа, которых снабжали потайные склады и типографии в провинции или за рубежом. Ла Марш знала все хитрости торговли. Она занималась этим, еще когда была маленькой девочкой, и унаследовала лавку от матери, занимавшейся ею до своей смерти в 1771 году. Отец Ла Марш, известный полиции

как «негодный подданный, продававший очень плохие книги»[1], держал такой же крохотный бизнес в другом месте, пока к семидесяти четырем годам здоровье не отказало. А его сестра разносила «плохие книги», пока полиция не упрятала ее в тюрьму Фор-Л'Эвек где-то в начале 1770-х. Не похоже, чтобы члены этой семьи читали те труды, которые продавали. Ла Марш не была неграмотной, но ее письма из Бастилии написаны примитивными каракулями и с такими ошибками, что иногда приходилось читать слово вслух и догадываться о его значении по звучанию.

В декабре 1774-го, это первая дата в ее досье, Ла Марш было тридцать восемь лет. Она жила с вдовой, которая работала у нее служанкой, в квартире на шестом этаже в задней части здания над табачной лавкой на рю Сен-Оноре. Это означало, что ее жилье было дешевым, ведь в парижской недвижимости экономическое расслоение было, как правило, вертикальным: чем выше этаж, тем беднее жилец. Пьер-Огюст Гупиль, инспектор по книжной торговле, начал готовить для Ла Марш ловушку после того, как получил донесение от осведомителя, купившего с ее прилавка запрещенную книгу и описавшего общество, собирающееся там:

> Все дворяне, ищущие последние новинки, библиофилы, которым привозят заказы, и дамы, желающие иметь книги на своем туалетном столике, обращаются к этой женщине. У нее всегда находится что-то, чтобы разжечь их любопытство: «*Lettre à un duc et pair*» («Письмо герцогу и пэру»), «*Lettre du sieur de Sorhouet au sieur de Maupeou*» («Письмо от господина де Соруэ господину де Мопо»), «*Mémoires authentiques de la vie de Mme du Barry*» («Подлинные воспоминания о жизни мадам дю Барри»), «*Les soirées du*

1. Пьер-Огюст Гупиль к Жану-Шарлю-Пьеру Ленуару (Dec. 14, 1774, Bibliothèque de l'Arsenal, Archives de la Bastille, ms. 12446). Следующее описание основывается на этом поразительно многотомном деле.

> *Roi de Prusse»* («Вечера короля Пруссии») и т. д. Нет такой книги, которой у нее бы не было и которую бы она не стала продавать[1].

Как можно понять из названий, ассортимент Ла Марш во многом состоял из политических памфлетов и скандальных трудов, многие из которых были направлены против решений канцлера Рене-Николя-Шарля-Огюстина де Мопо, спровоцировавшего в период с 1771 по 1774 год целый шквал протестных работ своей реорганизацией юридической системы в пользу увеличения власти короны в судах. Правительство делало все возможное, чтобы избавиться от подобных сочинений, даже после крушения министерства Мопо и вступления на престол Людовика XVI в мае 1774 года. Памфлетом, который они особенно хотели уничтожить, было «Lettre de M. l'abbé Terray à M. Turgot», связывавшее протесты против Мопо с действиями нового министра Анна-Робера-Жака Тюрго. Генерал-лейтенант полиции Жан-Шарль-Пьер Ленуар приказал Гупилю найти этот памфлет, что тот и сделал, приобретя через своего осведомителя два экземпляра в лавке Ла Марш. Потом он написал еще один доклад о ее бизнесе:

> Девица Ла Марш продолжает продавать «*Lettre de M. l'abbé Terray à M. Turgot»* в Пале-Рояль. Люди толпятся у ее прилавка, как будто там играют новую пьесу, это приводит к еще большему интересу. Кроме того, памфлет провоцирует разговоры о людях, которых компрометирует, и, хотя он довольно плохо написан, запах скандала, который от него исходит, гарантирует, что труд будет продаваться и читаться[2].

Отслеживая книги, полиция отмечала воздействие, которое они оказывают на парижскую публику. Остроумный памфлет или правильно расположенная лавка

1. Ibid.
2. Гупиль к Ленуару (Jan. 18, 1775, ibid.).

могли оказать нежелательное влияние на общественное мнение, и Ла Марш знала, как играть на чувствах своих покупателей. Гупиль отмечает, что она пыталась привлечь его тайного агента такими словами:

> Понизив голос, она спросила, знает ли он о «*Vie de Mme du Barry*». «Конечно, — ответил он. — А что?» — «А то, что у меня есть еще несколько экземпляров из тех двухсот, что мне прислали из Фландрии две недели назад». Потом она игриво добавила: «Вы знакомы с этой работой? Это «*Bréviaire des chanoines de Rouen*» [«Краткое изложение руанских канонов»]. Пришло оттуда же». И она тут же вытащила из-под прилавка книгу, которую я прилагаю к докладу и за которую попросила два ливра девять су. Как вы можете заметить, месье, это собрание непристойностей, прекрасно подходящее для развращения умов[1].

Гупиль попросил разрешения обыскать квартиру Ла Марш, где, по его мнению, она хранила запрещенные книги и где можно было найти указания на ее поставщиков. Ленуар согласился отправить его на такого рода «досмотр», и в десять вечера 23 января 1775 года Гупиль вместе с Пьером Шеноном, чиновником (*commissaire*) из суда ла Шателе, пришли домой к Ла Марш. Они провели тщательный обыск, но обнаружили лишь три экземпляра «Lettre de M. Terray», два — порнографического трактата «Le Volupteux hors de combat» («Выжатый сластолюбец») и примитивную счетную книгу. На следующую ночь в двенадцать часов они вернулись с *lettre de cachet* на арест Ла Марш и увезли ее в Бастилию.

Торговка пробыла в камере без каких-либо контактов с внешним миром до 27 января, когда Шенон приступил к первому из двух допросов. Он имел дело с множеством книгонош и торговцев такого рода и, как правило, не слишком усердствовал с вопросами при

1. Ibid.

первой встрече, чтобы иметь возможность запутать подозреваемых на следующем допросе, имея на руках доказательства, добытые следствием. Когда ее спросили о поставщиках, Ла Марш ответила что-то неопределенное, о людях, которые приходили к ее прилавку с пачками книг и возвращались через несколько дней за оплатой. Она не могла назвать имена и дать описание, более точное, чем «среднего роста» и «несколько потрепанного вида». Ла Марш сказала, что продает такие же книги, как и другие *bouquinistes* в Пале-Рояль, и думала, что полиция не имеет ничего против. Сама же она не знает об их содержании, так как не читала их. Она не имела понятия, что «Lettre de M. l'abbé Terray» запрещено. Покупатели спрашивали эту книгу, и, когда появился неизвестный человек с дюжиной экземпляров при себе, она их купила. Он продолжал приходить, а Ла Марш, по ее словам, продолжала продавать, пока не распространила около сотни экземпляров. Шенон пытался подловить торговку, указав на записи в ее счетной книге, где говорилось о 500 экземплярах «брошюры», но она ответила, что «брошюра» — общее слово, которое она использует, суммируя все продажи в конце дня. Она не помнила, какие именно работы скрывались под этим размытым определением, и точно никогда не использовала названия книг в своих расчетах. Не продавала ли она «Vie de Madame la comtesse du Barry», спросил Шенон. Только два экземпляра, ответила Ла Марш. Она приобрела их у одного из покупателей, у которого оказалось несколько лишних копий. Она не могла назвать ни его имени, ни адреса и могла описать только как благородного человека около пятидесяти лет[1].

В этот момент Шенон прекратил допрос. Он по собственному опыту знал, что готовность заключенных все отрицать часто разрушалась после того, как они

1. «Interrogatoire de la nommée Manichel dite la Marche à la Bastille», Jan. 27, 1775, ibid.

проводили достаточно времени одинокие и забытые в грязной сырой камере. Ла Марш выглядела отчаявшейся через день после первого допроса в своем письме к Ленуару. Она писала, что одна содержит семью. Ее отец был болен, сестра — беспомощна, служанка — нездорова, а ее бизнес, от которого они все зависели, — почти уничтожен. Письмо Ла Марш, которое требует не только перевода, но и предварительной расшифровки, показывает одновременно ее грамотность и состояние ума:

> La supliente in plor votre juistise vous prit de l'a regardé dun neuille de pitié je suis comme unemer de famille qui abesoins daitre ala taite de ses affair je un per de soisante e quinsans son et-tat nes pas sufisans pour le fair subsité et une seurs qui es dan la paine elle napoint dautre secour que de moy, je . . . ne ces de vercé des larme de sens.
>
> [La suppliante implore votre justice [et] vous prie de la regarder d'un oeil de pitié. Je suis comme une mère de famille qui a besoin d'être à la tête de ses affaires. J'ai un père de soixante et quinze ans. Son état n'est pas suffisant pour le faire subsister, et [j'ai] une soeur qui est dans la peine. Elle n'a point d'autre secours que moi. Je . . . ne cesse de verser des larmes de sang.]
>
> Просительница взывает к вашей справедливости и умоляет взглянуть на нее глазами милосердия. Я все равно что мать для семьи, которой нужно быть во главе всех дел. У меня есть отец семидесяти пяти лет. Его занятие не дает ему достаточно средств, чтобы существовать, и [у меня есть] сестра, которая страдает. У нее нет доходов, кроме меня. Я… не прекращаю плакать кровавыми слезами[1].

Тем временем полиция продолжила работать по другим направлениям. С помощью осведомителей и подручных Гупиль обнаружил, что «Lettre de M. l'abbé Terray à M. Turgot» распространяет «жена Мекюиньон», *bouquiniste* из Кёр де мэ Дворца правосудия, разносившая

1. Ла Марш к Ленуару из Бастилии (Jan. 28, 1775, ibid.).

памфлет по частным домам и продававшая небольшие партии своим коллегам в других местах, в том числе в Пале-Рояль. Она сообщила одному из агентов Гупиля, который приобрел несколько экземпляров книги, что заключила тайное соглашение с типографом, издавшим их. Он согласился сделать Мекюиньон своим единственным распространителем в Париже в обмен на часть от доходов. Секретность должна была защитить ее не только от полиции, но и от мужа, объяснила торговка, ведь если бы он узнал, сколько она зарабатывает, то потребовал бы себе долю[1]. В своем докладе Ленуару Гупиль советует использовать эту информацию, чтобы найти типографа, работавшего, по всей видимости, над вторым изданием, которое должно было включать в себя еще больше фальшивых писем, призванных скомпрометировать публичных персон.

Одновременно с этим полиция напала на след другой работы, беспокоившей начальство в Версале, — «Vie de Madame la comtesse du Barry, suivie de ses correspondances épistolaires et de ses intrigues galantes et politiques» («Жизнь госпожи графини дю Барри, сопровожденная ее перепиской, а также ее любовными и политическими интригами»). Ее продавали из-под полы отец и сын Десож, разносившие книги из своей квартиры на рю де Суарр и владевшие небольшой лавкой на пляс дю Лувр под воротами, ведущими на рю Фроманто. Оба были арестованы и помещены без возможности общаться в разные камеры Бастилии. К сожалению, запись их допроса была утрачена (есть только упоминание долгого допроса, который Шенон устроил Десожу-отцу до восьми часов вечера 2 февраля)[2], зато архивы содержат множество писем, которые отец и сын написали или получили. Изучив все доказательства, Шенон добыл достаточно информации, чтобы уничтожить защиту Ла Марш во время второго допроса.

1. Гупиль к Ленуару (Jan. 25, 1775, ibid.).
2. Шевалье, комендант Бастилии, к Ленуару (Feb. 2, 1775, ibid.).

Он начал с «Vie de Madame la comtesse du Barry». Готова ли Ла Марш подтвердить свои предыдущие показания насчет того, как приобрела эту книгу? Конечно, ответила торговка. Она купила два экземпляра у неизвестного благородного человека. А разве не у книгоноши Десожа, парировал Шенон. Тогда Ла Марш поняла, что уже не может поддержать достоверность своей истории. Да, призналась торговка, она решила утаить его имя только потому, что «его страдания не облегчили бы ее». Десож-отец доставил ей дюжину экземпляров по пять ливров каждый, а она продавала их по шесть ливров за штуку. А что насчет «Lettre de M. l'abbé Terray»? Ла Марш призналась, что получила его от Мекюиньона («господина Мекюиньона», так что, очевидно, жене не удалось скрыть заработок от мужа). Больше ей нечего было сказать, и Шенон отправил торговку обратно в камеру.

С этого момента расследование перешло от мелких дельцов с парижских улиц в большой мир книжной торговли. Среди множества писем, которые полиция конфисковала в квартире Десожей, несколько давали понять, что Десож-отец, уже тридцать три года разносивший книги, получал большую часть товара от поставщика в Версале по имени Равине, а этот Равине передавал заказы оптовикам из провинции, в первую очередь Жаку Манури в Кане, Абрааму Луке в Руане и книготорговцу по имени Валль, который управлял делом вдовы Л'Экорше в Байё. Гупиль и Шенон отправились в Нормандию в середине февраля 1775 года.

Парижская книжная полиция проводила операции в провинции, когда получала доказательства серьезного нарушения закона или когда правительство приказывало пресечь распространение враждебных публикаций[1]. Такие задания требовали тщательной

1. Детальное описание обысков в Кане, Руане, Алансоне и Сен-Мало, осуществленных предшественником Гупиля Жозефом д'Эмери в апреле и мае 1771 года, см. в: Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22101.

подготовки: предварительной разведки местности осведомителями, сотрудничества с интендантами и их *subdélégués*, помощи местной полиции и в случае необходимости подкрепления от конных жандармов (*maréchaussée*). Причем все это должно было проходить в строжайшей секретности, чтобы застать подозреваемых врасплох. 20 февраля Гупиль и Шенон в сопровождении местного полицейского прибыли в книжную лавку Абраама Луки в Руане на Канском причале под вывеской со святым Лукой. Они обыскали магазин и жилые комнаты над ним, но не нашли ничего подозрительного. Тогда следователи вызвали Луку, предупредили, что им известно о его участии в торговле запрещенными книгами, и потребовали ответить, где он их хранит. Закаленный шестидесятипятилетний ветеран торговли (он отсидел срок в Бастилии в 1771 году) не поддался на угрозы. Но, пока он настаивал на своей невиновности, полицейские заметили люк в потолке верхнего этажа. Лука заявил, что он ведет на чердак, где ночует слуга. Но следователи решили убедиться в этом собственными глазами. Забравшись на лестницу, они нашли сундук, набитый совершенно противозаконными книгами вроде порнографической «Histoire de dom B..., portier des Chartreux» («Истории дома Б..., привратника картезианцев») и атеистического «Christianisme dévoilé» («Разоблаченного христианства»). Вся бухгалтерия и переписка Луки были конфискованы вместе с запрещенной литературой, а сам он арестован и отправлен в Бастилию под надзором полицейского[1].

Три дня спустя полицейские ворвались в лавку Жака Манури «Источник знаний» на пляс Сен-Совёр в Кане. Пока бригадир жандармов стоял на страже, они обыскали помещения и обнаружили огромное количество политических, порнографических и антирелигиозных трудов, включая «Vie de Madame la comtesse du Barry».

1. Feb. 20, 1775, Archives de la Bastille, ms. 12446.

Манури заподозрили в организации их издания, но он отрицал всякую связь с типографией. Хотя ему было всего тридцать пять, он тоже имел за плечами много лет опыта подпольной торговли и провел четыре месяца в Бастилии в 1771 году за издание антиправительственных трактатов. Манури умолял не отправлять его в тюрьму на этот раз, ведь он и его жена были больны. Более того, женщина была при смерти, что подтвердил местный врач, находящийся у ее постели. Ввиду этого обстоятельства Гупиль и Шенон согласились отложить приказ об аресте Манури и, конфисковав его бумаги и переправив книги в Париж, отправились к своей следующей цели — в лавку, которой управлял Валль в Байё[1].

Рапорт об этой операции пропал из архивов, но Гупиль и Шенон должны были найти достаточно инкриминирующих доказательств, так как они отправили Валля в Бастилию в сопровождении вооруженной охраны. Местный нотабль постарался смягчить наказание, попросив Ленуара в письме о снисхождении. Он утверждал, что Валль всего лишь продавец (*garçon de boutique*), ничего не знающий о книгах и продающий то, что ему предлагали оптовики (в первую очередь Манури), не понимая, как назначить цену. Тем не менее ему приходилось содержать вдову Л'Экорше, унаследовавшую магазин, и ее шестерых детей, которые скатятся в нищету, если Валлю в скором времени не позволят вернуться к делам[2]. Но в переписке с Десожем, найденной при обыске его квартиры, Валль выглядит не столь невинно[3]. Однако Гупиль и Шенон не сосредоточива-

1. Feb. 23, 1775, ibid.
2. Ля Лонд к Ленуару (Feb. 26, 1775, ibid.).
3. См. письма Десожа к Валлю, который снабжал его запрещенными книгами, датированные 22 апреля, 24 июня, 24 июля и 6 августа 1773 года. В письме Десожу 20 июля 1773 года Валль сообщил, что отправил ему груз через секретный маршрут в королевском дворце Сен-Жермен-ан-Ле. Туда входило 16 экземпляров

лись на его деле, так как им нужно было торопиться обратно в Кан, чтобы допросить Манури.

Они прибыли туда 25 февраля и провели дознание в своей гостинице «Оберж дю Пале-Рояль». Единственный сохранившийся документ с этого события — список книг, которые были изъяты из магазина Манури[1]. Несмотря на то что он ужасно изорван, там достаточно информации, чтобы понять, что торговец был причастен к продаже незаконной литературы всех видов. Помимо распространенной порнографии («Histoire de dom B...», «Thérèse philosophe») в список входило множество свежей протестной литературы, направленной против Мопо:

> 14 [экземпляров] «Thérèse philosophe» («Философ Терес»).
>
> 65 «Haquenettes ou étrennes au seigneur de Maupeou» («Гарпии, или Новогодние подарки сиру де Мопо»).
>
> 3 «Margot la ravaudeuse» («Штопальщица Марго»).
>
> 2 «Réflexions impartiales sur l'Evangile» («Беспристрастные размышления о Евангелии»).
>
> 1 «Traité des erreurs populaires» («Трактат о повсеместных ошибках»).
>
> 2 «Lettres philosophiques par M. de Voltaire» («Философские письма господина де Вольтера»).
>
> 7 «Le Compère Mathieu, ou les Bigarrures de l'esprit humain» («Брат Матьё, или Пестрая природа человеческого сознания»).

«Histoire de dom B..., portier des Chartreux», 148 «La Putain errante» и 148 «L'Ecole des filles» общей стоимостью 448 ливров. Все эти документы см. в: Archives de la Bastille, ms. 12446.

1. Description des livres saisis sur le sieur Manoury, Feb. 25, 1775, ibid. (В этом документе множество пропусков и нет нижней части, возможно, из-за того, что его потоптали во время штурма Бастилии.) Последние три работы в этом списке намекают на верховные суды (*conseils supérieurs*), которые Мопо ввел в судебную систему, призванную уничтожить политическую власть традиционных парламентов. Людовик XVI восстановил парламенты после своего восшествия на престол в 1774 году.

4 «Le Colporteur, histoire morale et critique» («Разносчик, нравственная и критическая история»).

7 «Grigri, histoire véritable traduite du japonais» («Григри, правдивая история, переведенная с японского»).

2 «L'Académie des dames, ou les entretiens galants d'Aloysia» («Дамская академия, или Непристойные речи Алуайсии»).

10 «Histoire de dom B..., portier des Chartreux» («История дома Б..., привратника картезианцев»).

1 «La Gazette de Cythère, ou histoire secrète de Mme la comtesse du Barry» («Киферский вестник, или Тайная история мадам графини дю Барри»).

4 «Vie de Madame la comtesse du Barry» («Жизнь мадам графини дю Барри»).

92 «Oraison funèbre des conseils supérieurs» («Прощальная речь верховных судов» [то есть тех, что установил Мопо]).

42 «Haute messe célébrée par l'abbé Perchel, conseiller-clerc du ci-devant soi-disant conseil supérieur de Rouen» («Праздничная месса, проведенная аббатом Першелем, церковным советником прежнего так называемого верховного суда Руана).

118 «Derniers soupirs du soi-disant parlement» («Последний вздох так называемого парламента»).

Гупиль и Шенон не стали отправлять Манури в тюрьму, возможно, из-за его болезни или прискорбного состояния его жены. Так что в итоге только Лука и Валль присоединились к Ла Марш и Десожам в Бастилии. Но полученная переписка и счетные книги дали полиции огромное количество информации, позволяющей составить представление о торговой сети, простирающейся от Лондона до Женевы.

Было бы утомительно перечислять все связи, удерживающие эту систему вместе, и все книги, которые распространялись по ней. Лучшим способом рассмотреть эту сферу торговли с края, противоположного парижским *bouquinistes*, будет изучить бумаги, изъятые из магазина Манури, — семь толстых томов, которые Гупиль доставил в архивы Бастилии.

Жак Манури был одним из самых крупных дельцов в книжном бизнесе во французской провинции. Он происходил из семьи книготорговцев, поселившейся в Кане в начале века. Его отец владел магазином на рю Нотр-Дам в центре города и контролировал торговлю по всей округе. Как старший сын и вероятный наследник, Жак учился основам семейного мастерства. Ему присвоили ранг мастера в местной гильдии необычайно рано, в восемнадцать лет. В двадцать, продолжая работать в лавке отца, Жак начал приторговывать сам, в основном незаконными трудами. Впервые он попал в бумаги полиции в 1770 году, когда отправился в деловую поездку в Париж. Там отмечалось, что Жак остановился в дорогой гостинице (*«Hôtel du Saint-Esprit»* на рю л'Ирондель в комнате на втором этаже с видом на двор) и продал два экземпляра атеистической «Système de la nature», которая тогда была одной из самых востребованных и опасных книг, тайному осведомителю инспектора Жозефа д'Эмери. Д'Эмери не стал арестовывать Манури, но упомянул его в записях как «молодого человека лет тридцати, высокого, носящего шпагу или охотничий нож, волосы пострижены как у биржевика, одет в сероватый сюртук»[1]. Манури не стоит путать с бродягами и нищими из литературного подполья. Он выглядел как джентльмен.

Год спустя, во время операции, похожей на ту, что проводил Гупиль в 1775 году, д'Эмери осуществил обыск ряда книжных лавок и типографий в Кане, Авранше, Сен-Мало, Алансоне и Ле-Мане. 4 мая 1771 года с двумя полицейскими и четырьмя жандармами он обрушился на магазин отца Манури. Они обыскали каждый дюйм здания, включая большой торговый зал, несколько прилегающих комнат на первом этаже, жилые помещения наверху и в дальнем конце двора, две кладовки,

1. Недатированная заметка Жозефа д'Эмери (Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22100, fol. 244).

набитые книгами. Полиция не нашла ничего подозрительного, но из донесения одного из осведомителей они знали, что младший Манури имел отношение к публикации «Le Procès instruit extraordinairement contre M. de Caradeuc» («Невероятное слушание по делу месье де Карадёка»), четырехтомного антиправительственного трактата, связанного с политическим кризисом, получившим название «Бретонский случай». Луи-Рене де Карадёк де Лашалот, генеральный прокурор реннского парламента, возглавлял сопротивление разным, в основном финансовым, решениям короны. Его заключение в тюрьму с помощью *lettre de cachet* в 1765 году вызвало волну протестов со стороны «патриотов», выступающих против того, что они называли королевской деспотией, а задачей д'Эмери было остановить публикацию их работ. Вооруженные *lettre de cachet* на арест Манури, полицейские отправили его «крайне расстроенного и дрожащего» провести ночь в полной изоляции в местной тюрьме. (Его отец не был привлечен.) На следующий день во время допроса Манури признался только в том, что продал 400 экземпляров книги. Но через четыре дня д'Эмери обыскал типографию Жана-Закари Маласси в Алансоне, и тот признался, что напечатал 1500 экземпляров по заказу Манури и книготорговца из Сен-Мало по имени Говиус. Манури забрал их, сказав, что собирается переправить на склад неподалеку от Парижа, а потом продать в столице. Признание Маласси, подтвержденное дальнейшим расследованием, привело к заключению Манури в Бастилию. Он потерял четыре с половиной месяца за решеткой и, как объяснял позднее, 20 000 ливров[1].

1. Операция д'Эмери, заслуживающая отдельного исследования, подробно задокументирована в: Bibliothèque nationale de France, ms. fr. 22101. Манури ссылается на нее и потери, которые он понес, в нескольких письмах к *Société typographique de Neuchâtel*, в особенности от 16 декабря 1771 года, 27 сентября 1778-го и 26 ноября 1781-го. Однако он каждый раз называет разные

Только крупный торговец мог пережить такого рода убытки. В 1775 году Манури не просто оправился от удара, но и начал собственное дело на пляс Сан-Совёр в Кане. Хорошо напечатанная рекламная листовка описывает его так:

> ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ
>
> Ж. Манури, старший сын, предлагает огромный выбор книг любых жанров, в том числе редких и существующих в единственном экземпляре, который удовлетворит вкусы любителей чтения и позволит пополнить большую библиотеку недостающими работами.
>
> Поддерживая связи с крупнейшими книготорговцами в Париже, во Франции и по всей Европе, Манури может достать не только новые книги, о которых пишут в газетах, но и редкие работы, как современные, так и антикварные[1].

Обслуживая местных клиентов в магазине в Кане, Манури сосредоточился на оптовой торговле. Его переписка доказывает, что, кроме Десожа-отца в Париже, он поставлял книги перекупщикам в Лилле, Руане, Фужере, Байё, Сен-Мало, Ренне, Ле-Мане, Алансоне, Компьене и других городах на северо-западе Франции. Кроме этого, Манури издавал книги, задействовав типографии в Руане, Сен-Мало, Нанте и на *île anglaise*, скорее всего в Джерси[2]. Получая в свои руки полные тиражи, он мог продавать книги сотнями и обменивать их на работы, изданные другими оптовиками, чтобы

суммы и, возможно, преувеличивает масштаб своих потерь, чтобы продемонстрировать непоколебимую устойчивость своего дела. В письме от 26 ноября 1781 года он пишет: «В 1771-м я доказал, что потерял больше 40 000 ливров из-за недовольства правительства Мопо». Эти письма, содержащие огромное количество информации о делах книготорговца, можно найти в деле Манури в архивах *Société typographique de Neuchâtel* в *Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel*.

1. Jan. 20, 1775, Archives de la Bastille, ms. 12446.
2. Габриэль Реньо к Манури (Feb. 7, 1775, ibid.).

разнообразить свой ассортимент. Манури вел переписку с самыми влиятельными издательскими домами в Амстердаме, Гааге, Женеве и Невшателе[1]. Его коллега в Лондоне обещал снабдить торговца несколькими сотнями экземпляров французских антиправительственных трактатов, напечатанных там, по сниженной цене шиллинг за штуку, чтобы обеспечить «страховку» на случай, если они будут конфискованы во Франции[2]. А книготорговец из Лиона Габриель Реньо обещал не менее опасное и выгодное предприятие:

> Я не могу принять ни ваших «Trois imposteurs» [«Трех самозванцев», обличение Моисея, Иисуса и Мухаммеда], так как сейчас сам печатаю их тираж, ни «Dom B...», так как имею половину доли с почти завершенного тиража. Что касается «Pensées théologiques» [«Теологических размышлений»], у меня осталось еще много книг от предыдущего тиража. Насчет вашего [вопроса о] «Cythères» [«Киферского вестника, или Тайной истории мадам графини дю Барри»], я не понимаю, имеете ли вы в виду что-то из того, что я получил в обмен из Руана, или тираж, который я сейчас заканчиваю печатать, от которого прикладываю к письму титульный лист. Если у вас его еще нет, <...> вы будете в числе первых получателей <...> «Maupeouana» [то есть сборника работ против Мопо] в двух томах:

1. Письма Манури к *Société typographique de Neuchâtel* наполнены упоминаниями его сделок с книготорговцами во Франции и за рубежом. Этот аспект его бизнеса я рассматриваю в «Edition et sédition» (p. 98–104).
2. Ле Барон к Манури (March 22, June 6, 1774, Archives de la Bastille, ms. 12446). Ле Барон был другом Манури из Кана. Эмигрировав в Лондон, он устроился в типографию, выпустившую некоторые из воспоминаний Бомарше о его знаменитой тяжбе с Луи-Валентином Гузманом под названием «Mémoires pour servir à l'histoire du Parlement de Paris», а также язвительный выпад против мадам дю Барри от Шарля Тево де Моранда «Mémoires secrets d'une femme publique». Похоже, Моранд уничтожил тираж в обмен на выплату от французского правительства, о которой договорился Бомарше.

> я организую это издание, а также «La Fille de joie» [«Женщина для наслаждения»] с иллюстрациями и другие, которые я предложу вам через некоторое время. <...> Как только мы наладим связь, то, несомненно, сможем организовывать совместные проекты. <...> Мне необходимо большое количество такого товара, и я печатаю только крупные тиражи, что, однако, не мешает мне браться за вторые издания. <...> Будьте уверены в моем молчании[1].

В некоторых случаях удается воссоздать все стадии процесса распространения. Например, в мае 1774 года Реньо заказал Жаку-Бенжамину Террону, мелкому книготорговцу и типографу в Женеве, напечатать третий тираж «Journal historique de la révolution opérée dans la constitution de la monarchie françoise par M. de Maupeou» («Исторического дневника о революции в устройстве французской монархии, вызванной месье де Мопо»), одного из самых известных антиправительственных трактатов в последние годы правления Людовика XV. Реньо (в Лионе) послал десять экземпляров этой книги Манури (в Кан) в январе 1775 года, избегая упоминать название в письме, предупреждающем о поставке и заканчивающемся постскриптумом «Немедленно разорвите». (Я натыкался на невероятное количество предосудительных писем, которые заканчивались словами «Сожгите это» или «Уничтожьте это».) Манури

1. Габриэль Реньо к Манури (Feb. 7, 1775, ibid.). Вот книги, упомянутые Реньо: «Traité des trois imposteurs» — скандальная антирелигиозная работа, называвшая Моисея, Иисуса и Мухаммеда «тремя самозванцами», «Histoire de dom B..., portier des Chartreux» — порнографический антиклерикальный бестселлер, «Pensées théologiques relatives aux erreurs du temps» — антирелигиозный трактат, «La Gazette de Cythère» — злое обличение мадам дю Барри, которое Реньо переиздал под названием «Précis historique de la vie de Mme la comtesse du Barry», «Maupeouana, ou correspondance secrète et familière de M. de Maupeou» — антология эссе против министерства Мопо, и «La Fille de joie» — перевод «Memoirs of a Woman of Pleasure» Джона Клеланда.

предупредил Валля (в Байё), что он ожидает доставку в двух фургонах в первую неделю февраля. А 24 февраля Валль предложил продать книгу одному из своих клиентов, дворянину, живущему в замке рядом с Изиньи в Нормандии, подчеркивая его «литературный вкус и особенно… патриотизм». Переписка показывает даже увеличение цены, по мере того как книга перемещалась от типографии к оптовику, потом к распространителям, а потом к читателям. Реньо продал «Journal historique» Манури по цене шесть ливров за экземпляр, а Валлю — девять ливров. Сам Валль запросил с покупателя пятнадцать ливров.

В нелегальной торговле можно было заработать очень много денег, но там существовали столь же внушительные риски, причем на всех уровнях, включая крупнейших книготорговцев-издателей. Задолжав 3000 ливров Манури и, несомненно, еще больше остальным поставщикам, Реньо исчез. Подпольные дельцы часто оказывались банкротами. Когда их спекуляции исчерпывали все ресурсы, торговцы задерживали платежи и старались отделаться от кредиторов, нередко стравливая их друг с другом, или просто сбегали, оставляя жен и детей. Сам Манури обанкротился к концу 1778 года. По соглашению с кредиторами он возобновил дело и, очевидно, продолжил «свое основное занятие»[1], торговлю незаконными книгами, до 1789 года, а то и дольше. Но он уже не смог восстановить репутацию в глазах банкиров, которые оплачивали векселя книготорговцев. Один из них предупредил *Société typographique de Neuchâtel*, швейцарского издателя, поставлявшего Манури множество тиражей незаконных книг: «…этот человек совсем не надежен. Остерегайтесь связываться с ним»[2].

1. Манури к *Société typographique de Neuchâtel* (Oct. 4, 1775, бумаги *Société typographique de Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel*).
2. Nov. 7, 1777, ibid.

Самой большой проблемой Манури было получение денег от перекупщиков вроде Десожей, которые всегда находили предлог, чтобы не платить по счетам. Например, в январе 1775 года Десож сделал несколько заказов на антиправительственный трактат «Oraison funèbre du conseils supérieurs» («Прощальная речь верховного суда»). Его клиенты, по словам торговца, «как черти мучают его, только бы заполучить книгу»[1]. Десож успешно доставил первую партию в Париж через тайный склад в Версале, но полиция перехватила вторую поставку на границе города. Десож попросил, чтобы Манури как поставщик разделил с ним эти убытки и послал новую партию вместе со ста экземплярами «Histoire de la vie de Mme la comtesse du Barry»: «Присылайте как можно скорее. Иначе они потеряют цену, потому что очень важно продать все быстро и не привлекая внимания. Добавьте 12 экземпляров *„Portier des Chartreux“* [„Истории дома Б…, привратника картезианцев“), 6 *„Nonnes éclairées“* [„Просвещенных монахинь“, нового издания *„Vénus dans le cloître, ou la religieuse en chemise“*] и 2 *„Vérités des mystères de la religion“* [„Правды о религиозных мистериях“]»[2]. Манури так и не получил денег за эти книги. Полиция конфисковала большую их часть при аресте Десожа, так же как и инкриминирующую связку писем из лавки Манури.

Эти письма и множество дополнительных свидетельств показывают, что дельцы на вершине незаконной торговли книгами вели себя столь же недобросовестно, как и мелкие сошки. У них просто был другой набор грязных трюков. Они продавали одну и ту же книгу под разными названиями, влезали в долги, а потом

1. Десож к Манури (Jan. 11, 1775, архивы Бастилии, ms. 12446). Даже после восхождения на престол Людовика XVI нападки на министерство Мопо, распущенное после смерти Людовика XV 10 мая 1774 года, продолжали хорошо продаваться и сурово преследоваться полицией.
2. Десож к Манури (Jan. 15, 1775, ibid.).

отказывались оплачивать векселя, придумывая оправдания вроде задержавшихся поставок или дорогой перевозки, отправляли шпионов в конкурирующие магазины и сдавали противников полиции, обманывали, мухлевали и мошенничали — кто-то больше других, кто-то меньше. Издатель Вольтера в Женеве Габриель Крамер и издатель Руссо в Амстердаме Марк-Мишель Рей были честными людьми с прекрасным вкусом. Но они были исключениями. Книгоиздание, по крайней мере незаконное, не было занятием для благородных людей.

Так же как и работа в полиции: Гупилю во время инспекций приходилось часто иметь дело с разнообразными сомнительными личностями. Он поймал стольких из них и узнал так много об их действиях, что вместе со своими начальниками, особенно генерал-лейтенантом Ленуаром, его можно было бы назвать подлинным знатоком литературного подполья. Но вне закона продавалось столько книг, что невозможно было конфисковать их все и арестовать каждого распространителя. Полиция задержала только нескольких посредников на пути от *bouquinistes* в Пале-Рояле до источника поставок. Те, кто отправился в Бастилию, провели там всего несколько месяцев, а потом вернулись к своим занятиям, начиная с девицы Ла Марш.

Конечно, время, проведенное ею в камере, не было приятным. Долго ожидая освобождения, Ла Марш все больше и больше погружалась в отчаяние. Через два месяца она писала:

> Qui son donc mes enmi je né jamais fait de malle ny de paine a qui se soit e il faut que je soit a cabalé sou le pois de la doulheure quelles donc mon sor je suis comme ci je né extes plus je suis oublié de tout le monde
>
> [Qui sont donc mes ennemis? Je n'ai jamais fait de mal ni de peine à qui que ce soit, et il faut que je sois accablée sous le poids de la douleur. Quel est donc mon sort? Je suis comme si je n'existais plus. Je suis oubliée de tout le monde.]

[Так кто же мои враги? Я никогда никому не причиняла вреда и горя, и [все же] я должна быть раздавлена под грузом страдания. Какова тогда моя доля? Кажется, как будто я никогда не существовала. Все в мире забыли обо мне][1].

В день ареста у нее оставался последний лучик надежды. Прежде чем Ла Марш отправили в Бастилию, она отозвала Гупиля в сторону и предложила шпионить на него, если он ее пощадит. Ла Марш знала все о подпольных делишках других *bouquinistes*, в особенности Гайот, Морин и Леспри. Она могла бы сообщать Гупилю обо всем, что они делают, и передавать ему экземпляры новейших книг, чтобы он точно знал, что продают из-под прилавков в Пале-Рояле. Она уже выступала в этой роли для его предшественника в качестве инспектора по книжной торговле Жозефа д'Эмери. Гупиль счел это прекрасным предложением и передал Ленуару[2]. И, хотя Ленуар его отверг, от самой идеи, возможно, еще не отказались. В конце марта Ленуар предложил Ла Врийеру, министру, управляющему Бастилией, отпустить Ла Марш: «Мне кажется, что она достаточно наказана заключением в течение почти двух месяцев и не будет ничего плохого в том, чтобы даровать ей свободу»[3]. Согласно рапорту майора Бастилии, Ла Марш освободили

1. Ла Марш к ее отцу (March 5, 1775, ibid.). Все ее письма из этого дела и дел других заключенных так и не были отправлены адресатам.
2. Гупиль к Ленуару (Jan. 24 and 25, 1775, ibid.).
3. Ленуар к Ла Врийеру (без даты, ibid.). Ла Врийер перенаправил письмо в Бастилию с пометкой на полях: «Я с этим согласен», на что чиновник ответил: «Заверено согласно приказу от 26 марта 1775 года». Хотя это дело касалось скромной *bouquiniste*, за ним следил сам король. 26 января 1775 года герцог Де Ла Врийер, возглавлявший *Maison du roi* и ответственный за Бастилию, написал генерал-лейтенанту полиции Ленуару: «Я сообщил королю о том, что женщину Ла Марш арестовали. Его Величество выразил свое одобрение и желание, чтобы это дело [старательно] расследовали и, по возможности, сделали показательным».

30 марта 1775 года: «Господин Гупиль, инспектор полиции, принес нам приказ… и отвез эту заключенную домой в своей карете. Они примирились друг с другом»[1].

Их воссоединение привело к неожиданному итогу. Благодаря информации от Ла Марш Гупиль обрел такие обширные знания о подпольной торговле книгами, что решил поучаствовать в ней сам. Делая вид, что он конфискует незаконные работы, инспектор тайно организовывал их публикацию. Он заказывал целые тиражи, оставлял себе несколько экземпляров, чтобы продемонстрировать усердие на ниве поддержания закона, и продавал все остальные через книгонош, включая, разумеется, девицу Ла Марш. После нескольких успешных операций один из посредников под его началом донес на Гупиля. Тот сам оказался в тюрьме и умер в подземельях Венсенна в 1778 году[2].

Полиция и их заключенные представляют собой удивительный набор персонажей, но спектакль, в котором они участвовали, имеет значение не только как описание характеров. Он показывает, как государство пыталось контролировать литературный мир. Если ограничить изучение цензуры только цензорами, мы узнаем лишь половину истории. Другая половина касается репрессий, осуществляемых полицией. Но, если включать работу полиции в цензуру, не слишком ли обширным станет это понятие? Для французов XVIII века, которые гордо помещали титул *censeur royal* после своего имени, цензура сводилась к выдаче книгам привилегий. И все же многие книги, возможно, даже большинство (незаконно напечатанные

1. Шевалье, комендант Бастилии, к Ленуару (March 30, 1775, ibid.).
2. Ленуар вспоминает арест Гупиля в черновиках работы, которую он хотел опубликовать как свои мемуары и которая находится среди его бумаг в Муниципальной библиотеке Орлеана (ms. 1422). Я подробно описываю карьеру Гупиля в главе 9 «The Devil in the Holy Water, or the Art of Slander from Louis XIV to Napoleon» (Philadelphia, 2010).

и запрещенные), никогда не попадали внутрь государственной системы. Если под цензурой понимать государственные санкции, касающиеся книг, то книжная полиция была вовлечена в тот же процесс, что и чиновники из *Direction de la librairie*. «Управление» и «инспекция» означали разные вещи, но история книги должна быть достаточно широка, чтобы вместить их обе, — она должна простираться столь же далеко, сколь и история самой Франции, ведь деятельность всех людей, вовлеченных в книготорговлю, приводит к выводу, что их мир затрагивал все французское общество, достигая книгонош, почти не умеющих писать, и контрабандистов, которые не могли прочесть ни слова. Даже авторы, как показывает мадемуазель Бонафон, иногда выходили из нижних слоев общества, а женщин в мире книг можно было обнаружить на любом уровне. Так что разбор Франции XVIII века предполагает два способа понимания истории цензуры. Первым будет узкая трактовка, сводящаяся к изучению работы цензоров, вторым — более широкое понимание истории литературы, интерпретирующее ее как часть культурной системы, встроенной в общественный порядок. В этой книге я предпочитаю второй способ и нахожу его удобным для изучения цензуры в других местах и в другие времена, особенно в Британской Индии XIX века, где теоретически была свобода слова, но при этом государство принимало самые суровые меры, когда чувствовало угрозу.

ЧАСТЬ

II

БРИТАНСКАЯ ИНДИЯ: ЛИБЕРАЛИЗМ И ИМПЕРИАЛИЗМ

Курсы и учебники по мировой истории создают впечатление, будто либерализм и империализм в XIX веке были абстрактными силами, движущимися в разных направлениях и редко вступающими во взаимодействие[1]. Однако они соединялись в жизнях конкретных людей и для них были не просто пустыми «-измами», а личным опытом, который показывает противоречие внутри структуры власти.

1. Пример того, как либерализм и империализм описываются как отдельные и практически несовместимые «-измы», можно найти во влиятельном учебнике: *R. R. Palmer* & *Joel Colton*. A History of the Modern World, 2nd ed. (New York, 1965), 432–33 и 615–22. Я утверждаю, что в случае Британской Индии это были две неразделимые части одного феномена. Это эссе является плодом долгих часов работы в собрании Министерства по делам Индии и Дальнего Востока в Британской библиотеке в 1994 и 1995 годах. Я хочу поблагодарить Грэхема Шоу за гостеприимство и помощь в этот период. Более ранние версии эссе были опубликованы как «Literary Surveillance in the British Raj: The Contradictions of Liberal Imperialism», Book History 4 (2001), 133–76, и «Book Production in British India, 1850–1900», Book History 5 (2002), 239–62. Из тех, кто осуществлял конструктивную критику моим ранним черновикам, я хочу особенно поблагодарить Гьяна Пракеша, Прию Джоши, Майкла Каттена и Аниндиту Гош. Я многое узнал из прекрасной работы Аниндиты Гош «Power in Print: Popular Publishing and the Politics of Language and Culture in a Colonial Society, 1778–1905» (New Delhi, 2006), где рассматривается множество тем, поднятых здесь. Блестящее обсуждение такого же высокого научного уровня в области истории книги см. в: *Graham Shaw*. The History of Printing in South Asia: A Survey of Research since 1970 // Leipziger Jahrbuch zur Buchgeschichte 7 (1997), 305–23.

История Джеймса Лонга, англо-ирландского миссионера в Бенгалии, полностью воплощает все противоречия в сердце Британской Индии, где имперские власти исходили из принципов свободы, усвоенных в родной стране. Будь они хоть вигами, хоть тори, хоть либералами, хоть консерваторами, эти люди признавали определенные права вроде права на высказывание и свободу прессы. И все же в Индии эти права приобретали необычные черты, и на слушаниях в суде представители колониальной власти старались, как могли, отвлечь внимание от несоответствий, особенно когда судили Лонга.

Любительская этнография

Лонг, родившийся в графстве Кров в Ирландии в 1814 году, сочетал религиозный пыл миссионера с талантом к языкам и восхищением другими культурами. Он учился в колледже Айлингтон Миссионерского церковного общества в Лондоне, был рукоположен в сан священника церкви Англии в 1840 году, тогда же прибыл в Индию и провел следующие тридцать лет, служа в деревне поблизости от Калькутты. За это время он выучил несколько индийских языков и заработал репутацию известного филолога и фольклориста отчасти благодаря публикации «Bengali Proverbs» («Бенгальские пословицы», 1851) и «Descriptive Catalogue of Vernacular Books and Pamphlets» («Описательный каталог местных книг и памфлетов», 1867). Его наиболее примечательная работа осталась неопубликованной, так как это был написанный для имперских властей в 1859 году тайный доклад о литературе — и, по крайней мере по подтексту, о революции.

Восстание сипаев 1857 года, или, как предпочитают называть его некоторые индийцы, Первую войну Индии за независимость, можно не считать революцией в полном смысле слова, но эти события потрясли колонию до основания. Сипаи (солдаты британской армии индийского происхождения) взбунтовались против своих имперских офицеров и при поддержке местных лидеров, среди которых были и крестьяне, и махараджи с навабами (правителями полуавтономных областей), захватили обширные территории в северной и центральной Индии. После кровавого конфликта,

продолжавшегося более года, британцы восстановили порядок и, оценивая ущерб, поняли, что почти ничего не знают о местном населении под своей властью. В 1858 году была распущена Ост-Индская компания и предприняты шаги к созданию современного государства с бюрократией, проводившей учет всех сфер жизни индийского сообщества, включая литературу.

Хотя печать существовала на субконтиненте еще с 1556 года, когда португальцы установили там первые прессы, два с половиной века она оставалась делом миссионерских анклавов, имперской администрации и пары газет. Но к 1858 году книгопечатание на нескольких языках превратилось в крупную индустрию, и Индийская гражданская служба (ИГС) начала следить за ней. Цепь документов в архивах ИГС начинается с упоминания периодических «отчетов» об объемах производства книг. Она ведет через «каталоги», регистрировавшие новые публикации, и заканчивается среди «рапортов», оценивающих и анализирующих книжную продукцию в каждом округе или провинции. Нужно иметь в виду, что такого рода документы, созданные государственными служащими, подразумевают определенную предвзятость. Они часто больше сообщают о британцах, чем о туземцах, за которыми они следили[1]. Но некоторые материалы содержат поразительные этнографические наблюдения, и лучшие из них были написаны Джеймсом Лонгом во время восстания.

При поддержке лейтенант-губернатора и управляющего общественным образованием в Бенгалии Лонг пытался обозреть все, что издавали в президентстве с апреля 1857 по апрель 1858 года. Во время проводимого им в течение года расследования он посетил каждый книжный магазин в Калькутте, по крайней мере,

1. См. классическую статью Ранаджита Гуи «The Prose of Counter-insurgency» (Subaltern Studies, ed. Ranajit Guha (Delhi, 1983)).

дважды. Лонг скупил все книги, вышедшие с 1857 года, какие только мог найти в книжных лавках, разбросанных по туземному кварталу города. Он составлял таблицы цен и тиражей, следовал за книгоношами по их маршрутам, подслушивал чтения вслух, опрашивал авторов и разыскивал сведения о читательских привычках прошлого. Он превратился в этнографа-любителя и стал настолько одержим своим предметом, что создал панорамный обзор всей бенгальской литературы со статистическими подсчетами и вдохновенными описаниями самих книг[1].

Несмотря на то что его симпатии находились на стороне крестьян, которых эксплуатировали британские торговцы индиго, Лонг писал как агент имперской власти в англо-индийском стиле — либеральной версии, идущей от Джеймса Милла до Джона Морлея и воспевающей печатное слово как распространитель цивилизации. Книги, заявлял Лонг, могут «уничтожить невежественные предрассудки» вроде протеста против вторичного брака вдов среди «индуистов старой школы»[2]. Вместо введения цензуры, что предлагали некоторые другие деятели Британии, по мнению

1. *James Long*. Returns Relating to the Publications in the Bengali Language in 1857, to Which Is Added a List of the Native Presses, with the Books Printed at Each, Their Price and Character, with a Notice of the Past Condition and Future Prospects of the Vernacular Press of Bengal, and the Statistics of the Bombay and Madras Vernacular Presses (Calcutta, 1859) (Oriental and India Office Collections, British Library, V/23/97). Все последующие упоминания ссылаются на эту книгу, если не отмечено иначе. Информацию о Лонге можно найти в статье о нем в индийском «Dictionary of National Biography» ((Calcutta, 1973), vol. 2, pp. 416–17) и в: *Geoffrey A. Oddie*. Missionaries, Rebellion and Proto-Nationalism: James Long of Bengal, 1814–87 (London, 1999). Его исследование бенгальской литературы описывается в: *Tapti Roy*. Disciplining the Printed Text: Colonial and Nationalist Surveillance of Bengali Literature // Texts of Power: Emerging Disciplines in Colonial Bengal / Ed. Partha Chatterjee (Minneapolis, 1995), 30–62.
2. *Long*. Returns..., vi.

Лонга, следовало продвигать свободу прессы и поддерживать развитие индийской литературы. Если бы индийским газетам уделялось заслуженное внимание, говорил он, можно было бы заметить достаточно симптомов нарастающего беспокойства, чтобы предотвратить восстание.

Лонг вносил свой вклад, собирая данные об издании книг. По его подсчетам, всего до 1820 года в Бенгалии было издано тридцать книг, большинство из которых сводилось к описанию индуистской религии и мифологии. В период с 1822 по 1826 год вышло всего 28 книг, и такие скромные масштабы производства с перепечатыванием одних и тех же работ сохранялись до середины века. Поворотной точкой стал 1852 год, когда было опубликовано 50 новых бенгальских книг, включая написанные в новом жанре «полезных работ». К 1857 году индустрия набрала силу: в Калькутте насчитывалось 46 печатных прессов, на которых за 12 месяцев было создано 322 новых продукта, включая 6 газет и 12 периодических изданий. По подсчетам Лонга, в последние полвека производство книг дошло примерно до 1800 наименований. Качество печати и бумаги улучшилось, типографии отказались от устаревших деревянных прессов, выросло число авторов, и возник внушительный книжный рынок, хотя крестьяне продолжали прозябать в невежестве: «В Бенгалии в сельской местности нет и трех процентов населения, которые умели бы читать связно. В Бомбее нет и трех процентов населения, которые умели бы читать вообще». Продвигая образование, британцы могли облегчить страдание народа:

> Внимание государства было привлечено к улучшению социального положения райота [крестьянина, обычно земледельца-арендатора], но оно должно сопровождаться умственным просвещением, которое придаст ему мужества противостоять произволу со стороны заминдара

> [индийского землевладельца] и плантатора [британского производителя индиго] и позволит почувствовать себя человеком благодаря целительному влиянию образования[1].

Лонг не скрывал либеральных взглядов викторианского духа, которые сказывались на его работе, и предпочитал серьезную литературу написанной в стиле, передающем санскритское происхождение бенгальского, но и популярные жанры он изучал с симпатией, например календари:

> Календари читают там, куда не доберутся остальные бенгальские книги. Незадолго до наступления бенгальского нового года у местных торговцев календарями наступает самое напряженное время. Книгоноши толпами спешат от типографий, нагруженные кипами календарей, которые распространяют повсюду, некоторые продавая по низкой цене 80 страниц за одну анну [в одной рупии было шестнадцать анн, а квалифицированный рабочий обычно зарабатывал около шести анн в день]. Бенгальский календарь столь же важен для местного жителя, как кальян или пан. Без него он не может определить благоприятные дни для заключения брака (22 дня в году), первого кормления младенца рисом (27 дней в году), кормления матери рисом на пятом месяце беременности (12 дней), начала постройки дома, прокалывания ушей, дарования мальчику первого куска мела, чтобы тот начал учиться писать, не может узнать, когда стоит отправляться в путешествие, или рассчитать, сколько времени продлится лихорадка и насколько сильной она будет[2].

Общество трактатов в Калькутте пыталось нейтрализовать популярность этих буклетов, выпуская христианские календари, но покупатели почти не

1. Ibid., цитаты из xii и xiv.
2. Ibid., xx–xxi.

интересовались ими, потому что, как замечает Лонг, там не было предсказаний.

Он также отметил, что книги по истории не слишком популярны, как ему казалось, из-за убеждения читателей-индуистов, что мирские дела не имеют большого значения. И тем не менее бенгальцы были не прочь почитать сардонические высказывания на тему текущих событий, особенно в форме драмы. В глубинке *ятры* [труппы бродячих артистов] странствовали от деревни к деревне, исполняя пьесы, основанные на индуистской мифологии, но с включением непристойных эпизодов, издевательских песен и ремарок в адрес британских плантаторов и властей. В Калькутте работы с похожей тематикой, написанные пандитами-драматургами или сымпровизированные на манер фарса или водевиля, доминировали в репертуаре оживленного театрального квартала. Типографии Калькутты выпускали дешевые издания пьес, а книгоноши распространяли их по провинции вместе с другим популярным товаром — песенниками, дополнявшими спектакли. Хотя большая часть такого рода материалов оскорбляла его викторианские представления о прекрасном, Лонг подробно обсуждает их, подчеркивая народный характер произведений:

> Бенгальские песни не вселяют любовь к вину или, подобно шотландским, любовь к войне, но посвящены Венере и языческим богам. Они непристойны и развратны. Среди них наиболее известны «панчали», которые поют на праздниках и продают во множестве версий тысячами. Некоторые экземпляры выполнены на отличной бумаге и прекрасно подготовлены [то есть хорошо сверстаны и изданы], другие отпечатаны на обрывках мешковины. Панчали являются пересказом в основном индуистских шастр в стихах, с музыкой и пением. Они взывают к Вишну и Шиве, одновременно включая части в духе Анакреона... Ятры представляют собой тип драматического выступления,

> вульгарный, напоминающий сценки с Панчем и Джуди или уличные балаганы в Лондоне, и повествуют о разврате или о Кришне. Там всегда фигурирует мехтар [бедный уборщик] с метлой в руках[1].

Лонг сам слушал выступления певцов, как бродячих актеров, так и уличных поэтов, один из которых мог импровизировать на санскрите на любую предложенную тему. В песнях содержалась изрядная доля высказываний о политических и общественных вопросах: «К примеру, назначение плантаторов, производящих индиго, почетными судьями вызвало сильное возмущение среди райотов в некоторых областях. Обычной ремаркой на эту тему было: „Je rakhak se bhakhak“, то есть „человеком, который должен нас защищать, стал волк“»[2]. Популярные листовки, которые выпускали десятками тысяч и расклеивали на стенах, придерживались в основном религиозных вопросов вроде деяний богов. Лонг ничего хорошего не мог сказать про «эротику», но отметил, что этот тип литературы тоже адресован широкой массе читателей. Он нашел мало серьезной литературы или аналогов европейских романов, хотя и счел, что некоторые религиозные истории «написаны таким образом и в таком стиле, что производят на читателей и слушателей воздействие, сходное с воздействием литературы»[3]. Лонг подсчитал, что более семи сотен авторов опубликовали книги на бенгальском, и всех их перечислил. Никто из них, по его мнению, не мог считаться великим писателем, хотя Лонг признался в определенном уважении к Бхарату Чандре, чей «Shishubodh» был «наиболее распространенной книгой в местных школах, к несчастью изобилующей непристойностями и мифологией». «Videa Sundar» Чандры, «самое известное повествование, остроумное, но неприличное»,

1. Ibid., xlviii.
2. Ibid., xlix.
3. Ibid., xxvi.

было недавно напечатано тиражом 3750 экземпляров и распродано за четыре месяца[1]. Несмотря на их прискорбную распущенность, у бенгальских авторов была возможность создать богатую литературу, адаптировав наследие санскрита к интересам растущего читающего сообщества. Уже одно их число говорило о том, что «разум бенгальцев был пробужден от векового сна»[2].

Короче говоря, бенгальская литература начала процветать, хотя большинство европейцев даже не задумывались о ее существовании. Чтобы ознакомиться с ней, им пришлось бы перейти черту, отделяющую британское общество от туземных кварталов северной Калькутты, и отправиться в путь по переполненным людьми типографиям и повсюду разбросанным книжным лавкам, которых было особенно много на Читпур-роад, «их Патер-Ностер-роу», в районе Баттала. Лонг изучил эту территорию во всех подробностях, а кроме того, обозначил связи, соединявшие производителей в Калькутте с потребителями в глубинке. За исключением сезона дождей, когда они работали на полях, двести крестьян-книгонош регулярно пополняли запасы в книжных лавках столицы и рассеивались по сельской местности, неся свой товар на голове. Удваивая цену оптовика, они часто получали по шесть-семь рупий в год, а их навык продажи из рук в руки делал таких разносчиков идеальными посредниками в системе распространения, затрагивающей как читателей, так и слушателей: «Бенгальцы считают лучше рекламой книги живого продавца, который сам демонстрирует товар»[3].

Лонг уделял особое внимание чтению как последнему этапу в процессе коммуникации. Как бы он ни был предвзят в своем взгляде на азиатов, Лонг отметил впечатляющий эффект чтения как выступления в преимущественно неграмотном обществе:

1. Ibid., 31.
2. Ibid., xv.
3. Ibid., xiv.

Среди азиатов принято читать другим, так что огромное количество людей, которые сами читать не умеют, слушают тех, кто обладает этим навыком. Чтецов (катхаков) часто нанимают пересказывать или петь какие-то произведения, и некоторые из них делают это весьма впечатляюще. Один такой чтец недавно по памяти рассказывал мне любые названные абзацы из «Рамаяны», «Рагхувамши» и «Махабхараты» в самой выразительной манере. Некоторые катхаки зарабатывают 500 рупий в месяц… Я знаю одного местного, которого местный богатый баба годами нанимал, чтобы читать два часа в день сорока или пятидесяти женщинам в его доме. Эта практика существует в Бенгалии с незапамятных времен, ведь здесь чтение вслух очень популярно, как и в других восточных странах, а интонация, жесты и подобные приемы наполняют книгу большим смыслом, чем простое прочтение. Женщины иногда собираются вокруг женщины, которая читает им. Предположив, что в среднем насчитывается десять слушателей и читателей каждой книги, мы получим, что эти 600 000 бенгальских книг [так Лонг оценивал общее количество экземпляров, отпечатанных в 1857 году] имели 2 000 000 слушателей и читателей [возможно, описка, имелось в виду 6 000 000][1].

1. Ibid., xv.

Мелодрама

Доклад Лонга можно считать самым подробным обзором печати и торговли книгами в архивах ИГС, но у этой истории печальный конец. В 1861 году движимый симпатиями к райотам, эксплуатируемым британскими плантаторами, Лонг организовал печать английского издания «Nil Durpan», бенгальской мелодрамы о жестокости плантаторов, и был обвинен в клевете производителями индиго.

Обвинения в клевете служили основным методом ограничения свободы слова в Англии после отмены практики предварительной цензуры в 1659 году[1]. Но, несмотря на ряд печально известных обвинений (Даниэль Дефо в 1703 году и Генри Сачеверелл в 1710-м), пресса становилась все более и более откровенной. После больших волнений в 1760-е годы, связанных с требованиями сторонников Уилкса обеспечить свободу прессы и нежеланием присяжных вынести обвинительный приговор издателю скандальных писем «Юниуса» в 1770 году[2], иски о клевете перестали быть способом

1. *Donald Serrell Thomas*. A Long Time Burning: The History of Literary Censorship in England (London, 1969) // The Cambridge History of the Book in Britain, vol. 5, 1695–1830 / Ed. Michael F. Suarez, S.J., and Michael L. Turner (Cambridge, 2009), 128–29 и 834–36. Разумеется, после принятия акта о клевете 1792 года британские власти часто преследовали литературу, которую считали опасной или сочувствующей якобитам, но акт о предательстве и подстрекательстве к мятежу 1795 года стал оправдывать запрещение радикальных публикаций предательством, а не клеветой.
2. О Джоне Уилксе и радикальных волнениях 1760-х см.: *John Brewer*. Party Ideology and Popular Politics at the Ascension of George III (Cambridge, 1976).

замять обсуждение политических или общественных вопросов. Акт о клевете 1792 года закрепил эту тенденцию, и к 1850 году многочисленные прецеденты сильно ограничили возможность обвинения в клевете как в уголовном преступлении. Для возбуждения дела следовало представить доказательства нанесения ущерба репутации отдельных граждан, а начинать процесс против общих политических комментариев или ремарок, которые оскорбляли некие размытые группы, больше не было возможности. В теории прецеденты в Англии определяли решения судов в Индии, но дела, рассматриваемые на субконтиненте, воспринимались в принципиально другом контексте, несмотря на умелое использование английских формальностей[1].

Слушание по делу Лонга в 1861 году превратилось в судебную драму, вызвавшую сильную реакцию в Бенгалии и эхом докатившуюся до самого сердца империи — Лондона. Хотя Калькутта, столица Британской Индии, почти не была затронута восстанием 1857 года, ее потряс Синий мятеж 1859–1860 годов, протестное движение крестьян из глубинки, которых притесняли плантаторы. Спекулируя на спросе на натуральный синий краситель, постепенно увеличивающемся с 1780-х годов, плантаторы вынудили райотов отказаться от своей полуфеодальной аграрной экономики, опирающейся на разные зерновые, и сложной системы аренды земли и посвятить себя выращиванию индиго. Британцы убеждали крестьян сажать краситель, давая в долг небольшие суммы, а потом обманывали во время скупки урожая, требовали вернуть деньги и отбирали

1. Trial of the Rev. James Long, for the Publication of the Nil Darpan, with Documents Connected with Its Official Circulation (London, 1861), India Office, W 977. О происшествии с «Nil Durpan» см.: «Tracts. Indigo, 143» и похожие документы, рассеянные по V/23/95 в архивах Министерства по делам Индии, а также «The History of the Nil Darpan, with the State Trial of J. Long...» (Calcutta, 1861), British Library 5318, p. 4. Название пьесы иногда транскрибируют как «Nil Darpan».

NIL DARPAN,

OR

THE INDIGO PLANTING MIRROR,

A Drama.

TRANSLATED FROM THE BENGALI

BY

A NATIVE.

CALCUTTA:

C. H. MANUEL, CALCUTTA PRINTING AND PUBLISHING PRESS, No. 10, WESTON'S LANE, COSSITOLLAH.

1861.

Ил. 5. Английский перевод «Nil Durpan»,
изданный без указания автора или переводчика.

землю или заставляли выращивать индиго в счет долга, передававшегося от отца к сыну, ввергая крестьян в кабальную зависимость. Сталкиваясь с неподчинением, плантаторы отправляли костоломов избивать крестьян, жечь их посевы или упекать в тюрьмы, примыкающие к заводам, где из индиго делали краску. Синий мятеж, восстание с бойкотом выплаты ренты, вскрыл столь серьезные злоупотребления, что власти были вынуждены создать комиссию для их расследования. Ее доклад, вышедший в августе 1860 года, с негодованием осудил тиранию плантаторов и усилил протесты среди бенгальских интеллектуалов вроде Харишчандры Мухкерджи, издателя журнала «Hindoo Patriot».

В отличие от отчета комиссии и журналистских статей «Nil Durpan» обратила против плантаторов силу художественного слова — пьесы, которую можно было ставить в театрах Калькутты или декламировать как памфлет. В ней столь эффектно подчеркивалась жестокость системы торговли индиго, что пьесу стали называть «бенгальской „Хижиной дяди Тома“»[1]. Бенгальская версия появилась через пару месяцев после доклада комиссии по индиго, а английский перевод, напечатанный Лонгом и распространяемый при помощи У. С. Сетона-Карра, секретаря губернатора Бенгалии и бывшего председателя комиссии, вышел в 1861 году. Автор «Nil Durpan» Динобондху Митра был типичным представителем образованных индийцев, занимавших

1. Nil Durpan, or the Indigo Planting Mirror by Dinabandhu Mitra. Translated from the Bengali by a Native (Calcutta, 1972), introd., xxxiv. Для удобства все цитаты приводятся по этому изданию, куда включены большие фрагменты из документации суда над Лонгом. Оригиналы находятся в архивах Министерства по делам Индии, как указано в предыдущей сноске. Убедительную трактовку пьесы в связи с крестьянскими бунтами 1859–1860-х годов см.: *Ranajit Guha*. Neel-Darpan: The Image of a Peasant Revolt in a Liberal Mirror // Journal of Peasant Studies 2 (Oct. 1974), 1–46.

незначительные бюрократические должности, которых называли «бабу». Это слово часто приобретало унизительный оттенок, предполагая раболепие и нелепое подражание английским манерам[1]. Митра написал пьесу, работая почтмейстером в Патне (Бихар), а печать организовал в Дакке. Хотя о его авторстве вскоре узнали, он смог беспрепятственно продолжить карьеру в Департаменте почты и телеграфа, пока не умер от диабета в 1873 году в возрасте сорока четырех лет.

Более того, ни британские власти, ни сами плантаторы не придавали большого значения бенгальской версии пьесы. Гнев вызвал именно английский перевод, который, как утверждали плантаторы, был клеветой на них всех. Особенно они негодовали по поводу того, что некоторые экземпляры передавались по почте под официальной маркой Сетона-Карра, а другие в конце концов достигли Англии, где могли стать оружием в руках настроенных на реформы «заднескамеечников» и чиновников из Министерства по делам Индии. Таким образом, случай с «Nil Durpan» оказался чреват конфликтом внутри британского сообщества в Бенгалии, разделив его на плантаторов и их сторонников, с одной стороны, и юристов и реформистов, объединившихся с бенгальскими интеллектуалами, с другой.

Теперь, полтора века спустя, этот английский текст выглядит обычной мелодрамой. В ней сталкиваются злодейство и добродетель, первое в лице двух алчных плантаторов, вторая в образе благородных крестьян. Заминдар, глава семьи традиционных взглядов, вместе с двумя настроенными на реформы сыновьями пытается защитить родную деревню от развращенных и жадных сахибов, которые не остановятся ни перед чем, будь то пытки, убийство, изнасилование, подкуп судий

1. Пример английского презрения к бабу, хорошенько приправленный расизмом, см. в эссе «Vanity Fair» 1880 года, переизданном как «H. E. The Bengali Baboo» в: *George R. Aberigh-Mackay*. Twenty-One Days in India (London, 1914), 37–45.

или поджог домов и посевов. Бенгальцы, работающие на плантаторов (ростовщик, землемер, сводница и тюремщик), представляют силы, угрожающие единству сообщества. Жители деревни, сплоченные перед лицом общего врага, сопротивляются этим силам: они объединяются вокруг заминдара — воплощенной щедрости, хотя он сам тоже собирает земельную подать и дает деньги в долг. Один из крестьян, бедный, но храбрый Торап, намекает на частичную приемлемость насилия. Он сбегает из камеры на фабрике как раз вовремя, чтобы спасти беременную женщину от изнасилования мистером Роугом, особенно неприятным плантатором. Пока женщина спасается бегством, Торап избивает Роуга и отрезает ему нос, но отказывается заходить дальше, потому что понимает, что в конечном итоге крестьяне должны добиваться правосудия от британской юридической системы. Сыновья заминдара принимают эту идею и обращаются со своим делом через голову местного судьи, находящегося в сговоре с плантаторами, к честному британцу из верховного суда. Однако, до того как их жалобу успевают рассмотреть, трагедия сменяет трагедию, оставляя сцену усеянной трупами. Когда опускается занавес, единственный выживший после бойни восклицает: «Семья Басу из Саропура была уничтожена Индиго, врагом чести. О, как ужасны орудия Индиго!»[1]

Заметьте, индиго, а не злобных иноземцев, не установленного ими в Индии прогнившего режима, не разногласий внутри традиционного общества, не его слабости перед лицом пришлой власти, но растения и некоторых плантаторов, которые его выращивали. Далекий от подстрекательства к революции, «Nil Durpan» выражает веру в изначальную справедливость британского режима. Хорошие сахибы рано или поздно исправят преступления плохих сахибов — так говорит пьеса, доказывая это цитатой из Комиссии по индиго.

1. Nil Durpan, 101.

В предисловии к тексту Митра заверяет индийцев, что они могут доверять мудрым решениям лорда Кэннинга, вице-короля Индии, Дж.П. Гранта, лейтенант-губернатора Бенгалии, Индийской гражданской службы и прежде всего «добрейшей королевы Виктории, матери народа»[1]. Лонг выражает такие же чувства в предисловии к английскому изданию. Эта работа публикуется, объяснял он, чтобы европейцы могли понять, как местные крестьяне воспринимают систему производства индиго. Может, это и не великая литература, но она выражает чувства туземцев в их любимой форме — народной драме, заимствованной из санскритской классики, чтобы выразить мнение о текущих общественных проблемах. Таким образом, опубликовав «Nil Durpan», Лонг представил англоязычному читателю идеальный образец местной литературы, которую он изучал для доклада Индийской гражданской службе.

Но не так восприняли «Nil Durpan» плантаторы. Они подали в суд. Разбирательство привлекло столько внимания, что, согласно источникам, рассмотрение обычных дел в Калькутте остановилось на время проведения слушаний, продлившихся с 19 по 24 июля 1861 года[2]. Двое адвокатов обвинения и двое адвокатов защиты представляли изощренные аргументы присяжным, набранным из живущих в Индии британцев. Обвинители заявляли о приверженности принципу свободы печати и соглашались с тем, что социальная сатира должна быть признана приемлемым способом обличения общественных проблем, но «Nil Durpan» бросил тень на все сообщество плантаторов. Что еще хуже, она настраивала «расу против расы, западное против местного»[3]. Таким образом, пьеса ставила под угрозу всех европейцев

1. Ibid., cvi.
2. Следующее описание основано на протоколах слушания дела «Королева против Лонга» Верховным судом Калькутты, напечатанных: ibid., 103–86.
3. Ibid., 107.

в Индии, так как «последние восстания показали, насколько шатко наше положение»[1]. Главный адвокат защиты отвечал, что двое злодеев из пьесы не могут представлять всех плантаторов в целом и в любом случае закон о клевете касается только отдельных лиц, но не распространяется на нелицеприятное изображение групп людей вроде плантаторов, лишенных физического представления. Осудить «Nil Durpan» — все равно что объявить вне закона всю сатирическую и критическую литературу, например работы Мольера, «Оливера Твиста» и «Хижину дяди Тома». Никто же не считает Диккенса клеветником.

Когда судья обращался к присяжным, он снова и снова возвращался к теме свободы печати. Он призывал их как англичан вспомнить историю своей страны, в первую очередь право каждого озвучивать свое мнение по любому общественному вопросу и даже критиковать людей, обличенных властью. Судья объявил о своей непреложной верности «свободе печати и свободе дискуссии»[2]. Никогда он не позволит своему суду создать прецедент, который может свести на нет этот великий конституционный принцип. Но перед присяжными стоял прямой вопрос: хотел Лонг исправить несправедливость общества или унизить плантаторов как класс?

Присяжные решили, что Лонг виновен в клевете. Судья приговорил его к штрафу в 1000 рупий (которые за него внесли местные покровители) и месяцу тюрьмы. Вынеся приговор, он поздравил себя и присяжных с «вердиктом, который, как мне приятно сознавать, опирается на конституционные законы и, таким образом, не может быть использован против свободы печати»[3].

1. Ibid., 113.
2. Ibid., 155.
3. Ibid., 167.

Надзор

Случай с «Nil Durpan» стал самым громким событием, показывающим, как в Британской Индии XIX века цензура сочеталась с настойчивым отрицанием факта ее существования. Были и другие, некоторые из которых касались не книг, а газет и работ скорее порнографических, чем клеветнических, но в целом британские власти не уделяли большого внимания местной литературе до Восстания сипаев в 1857 году. После этого, как показывает дело Лонга, они не отказались от своей приверженности либеральным идеям и не стали прибегать к откровенным репрессиям. Вместо этого они выстроили систему, которая соответствует концепции контроля Мишеля Фуко — «надзору», который может вести к «наказанию»[1].

К 1857 году грубая фаза империализма подошла к концу[2]. Грабежи Клайва, жадность Уэлесли, агрессия Оклэнда, жестокость Напиера и сомнительная дипло-

1. *Michel Foucault*. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977 / Ed. Colin Gordon (New York, 1980); *Foucault*. Surveiller et punir: Naissance de la prison (Paris, 1975).
2. Следующее описание не может отдать должное сложной структуре Британской Индии и огромному количеству литературы на этот счет. Обзор темы см. в: *Stanley Wolpert*. A New History of India (New York, 1993) и более ранней, зато более детальной работе *Percival Spear*. The Oxford History of Modern India, 1740–1975 (Delhi, 1989). Более концептуальные подходы можно найти в *Ranajit Guha*. Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India (Delhi, 1994), и Selected Subaltern Studies / Eds. Ranajit Guha and Gayatri Chakravorty Spivak (New York, 1988).

матия Далхузи объединили почти весь субконтинент под властью Британии. В поздней стадии империализма британцы старались увеличить свое могущество за счет знаний. Они уже добились немалых успехов в индийских языках — классических, санскрите, фарси, арабском и множестве местных языков. Командующие округов давно гордились «знанием страны», но два года беспорядочного обучения в колледже Хейлибери в Англии и пара месяцев в Калькутте не делали их азиатами. Самые догадливые нанимали местных информаторов: аскетов, цирюльников, лесников, базарных торговцев, повитух, астрологов, стражников и паломников — всех выходцев из харкаров и касидов, гонцов и шпионов, которые создали в империи Моголов огромную информационную систему, в чем-то напоминающую сеть осведомителей и агентов полиции во Франции XVIII века[1]. Но большинство британских чиновников не успевали даже начать изучать вверенный им район, как их переводили в другой. Восстание было для них абсолютной неожиданностью.

Хотя на большей части субконтинента местные солдаты остались верны властям, сипаи в самом центре Британской Индии, вдоль Ганга от Дели до Калькутты, продемонстрировали, что им нельзя доверять, и, что еще страшнее, показали, что их на самом деле никто не понимал. Кто бы мог подумать, что знакомство с новой винтовкой Энфилда с капсюльным замком окажется искрой, с которой начнется пожар?[2] По свидетельствам

1. *C. A. Bayly*. Knowing the Country: Empire and Information in India // Modern Asian Studies 27 (1993), 3–43; *C. A. Bayly*. An Empire of Information: Political Intelligence and Social Communication in North India, c. 1780–1880 (New York, 1997).
2. Хотя некоторые историки опровергают роль патронов для винтовок Энфилда как повода для Восстания сипаев, нет сомнений в том, что это, хотя бы в качестве слуха, было важным фактором. См.: *Wolpert*. A New History of India, 233–34; *Guha*. Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India, 262–63.

очевидцев (основанным на слухах, которые играли не менее важную роль, чем реальные события), чтобы зарядить такое оружие, солдаты должны были откусить конец патрона, что было немыслимо, ведь патроны запечатывали свиным салом и коровьим жиром. И для мусульман, и для индуистов это было святотатством. Сипаи подумали, что сахибы хотят осквернить их, чтобы они потеряли касту и приняли христианство. Пока их офицеры говорили о модернизации военного дела, солдаты подозревали миссионерский заговор. И их опасения подтвердил акт о призыве 1856 года, угрожавший пересылкой через Бенгальский залив в Бирму, чтобы сражаться в войнах белого человека. Перейдя через «темные воды» на чужую территорию, сипаи из высшей касты оказались бы навсегда осквернены и особенно подвержены христианской проповеди. Из них четыре тысячи происходили из богатого региона Ауда, захваченного британцами в том же году, несмотря на освященные мирные соглашения. Но что британцы понимали в «священности»? В ходе либеральных реформ они запретили сати (ритуальное самосожжение вдовы на похоронном костре мужа) и позволили вдовам вторично выходить замуж, что было еще одной пощечиной местным обычаям в 1856 году, году святотатства.

Когда британцы стали оценивать урон, причиненный восстанием, они начали осознавать культурный разрыв, пролегающий между ними и туземцами. Многие из них вернулись в административные здания и клубы, где расизм подкрепляли слухи о черных мужчинах, подстерегающих женщин и детей и бросающих трупы в колодцы. Странные истории рассказывали о факирах и муллах, которые вроде бы подготовили восстание, передавая красноватые чапати (местные лепешки) солдатам или, в более новой версии, обмазывая деревья коровьим навозом. Все указывало на то, что туземцы и их завоеватели жили в разных понятийных

мирах. Но, чтобы удержать свою власть, Британии надо было понять индийцев, а не просто сломить их[1].

После роспуска Ост-Индской компании в 1858 году британское управление осуществляла администрация, опирающаяся на современный способ сбора информации, то есть бесконечный поток бумаг. ИГС, сотрудники которой с 1853 года набирались по конкурсу, делала доклады обо всем, что происходило под небом Индии. «Каталоги» и «отчеты» выходили из-под правительственных прессов, наводняя официальные каналы передачи информации данными о сборе урожая, границах деревень, флоре и фауне и народных обычаях. Абсолютно все было зафиксировано, отмечено на карте, классифицировано и подсчитано, включая людей, которые были учтены во время первой индийской переписи 1872 года и аккуратно разделены на касты и джати и дюжину других категорий, определяемых колонками бланка. Каталоги книг были частью этого стремления каталогизировать все. В них помещался полный перечень индийской литературы в понимании имперских властей[2].

Актом о печати и регистрации книг 1867 года генерал-губернатор обязал ИГС вести учет всех книг во всех провинциях Британской Индии. Списки, несколько противоречиво называемые «каталогами», составлялись четыре раза в год провинциальными библиотекарями из докладов местных чиновников. Издатели должны были предоставить властям три копии каждой выпущенной ими книги, получая за них оплату

1. Разумеется, многие агенты Британии, особенно среди окружных офицеров, предпринимали серьезные шаги, чтобы понять людей, находящихся под их властью, и симпатизировали беднякам. Яркое описание негодования окружного офицера с впечатляющими познаниями в индийских языках см. в: *John Beames*. Memoirs of a Bengal Civilian (London, 1984).
2. *Bernard S. Cohn*. The Census, Social Structure and Objectification in South Asia // *Cohn*. An Anthropologist among the Historians and Other Essays (Delhi and Oxford, 1987).

по рыночной цене. Кроме того, они должны были предоставлять информацию по ряду пунктов, которые были указаны в столбцах бланков каталогов: название работы, имя автора, тема, место издания, имена типографа и издателя, дата издания, количество страниц, размер, формат, тираж, цена и была ли книга напечатана или отлитографирована (литография стала существенным стимулом для издания многих местных работ). Заплатив две рупии, издатель получал права на книгу, но, если он решал ее не регистрировать, она считалась противозаконной и грозила ему штрафом до 5000 рупий и/или двумя годами тюрьмы[1].

Акт 1867 года был отчасти инициирован библиотекарями и способствовал росту книгохранилищ, но полученные каталоги не были доступны публике, несмотря на их невинное название. Они тайно передавались внутри ИГС — первостепенные вопросы полагалось засекречивать. Каталоги предоставляли агентам Британии постоянно обновляющийся перечень всего, что появлялось в печати на территории субконтинента, по крайней мере всего, что типографы и издатели подавали на регистрацию. Списки с 1868 по 1905 год включают более 200 000 названий, в несколько раз превышая число всех книг, изданных во Франции в эпоху Просвещения. Каталоги из одной только Бенгалии за это время представляют собой пятнадцать огромных томов по 500 и больше страниц, испещренных мелким шрифтом. Их масштаб поражает: более миллиона слов, тщательно вписанных в пятнадцать столбцов (их печатали таким образом, чтобы в ИГС можно было распространить множество копий). В каталогах легко увидеть, как ИГС внутри себя относилась к туземцам и каков

1. «An Act for the Regulation of Printing Presses and Newspapers, for the Preservation of Copies of Books Printed in British India, and for the Registration of Such Books». Act No. XXV of 1867 in India Office, V/8/40. В бумагах Индийской гражданской службы акт часто называют актом о прессе и регистрации книг.

был литературный дискурс при колониальных властях на пике империализма.

На примере Уильяма Лоулера, главы Бенгальской библиотеки, крупнейшей в Британской Индии, можно в подробностях увидеть, как этот дискурс формировался. Лоулер составил каталог всех книг, опубликованных в Бенгалии за 1879 год, пересказывая содержание романов, стихотворений и пьес таким образом, чтобы их мораль была понятна его читателям, то есть людям из ИГС, управлявшим бенгальцами. Вот его отзыв об эпической бенгальской поэме «Vana-Vihangini» («Лесная дева-птица»).

> Следующая работа из восьми глав начинается с трогательного воззвания к Матери Индии, переживания о ее скорбной доле и о названных в тексте непереносимыми страданиях в руках яванов (то есть иностранцев). Первая глава повествует о брахмане, который со своей женой жил в лесу подаянием, пока однажды набаб [губернатор провинции] Бенгалии, приехавший поразвлечься охотой, не увидел его жену и, воспользовавшись отсутствием мужа, не увез ее с собой. Во второй главе говорится о возвращении брахмана с ежедневного сбора милостыни. В третьей он обнаруживает, что его жена пропала, и пребывает по этому поводу в глубокой печали. В четвертой главе жителям Бенгалии советуют держаться вместе и действовать сообща, чтобы набрать силу и вернуть себе утраченное. Пятая рассказывает о страданиях Сундари в доме набаба, где она отказывается есть и готовится убить себя, и о том, как в какой-то момент жена набаба ее освобождает. В шестой главе брахман и его жена снова встречаются в лесу и счастливо проводят время вместе, пока в седьмой главе их не арестовывают по приказу набаба. И, наконец, в восьмой главе мужа Шарата казнят, а его жена Сундари умирает от разрыва сердца. Начиная с 50–55-й страницы третьей главы, поэт постоянно отвлекается, чтобы с негодованием упомянуть о подчинении расы ариев-бенгальцев

> чужеземцам, поправшим авторитет брахманов, и предречь, что придет день, пусть и не скоро, когда арийцы освободятся от оков[1].

Как бы Лоулер ни старался придерживаться содержания работы, он передавал историю так, чтобы у окружного судьи в мофасселе (сельской местности) или у секретаря из Министерства по делам Индии в Лондоне возникло ощущение, что они знают, что задумывали туземцы, когда публиковали книгу.

Ничего хорошего они не задумывали. Да, в некоторых книгах прославляли преимущества британского правления: суды, железные дороги, электричество, крокет и все остальное. Например, «Daiva-lata» [«Свидетель провидения»]: «Автор… хвалит англичан за их справедливую власть и надеется, что они еще долго будут править страной, и утверждает, что Индия должна быть благодарна за те блага, которые предоставляет английское правительство». «Samya» [«Равенство»] даже включает цитаты из Милля и Карлайла, осуждая кастовую систему: «Еще несколько работ в таком духе могут произвести революцию в вялой и примитивной бенгальской современной литературе». Но такие похвальные труды были исключением. Туземцы все время норовили искать в книгах развлечения: «Dekhila-hansi-paya» [«Если бы кто-то это увидел, он бы рассмеялся»], новелла о неудачах туповатого младшего брата, была «одной из тех абсолютно бессмысленных сказок, которые легко находят читателей среди местных, ведь они вызывают смех». С точки зрения Лоулера, индийцы были детьми, которым нравились рассказы о приключениях и волшебные сказки, печатные версии пьес, основанных на «Рамаяне», или, что еще хуже, фривольные развлечения Кришны с пастушками, всеми любимая история,

1. Каталог книг бенгальской библиотеки (Bengal Library Catalogue of Books, далее: BLCB), опубликованный приложением к газете «Калькутта» во втором квартале 1879 года.

заимствованная из «Махабхараты». «Jagannather Rath-arohana-o-Kamini-ranjana» [«Женское удовольствие»], по мнению Лоулера, выводила тему приключений Кришны далеко за пределы приличного. Он описывал книгу как собрание «самых вульгарных и оскорбительных взглядов, когда-либо существовавших, не имеющее ни малейшего оправдания своего существования с точки зрения общественного блага». По его мнению, книгу «следует немедленно запретить». «Rahasya-pratibha» [«Разоблаченные тайны»] — документальное описание преступлений в Калькутте — тоже задевала викторианские чувства Лоулера:

> Это произведение лишено каких-либо достоинств, написано разговорным языком с возмутительными рассуждениями... Сам факт его публикации дискредитирует бенгальскую литературу и вкусы местных читателей... Искренне хочется, чтобы можно было принять какие-то меры и пресечь выход развращающих работ, вроде этой, во втором издании[1].

Мысль вполне понятная, но она обнажает ключевую проблему. Если читателями каталога были хозяева Индии, почему они не запретили книги, показавшиеся Лоулеру предосудительными? А если они не собирались контролировать туземную литературу, то зачем следили за выходящими книгами с такой тщательностью? Концепция надзора и наказания Фуко отчасти отвечает на этот вопрос, но нуждается в уточнении. Некоторые правители искренне заботились о благосостоянии индийцев. Лорд Уильям Бентинк, бывший генерал-губернатором с 1828 по 1835 год, не просто хотел увеличить свою власть, запрещая сати и принимая местных жителей в Ост-Индскую компанию: его советник Томас

1. Все цитаты из BLCB 1879 года, где их можно найти по названиям книг.

Бабингтон Маколей создал систему, в которой образование индийской элиты велось на английском не только для того, чтобы сделать бюрократию более эффективной, — он верил в утилитарный принцип продвижения счастья. Более того, отец и дед либерализма, Джон Стюарт Милль и Джеймс Милль, служа в Ост-Индской компании, создали на основе этого принципа целую философию. Доклад Дж.С. Милля о делах компании палате лордов в 1852 году предвосхищает его манифест либерализма «О свободе». А Джон Морли, убежденный либерал и биограф Гладстона, занимая должность министра по делам Индии, пятьдесят лет спустя пытался сделать эту философию основой государственной политики[1].

Да, Морли не смог соединить верность принципам свободы печати с необходимостью подавлять народные волнения, и пока утилитаризм служил империализму идеологией, он усиливал британскую власть в Индии. Развивая практические блага, такие как железные дороги, линии телеграфа и почтовые станции, англичане увеличивали свою власть над субконтинентом. Но, кроме этого, они создавали ирригацию, полицию и правосудие в британском стиле. Окружные судьи иногда принимали сторону крестьян, а не землевладельцев, хотя и не нарушали тем самым местные иерархии. В отличие от жадных авантюристов XVIII века они следовали этике усердной работы и ответственного несения службы. И, несмотря на растущий расизм, между иностранной и местной элитой образовался своего рода симбиоз. Распространялось английское образование, индийцы пробивались в административную власть и науку, начинала формироваться местная интеллигенция. Результатом стали не только развращенные

1. Testimony of John Stuart Mill before the Select Committee of the House of Lords, 21 June 1852 // Parliamentary Papers, 1852–53, vol. 30. О либеральных и утилитаристских аспектах британской власти в Индии читайте в: *Ronald B. Inden*. Imagining India (Oxford, 1990); *Eric Stokes*. The English Utilitarians and India (Oxford, 1959).

бабу, но и Бенгальское Возрождение. После основания в 1828 году Брахмосамаджа («Общества Брахмы») Рамом Мохан Роем, который начал карьеру как помощник сборщика налогов в Ост-Индской компании, индийские интеллектуалы начали перерабатывать наследие древних классиков в современную литературу, ища вдохновения у Шекспира наравне с «Упанишадами». На более скромном уровне тысячи бабу в чиновничестве заполняли формы и посылали рапорты, формирующие представление Британской Индии о самой себе. Они помогли создать Британскую Индию как культурное явление, и это был очень сложный процесс, навязанный англичанами, но осуществленный во многом самими индийцами, и нигде это не видно так хорошо, как в шестнадцатом столбце книжных каталогов колонии[1].

Столбец 16, сводная категория под названием «Примечания», не встречался в каталогах до августа 1871 года. Первые библиотекари, которые его заполняли, сводили комментарий к минимуму, хотя и не сдерживались в суждениях о зарегистрированных книгах: «различные песни, в основном распутного характера», «описание первой любовной болтовни между Радхой и Кришной, в корне развратная книга», «индуистский миф. Самое нечестивое порождение поэзии», «стихотворения на разные темы, очевидно написанные, но совершенно не подходящие для чтения мальчиками»[2].

1. Более подробное рассмотрение этих тем можно найти в исторических книгах вроде тех, что упомянуты в п. 26, а больше информации о конкретных темах — в монографиях вроде: *David Kopf*. British Orientalism and the Bengal Renaissance (Berkeley, 1969); *Sudhir Chandra*. The Oppressive Present: Literature and Social Consciousness in Colonial India (Delhi, 1994); *Homi Bhabha*. The Location of Culture (London, 1994).
2. Цитаты, приведенные в порядке их появления в тексте, взяты из BLCB 1871 года, подготовленного Джоном Робинсоном, бывшим тогда библиотекарем. Они касаются следующих работ, чьи названия приведены в каталоге в транскрипции и переводе: «Brujeshwuree Kabuy, or Poem entitled Brujeshwuree»; «Rujuneekantu, or The Moon»; «Kabyukoosoom, or The Flower of Poesy».

1	2	3	4	5	6	7
Number.	Title (to be translated into English when the title-page is not in that language).	Language in which the book is written.	Name of author, translator, or editor of the book or any part of it.	Subject.	Place of printing and place of publication.	Name or firm of printer, and name or firm of publisher.
						BENGALI BOOKS.
107	Rádhá Krishna Vilás: or, The Sports of Rádhá and Krishna at Vraja.	Bengali	Jaynáráyana Mukerji.	Poetry ...	Printed and published at the Kávya Prakásha Press, No. 3, Haripál's Lane, Calcutta.	Printed and published by Umeshchandra Bhattáchárya.
108	Vana-Vihanginí: or, The Fenale Bird of the Forest.	ditto ...	Rajaníináth Chatterji.	ditto ...	Printed and published at the Ananda Press, Mymensing.	Printed and published by Chandra Kumár Sarkár.
	the oppression at the hands of the *Yavans* (or foreigners) pronounced unbearable. The 1st chapter contains an Bengal, who came on a hunting excursion, chaned to alight there, saw his wife, and during his absence took her away, and is in deep distress thereat. In the 4th chapter advice is given to the people of Bengal to be more united and act the Nabab's house, where she refused to eat and was prepared to kill herself, and how she was eventually released time in much happiness, till in chapter 7 they are arrested and taken by the orders of the Nabab. And in chapter 8th the poet digresses to pourtray in forcible language the subjection of the Aryan Bengali race to foreigners, who the Aryans will be freed from the yoke.					
109	Vairágya-vipin-vihár; or, Wanderings in a Forest of Meditation.	ditto ...	Rangalála Mukerji.	ditto ...	Printed and published at the Som-Prakásha Press, Bhavánípur.	Printed by Kadárnáth Chakravarti, and published by Harimohan Mukerji.
	want of attention to the duties of his kingdom was reproved and advised by his friends to mend his ways. Whereon Soul, till he became quite absorbed in investigating the truths relative to the Deity. In the midst of all this this, his Queen and Prime Minister met him accidentally in the forest and took him home. The style and language					
110	Vatris-Singhásana; or, The thirty-two thrones.	ditto ...	Kálíprasád Kaviráj.	ditto ...	Printed and published at the Sudhárnava Press, No. 117, Chitpore Road, Calcutta.	Printed and published by Trailokyanáth Datta.
	incidents in the rule of the famous Rájá Vikramáditya and the 32 tales related by the 32 wooden puppets to Bhoja a dance given by *Indra*, the celestial god, who during the performance observed some stoppage and obstruction, cursed and turned them into wood, of which a throne and 32 idols were made; but after much entreaty was pleased ditya sat upon a throne made of the wood of their bodies; one-fourth more would go when this Rájá's son ascended sitting upon it; and the last portion of the curse would be annulled on Bhoja Rájá's attempt to sit thereon. A carried out. At the last Bhoja Rájá appears on the scene, after that the throne had been buried. It chanced that however, failed to decide aright. The contending parties whilst on their way home, sad and disappointed, fell in reached the Rájá, who at once proceeded to the place and there found after enquiry that the shepherd, so long as and he became like an ordinary man. The Rájá ordered the earth to be dug up, when the famous throne used by wishes to seat himself thereon, but is prevented, each of the 32 wooden puppets relating a tale in succession showing On the conclusion of the thirty-second tale, the throne vanishes, the remaining fourth part of the curse is removed,					
111	Vijana-Sangíta; or, Songs in Solitude.	ditto ...	Jadunáth Pálit.	ditto ...	Printed at the Beadon Press, No. 66, Beadon Street, and published at the Canning Library, Calcutta.	Printed by Harachandra Dás, and published by the author.
112	Bráhma-dharmer-vyákhyán; or, Expositions of the Brahma Religion. Vol. I.	ditto ...	Devendranáth Tagore.	Religion, B.	Printed and published at the Válmíki Press, No. 55, Amherst Street, Calcutta.	Printed and published by Kálíkinkar Chakravrti.
113	Ephishíyadór, Philipíyader-o-Kalasíyader-pratí, Pauler-tin-patra-Satika; or, The Three Epistles of Paul the Apostle to the Ephesians the Philippians, and the Colossians, annotated.	ditto ...	Translated for the Bible Translation Society.	Religion, C.	Printed and published at the Baptist Mission Press, No. 24, Lower Circular Road, Calcutta.	Printed by Rev. G. H. Rouse, and published by the Bible Translation Society.

LIBRARY. 11

Quarter ending 30th June 1879.—(Continued.)

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Date of issue from the press, or place of publication.	Number of sheets, leaves, or pages.	Size.	First, second, or other edition.	Number of copies of which the edition consists.	Printed or litho-graphed.	Price at which the book is sold to the public.	Name and residence of proprietor of copyright, or any portion of it.	REMARKS.	Number.
NON-EDUCATIONAL—(Continued.)									
1879.	Pages.					Rs. A. P.			
April 1st	132	12mo. ...	1st ...	3,000	Printed	0 5 6	Umeshchandra Bhattáchárya, No. 324, Chitpore Road, Calcutta.	Accounts of the sports of Krishna with the *Gopís* or milkmaids, the incarnation of Vishnu by the order of Mahá Vishnu to save the world from sin, particulars of the marriage of Devikí and Rohiní with Vasudeva and the imprisonment of the first and last by Kansa Rájá, and the slaughter of the sons of Devikí by the latter, the births of Valarám and Krishna, and the release of his father and mother by the latter from imprisonment after killing Kansa Rájá.	107
„ 21st	161	dy. 8vo.	1st ...	400	ditto ...	1 0 0	Rajaníináth Chatterji of Barísál.	The present work of eight chapters commences with a touching appeal to mother India, whose sad lot is deplored, and account of a Bráhmin who supported himself and his wife Sundarí in a forest by alms, till one day a Nabab of The 2nd describes the return of the *Bráhmin* husband after the usual day's begging. In the 3rd he finds his wife gone, in concert, whereby they will gain strength and recover their lost possessions. The 5th depicts Sundarí's distress in by the wife of the Nabab. In the 6th the *Bráhmin* husband and wife meet again in the forest and spend their the husband Sharat is executed, whereupon his wife Sundarí dies broken hearted. From pages 50 to 55 in chapter 3rd have placed their feet on the heads of Bráhmins, but that the time must come, thought it may be distant, when	108

Ил. 6. Первые страницы ежеквартального каталога, выпущенного округом Бенгалия. «Примечания» в шестнадцатом столбце продолжаются через страницу и могут считаться комментарием того времени к туземной литературе от агентов Британской Индии. Каталоги не предназначались для использования читателями в Бенгальской библиотеке. Они распространялись в Индийской гражданской службе как засекреченные материалы и могли использоваться в случае обвинения издателя или автора в подстрекательстве к мятежу.

После первой стадии культурного шока столкновение викторианского и бенгальского воображения в 16-м столбце стало приводить ко все более сложным реакциям, и «примечания» разрастались. Вскоре они вышли за пределы аккуратно расчерченных границ между столбцами, захватывая соседнее пространство, перебегая через страницу, наполняя целый лист потоком слов. К 1875 году столбец стал напоминать газетную колонку, а сами примечания превратились в рецензии. Придирчивые комментарии Уильяма Лоулера типичны для этого жанра. В целом его мнение не сильно отличалось от суждений других библиотекарей, включая индийцев. Бабу заменили британцев в 1879 году, когда Лоулера сменил Чандер Натх Босе[1]. С этого момента каталоги составлялись индийцами, несомненно, с помощью ассистентов, потому что никакой человек не смог бы уследить за всей литературой, выходящей из-под печатных прессов в конце XIX — начале XX века. Но тон примечаний оставался почти неизменным, хотя индийские библиотекари были в меньшей степени зациклены на сексе и больше внимания уделяли филологической правильности. Когда они замечали следы волнения среди туземцев, то звучали так же обеспокоенно или возмущенно, как и их британские предшественники. Чандер Нах Бос жаловался на бенгальский роман «Surendra-Binodini Natak»: «К любовной истории примешивается

1. Бенгальские каталоги, превосходящие по количеству томов все каталоги других провинций, публиковались раз в квартал и подписывались библиотекарями в должности «библиотекарь бенгальской литературы и составитель книжных каталогов». Это были: Джон Робинсон с 1867-го по октябрь 1878-го (за исключением коротких периодов, когда его заменяли Р. Дж. Эллис и Роберт Робинсон), Уильям Лоулер с октября 1967-го по июнь 1879-го, Чандер Натх Босе с июня 1879-го по октябрь 1887-го, Гарапрасад Састри с октября 1887-го по январь 1895-го и Раджендра Чандра Шастри с января 1895-го по март 1907-го. Графа с примечаниями была устранена в 1901 году, а формат упростился где-то в 1902-м и в 1905-м, когда названия стали приводить при помощи местного алфавита, а не в транскрипции.

другая, предмет которой может вызвать в сознании местных жителей сильную ненависть к английской власти и английскому характеру. Там есть пассажи, в которых язык автора становится почти откровенно мятежным»[1]. Должны ли мы считать эту преемственность в каталогах знаком взаимной адаптации, англицизации или обращенного против себя самих ориентализма? Сложно сказать, учитывая недостаток информации о самих библиотекарях. Но одна характеристика явно выделяется: их виртуозное обращение с языками. Харинатх Де, кандидат на пост императорского библиотекаря в Калькутте в 1906 году, в совершенстве изучил латынь, греческий, немецкий, французский, английский, итальянский, испанский, санскрит, пали, арабский, фарси, урду, хинди, бенгальский, орийя, маратхи и гузерати, а также неплохо освоил провансальский, португальский, румынский, голландский, датский, древнеанглийский, древневерхненемецкий и средневерхненемецкий и кое-что знал из иврита, турецкого и китайского. Должность он получил[2].

Какие тенденции можно заметить за тридцать лет постоянных комментариев о ежедневной продаже книг? В первую очередь этнографическую путаницу. Для британских библиотекарей 1870-х годов бенгальская

1. BLCB, 1880. Из-за нехватки последовательной нумерации каталогов цитаты нужно искать по названию работы в томе за соответствующий год, в данном случае «Surendra-Binodini Nátak». В некоторых случаях ссылки имеют «pro. nos.», то есть порядковый номер, который тоже приведен.
2. Сын государственного чиновника из Раджпура в Центральных провинциях, Харинатх Де учился в Раджпурской высшей школе провинциального колледжа в Калькутте и Крайст-колледже в Кембридже, где получил лучшие оценки по классическим предметам и стал вторым на экзаменах по средневековым и современным языкам. Его обязанности в качестве библиотекаря Императорской библиотеки Калькутты распространялись на всю Британскую Индию, поэтому в отличие от своего коллеги из Бенгальской библиотеки он не составлял каталог конкретной провинции. См.: Oriental and India Office Collections, British Library, P/7587, pro. nos. 201 and 237–43.

литература представляла собой странное сочетание противоречащих друг другу элементов. Например, «Gyananjan» [«Чернила мудрости»]: «Разнообразные стихотворения о времени, надежде, богачах, перепелках и кокосах»[1]. Непонимание было взаимным, так как примечания из шестнадцатого столбца иногда передают и индийское отношение к британцам. Популярный бенгальский сборник советов и полезных фактов включал маленькие эссе на следующие темы согласно описанию Уильяма Лоулера: «работа, сон, здоровье, рыба, соль, индиго и свинья, которая описывается как нечистое животное, плоть которого едят только самые низкие люди — полотеры, домы, мехтары, а еще англичане»[2]. Ни одно произведение местной литературы не сохраняло антропологической чистоты, не затронутой имперским присутствием. Индийцы и британцы начали формировать облик колонии больше чем за век до того, как каталоги стали фиксировать британское понимание индийского понимания их привычного мира.

Тем не менее требовались существенные этнографические усилия, чтобы британцы смогли извлечь что-то полезное из местной литературы. Они часто натыкались на тексты, смысл которых был абсолютно непонятен. Например, «Chinta Lahari» [«Волны медитации»], которую так описал Джон Робинсон в 1978 году: «Неясный и бессмысленный текст. Несколько поэтических строчек, несколько песен и ряд диалогов, все ни о чем. Непонятно, зачем автор взял на себя труд писать весь этот бред»[3]. В поздних каталогах примечания приобретают менее тенденциозный характер, что, несомнен-

1. BLCB, 1874.
2. BLCB, 1879: Hita-shiksha, or Useful Instruction.
3. BLCB, 1878. Конечно, возможно, что книга была невнятной. Индийские библиотекари были столь же свободны в выражении презрения к неряшливому литературному стилю, как и их британские предшественники. Например, вот замечание Раджендеры Чандры Састри в BLCB 1900 года об «Astray Siddhanta Chandrodaya Va Svarup Damodar Gosvamir Karcha»:

но, можно считать результатом действий индийских библиотекарей, которые пытались стать посредниками, переводя и объясняя разницу между культурами. Но и ранние каталоги не только осуждают местные обычаи. Они описывают деревенскую медицину, магию, домашнюю жизнь, религиозные обряды и даже многоженство в удивительно прямолинейной манере, хотя и содержат достаточно ремарок об индийском «идолопоклонничестве», чтобы читатель не забыл, на чьей стороне истина[1]. Когда речь заходила о сверхъестественном, британцы предпочитали добрые силы вроде Сатья Пира, которому приносили в жертву молоко и цветы мусульмане в восточной Бенгалии, а не Кали, ужасную индуистскую богиню разрушения, ублажаемую закланием коз[2]. Британцам нравились мистические и поэтические аспекты индуизма. Изучив классические священные тексты, они поражались глубине «Вед» и торжественности «Рамаяны», хотя и жаловались на непреодолимые неясности. Когда они говорили о поэзии, складывалось впечатление, что речь идет об английском романтизме. Например, о «плаче овдовевшего возлюбленного» из «Nibhrita Nivas Kavya»

«Рифмованное обсуждение самых эзотерических и запутанных доктрин вишнуизма. Работа переполнена бессмысленными деталями и мистикой».

1. Одобрительные высказывания насчет местной медицины можно найти уже в BLCB 1878 года, где Джон Робинсон только приветствует «Deshiya prakriti o chikitsa, or The Constitution and Medical System of the Country»: «Европейская медицина и лекарства не приспособлены к внутреннему устройству местных жителей. Отмечено, что они крайне подвержены сплину». О полигамии см. ремарки к «Buhoobibahu Rahityarahityu Neernuyu, or A Determination of Whether Polygamy Ought to Be Abolished or Not» в BLCB 1871 года. О религии см. положительный отзыв о «Krishna Bhakti Sar, or The Truths of the Devotion to Krishna» в сравнении с осуждением «идолопоклоннических» верований индийцев в «Assamya Larar Ditya Shikhya, or The Second Lesson Book for Assamese Children» в BLCB 1874 года.
2. Примечания к «Moonlight of the Worship of the Goddess Kali», BLCB, 1879.

[«Одинокое жилище»]: «Описание земли и растений, наблюдаемых духом героини, прекрасным и целомудренным, на его пути к небесам в обществе божественных нимф, чрезвычайно поэтично. Можно заметить существенное сходство между ним и некоторыми фрагментами из „Королевы Мэб“ Шелли»[1].

Но народная бенгальская литература, напротив, не заслуживала в каталогах ничего, кроме осуждения. Библиотекари отмахивались от нее как от дешевки, «бульварной литературы», распространяемой книгоношами среди бедняков Калькутты и необразованных селян в мофассиле (сельской местности). В ней говорилось о городских ужасах вроде бедности, убийств, расследований и проституток или о деревенских бреднях — феях, магии, приключениях, астрологии. Судя по примечаниям, эти истории напоминали грошовые романы и баллады Европы того времени. Но их сентиментальные романтические истории заимствовались из индуистской мифологии, а календари сочетали астрологические советы с мантрами, которые следовало читать, прокалывая уши или впервые давая ребенку рис[2]. Были широко распространены песенники, где традиционное сквернословие смешивалось с комментарием к последним событиям. А самое главное, печатные версии народных пьес, обычно маленькие буклеты, но иногда и тома из нескольких сотен страниц, распространяли пикантный флер театров Калькутты по всей провинции. Всю эту печатную продукцию читали вслух в ма-

1. BLCB, 1878. Мнения о «Рамаяне» и «Веданте» см. в отзывах на «Nirbasita Seeta, or The Banished Seeta» в BLCB 1871 года, «Sriyukta Babu Srigopal Basu Malliker Phelosiper Lekchar, or Srigopal Basu Mallick's Fellowship Lectures», и «Nigurha Atma-darsan, or Esoteric Self-Perception», оба в BLCB 1900 года.
2. Для примера см. «Bhubudeb Puddhuti, or The Institutes of Bhubudeb» в BLCB 1871 года. В каталогах можно найти огромное количество информации о бульварных книгах. В отличие от их европейских аналогов, насколько мне известно, они не были изучены, за исключением *Anindita Ghosh*, Power in Print.

стерских, на рынках, на женской половине дома. Как заметил Лонг, чтения были представлением, иногда разыгрываемым профессионалами, которые пели или играли текст, оживляя его перед широкой аудиторией.

Составители каталогов не тратили место на подробные комментарии к таким ничтожным произведениям, но пересказывали их содержание так, чтобы сообщить британским читателям о восточной экзотике. Например, о «Sarbbagyan Gyanmanjari» [«Цвет всех знаний»]: «Астрология или народные гадания, включая Хануман Чарита, Как Чарита (предзнаменования в карканье ворон) и Спандан Чарита (по спазмам, движению глаз, вен или нервов)»[1]. Шестнадцатый столбец содержит множество деталей пьес, таких как «Rajatgiri Nandini Natak» [«Дочь хребта золотой горы»]:

> Сын Джоубанашьи, раджи Пингала, влюбился в Кхьянапрабху, дочь короля Раджатгири, фею, и женился на ней, но астролог, враг принца, с помощью интриг сумел добиться изгнания героини. Однако в конце концов ее отыскали, они воссоединились с мужем, а злой астролог получил заслуженное наказание и был убит[2].

При таком прямом пересказе создается ощущение, что туземцы, словно дети, забавлялись сказками. В случае с драмой, основанной на религиозной литературе, примечания звучат менее пренебрежительно. «Сюжет заимствован из „Рамаяны“ и был множество раз достаточно подробно изложен в предыдущих каталогах», — отмечает Уильям Лоулер в 1879 году. «Местные жители испытывают очевидное пристрастие к подобным пьесам, основанным на „Рамаяне“, и всегда исполняют их с большой страстью»[3]. Однако к 1900 году

1. BLCB, 1875.
2. Ibid.
3. Rama-vanavas-natak, or The Residence of Rama in the Forest, BLCB, 1879.

религиозные мотивы в литературе начинают сходить на нет, уступая место западному влиянию, например сентиментальным мелодрамам о безответной любви и ужасах пьянства[1]. Детективные истории, публикуемые на рекламных буклетах масла для волос, превращали Калькутту в своеобразную копию доков Лондона, только без тумана и холода[2]. Составителей каталогов все это сильно беспокоило, как знак новой плебейской культуры, оскверняющей достойную древнюю цивилизацию. Типичное примечание описывает народную драму 1900 года как «низкопробный фарс... Это вульгарное произведение, не заслуживающее дальнейшего упоминания»[3].

В шестнадцатом столбце можно встретить уважительные оценки серьезной бенгальской литературы. Рабиндранат Тагор получал одобрительные отзывы задолго до того, как в 1913 году стал лауреатом Нобелевской премии[4]. Каталог 1881 года восхваляет «Сварналату» как, «возможно, единственный роман (в отличие от романсов и поэм), написанный на бенгальском»[5]. Каталоги отмечают влияние брахмоизма (бенгальского религиозного движения по реформированию тради-

1. Например, следующие замечания в BLCB 1900 года: «„Thakur-Jhi, or Father-in-Law's Daughter"... история из обычной жизни, рассказывающая, как молодой человек по имени Хиралал с хорошим образованием и характером был почти разорен своим пристрастием к выпивке и как его спасение и исправление были обеспечены самоотверженными усилиями его сестры... Искренняя преданность брату является определяющей чертой ее характера, и именно она поддерживала Хиралала в трудные дни и в конце концов пробудила спящую в нем нравственную природу».
2. Некоторые из этих криминальных драм, изданных производителями масла для волос Кунталина и Мохийи, можно найти в BLCB 1908 года.
3. Ranga Bau Va Sikshita Malila, or Beautiful Daughter-in-Law or the Education of a Lady, BLCB, 1900.
4. См., например: Galpa-guchchha, or A Cluster of Stories, BLCB, 1900.
5. Swarnalata, BLCB, 1881.

ционного индуизма)[1], распространение литературных журналов[2] и появление некоторых сборников поэзии, «вдохновленных искренними чувствами и любованием красотой природы»[3]. Выделяются некоторые авторы вроде Ишвара Чандры Видьязагара[4], но нет никаких упоминаний Бенгальского Возрождения (термин не входил в обиход до 1930-х годов). Близко не подходя к осознанию общего расцвета современной литературы, каталоги оставляют впечатление, что лишь несколько неплохих книг поднимаются над набирающей силы вульгарностью.

Главным качеством, заслуживающим уважения составителей каталогов, была филологическая состоятельность. Получив двойную дозу классического образования — санскрит и фарси вдобавок к латыни и греческому, библиотекари с ходу осуждали неточные переводы и несовершенный слог. Самые высокие оценки

1. Paramartha Prasanga, or Discourses on the Highest Truth, BLCB, 1900.
2. Каталог включал отдельный раздел для периодики. В 1873 году там одобрили появление нового литературного обозрения «Bangadarshan, or The Mirror of Bengal» такими словами: «Выдающийся литературный журнал, редакторы и авторы происходят из лучших писателей Бенгалии».
3. Vina, or Lyre, BLCB, 1900.
4. Замечания насчет «Sankhya Darsan, or Sankhya Philosophy» Видьясагара в BLCB 1900 года показывают опасения, связанные с попыткой смешать западные идеи с традиционной индийской философией: «Это крайне интересное и необычное изложение принципов философии санкхьи, основанной в основном на афоризмах Капилы и сильно отличающейся от взглядов, которые обычно авторы выражают на эту тему. Нужно с подозрением рассматривать любые подобные попытки выйти за пределы традиционных интерпретаций и заменить их взглядами и идеями, которые, возможно, позаимствованы из работ европейских авторов… Несомненно, книга представляет собой пример ясности мысли, безупречных выводов, искренней и бесстрашной преданности правде, которые редко можно обнаружить в такой степени у других бенгальских авторов наших дней. Скоропостижная кончина автора является большой потерей для бенгальской литературы».

они приберегали для трактатов вроде «Bhasha Tattva» [«Истины языка»]: «Глава об извлечении бенгальских падежных суффиксов и вербальных форм из санскрита показывает настоящий талант в области филологии»[1]. При оценке художественной литературы библиотекари предпочитали правильную речь и традиционный стиль. Например, в «Udvaha Chandraloka» [«Лунный свет брака»]: «Книга написана на чистом эталонном санскрите, на котором сейчас может писать мало ученых мужей. Метрическое вступление… обладает особенной ценностью. Работа во всем заслуживает глубокого изучения и дальнейшего наблюдения за судьбой автора»[2]. И такое же сильное негодование обрушивалось на все «низкое» и «вульгарное» в отношении как стиля, так и сюжета. Каталоги отдавали предпочтение «санскритскому» бенгальскому перед «магометанским» бенгальским и были особенно жестоки, когда наталкивались на несовершенный слог. Полноценный разбор романа «Gajimiyar Bastani» [«Сверток Гаджимияра»] завершался так: «Несмотря на то что он магометанин, автор пишет на бенгальском с легкостью и прекрасно обращается со словами. Однако его стиль противоречит грамматике, в нем заметно восточнобенгальское влияние и отсутствие изящества»[3]. Составители каталогов служили хранителями очага культуры, индийского эквивалента золотого века Античности. Они связывали цивилизацию с санскритизацией или тем, что казалось им нитью, ведущей к древнему миру классической чистоты. И это тоже было важной стороной Британской Индии, созданной в равной мере британцами и индийцами.

1. BLCB, 1900.
2. Ibid.
3. Ibid. См. также комментарии из этого каталога к «Sachitra Gris Turaska-Yuddha, or Graeco-Turkish War with Illustrations» и «Tetavatar Ramachandra, or Ramachandra, the Incarnation of the Treta Era». Похожие замечания можно найти в более ранних каталогах, особенно за 1878 год.

Мятеж?

Кажется, что одержимость литературным стилем невероятно далека от политической власти. Но в Британской Индии сама литература до последней буквы была предметом политики[1]. Приняв брахманский взгляд на индийскую культуру, британцы после 1857 года укрепились в том, чтобы не разрушать традиционную иерархию, а осуществлять власть через элиту. В то же время наблюдение за литературой использовалось для обнаружения симптомов опасности. Анализируя поэзию, британцы выискивали признаки недовольства среди туземцев, так же как и отклонения от пуранического канона. Составитель отзыва отмел собрание из тридцати четырех бенгальских стихотворений как «не представляющее интереса» за одним лишь исключением:

> Однако есть одно стихотворение — плач об Индии, в котором поднимается вопрос о жалком и абсолютно зависимом положении местных. Британец описан едущим в экипаже под звучание «Правь, Британия»... Местные жители изображены дрожащими от ужаса при виде белого человека. Поэт скорбит о полной потере независимости индийцев и об утрате самых лучших и самых благородных среди своих соотечественников[2].

1. Общий политический аспект местной литературы в Индии XIX века рассмотрен в: *Sudhir Chandra*. The Oppressive Present: Literature and Social Consciousness in Colonial India (Delhi, 1994).
2. Kavitavali, or Collection of Poems, BLCB, 1879.

Составители каталогов уделяли особое внимание пьесам, из которых получали постоянный поток комментариев к последним событиям, как десять лет назад Джеймс Лонг. Важные судебные разбирательства вроде дела Бароды в 1876 году, касавшегося конфликта между индийским принцем и британским «резидентом» или агентом колониальной администрации, предоставляли обширный материал для осуждения британского правосудия, олицетворяемого традиционной группой злодеев: деспотичными судьями, продажными полицейскими и жестокими тюремщиками[1]. Гиперболизируя промахи судебной системы, пьесы выставляли режим в целом в дурном свете. В отдельных случаях они также порицали социальную несправедливость, включая эксплуатацию крестьян землевладельцами, точно как в «Nil Durpan»[2]. За землевладельцем маячила

1. См., например, заметки насчет «Jel Darpan Natak, or Mirror Depicting the Jail» в BLCB 1876 года: «Книга начинается с диалога между двумя основными действующими лицами в деле Гуиквара из Бароды, в котором нелестно отзываются о действиях правительства в этом случае. Чуть позже и на протяжении большей части книги привилегии, доступные в общественной тюрьме, противопоставляются душераздирающему описанию отношения к заключенным со стороны властей в тюрьме уголовной. Местный врач описывается как добрый и сочувствующий персонаж, в то время как общественные хирурги и судьи показаны бессердечными, особенно при порке заключенных. Драма включает сцены в тюрьмах Алипура, Джессора, Бурдваны, Нараила и Банкуры. Тюрьма Джессора особенно выделяется своим жестоким обращением с заключенными, один из которых, согласно тексту, умирает от побоев плетьми, полученных в тюрьме». Другие примеры можно найти в: Baranabater Lukochuri, or Hide and Seek at Baranabat, BLCB, 1874; Surendra-Binodini Natak, BLCB, 1875; Sharat Sarojini, Natak, BLCB, 1876.
2. Cha-kar Darpan Natak, or The Mirror of a Tea Planter, BLCB, 1875: «Эта драма показывает ужасные притеснения и жестокость чайных плантаторов и их амлахов и высмеивает попытки британского правительства избавиться от рабства в других странах, в то время как на их собственной земле происходят такие душераздирающие сцены».

фигура окружного судьи или даже миссионера, которые были соучастниками в общем желании разграбить Индию и подавить ее население. Долгий обзор драмы 1878 года заключал:

> Работа поднимает ряд тем, включая, например, абсолютную двуличность христианских миссионеров, которые, хотя напоказ заняты проповедью Евангелия, относятся к местным жителям с особой жесткостью и могут убить одного из них по малейшему поводу. Их способ проповедовать, их бенгальское произношение, оскорбления, которыми они поливают индуистских богов и богинь, а также развращенный и лицемерный характер обращенных христиан из местных — все это жестоко высмеивается. Автор резко и иронично рассказывает о том, как суды проводят разбирательства, в которых европейцев обвиняют в убийстве индийцев. Например, когда европеец забил до смерти робкого местного слугу, его вдова и дети получили лишь пару рупий в качестве компенсации за утрату кормильца, или о том, как подкупают свидетелей... Это очевидно злонамеренное произведение, написанное с расчетом вызвать недовольство и ввести в заблуждение несведущих[1].

Можно набрать достаточно цитат такого рода, чтобы показалось, что Британскую Индию переполняли мятежные настроения. Но на самом деле большая часть отзывов в шестнадцатом столбце не имеет отношения к политике, а когда там заходит речь о признаках волнения среди туземцев, мы не видим особого беспокойства. Тон комментаторов остается предельно деловым, как будто позволяя индийцам как-то выпускать пар, пока британцы продолжают осуществлять власть[2]. Более

1. *Sabhyata Sopan*. Drishya Samajchitra, or Stepping Stone to Enlightenment, BLCB, 1878.
2. Некоторые типичные примеры из BLCB 1876 года. «Dasatwashrinkhala, or The Bonds of Slavery»: «Описывает несвободу жителей Индии, чьи поступки и воля подчинены приказам

того, индийские литературные произведения содержали и мощный поток одобрения британского режима. В стихах воспевались такие неожиданные темы, как постройка водопровода:

> Сначала автор блестящим языком описывает многочисленные и долгосрочные блага, которые принесло жителям этой страны британское правительство, а потом рассказывает о таких вещах, как часы, уголь, газовое освещение, монетные дворы, телеграф, железные дороги, водопровод, автоматическое производство бумаги, Азиатское общество и т. д., введенных в обиход англичанами. Поэтический слог книги довольно хорош[1].

Приезд принца Уэльского и принятие королевой Викторией титула императрицы Индии в 1876 году привели к появлению огромного количества поэтических произведений, из которых часть благодарила британцев за освобождение от «магометанских оков угнетения», что было привычным мотивом произведений индуистов[2]. В нескольких работах «индийский характер» сравнивали с «британским гением»[3], в пользу

других». «Manihara-phani Barat janani, or Our Mother India is like the Serpent Who Has Lost Its Wonderful Jewel»: «Описывает возрастающие несчастья Индии, начавшиеся с переходом страны в руки иноземцев». «Gyandipika, or The Light of Knowledge»: «Обсуждение закона и осуществления власти в стране с указанием существующих недостатков».

1. Ingraj Goonu Burnun, or A Description of the Virtues of the English, BLCB, 1871. См. также: Satik Pauchali, or Metrical Verses, BLCB, 1876, где британцев хвалят за «введение телеграфа, пароходов, железных дорог, судебной системы и т. д.».
2. Rajputra, or The Prince, BLCB, 1876. Взгляд на индийскую историю, осуждающий моголов, можно найти в: Bharathe Jaban, or The Mohammedans in India, BLCB, 1874: «Описаны тиранические поступки магометан во времена их владычества в Индии — убийство коров и брахманов, надругательство над честью женщин, пока англичане не пришли спасти страну».
3. Inraj Pratibha, or Genius of the English, BLCB, 1910.

последнего. В 1900 году один автор дошел до того, что призывал индийцев «больше работать, меньше говорить» и избегать любых волнений, чтобы завоевать уважение правителей[1]. Из каталогов нельзя понять, были ли эти чувства искренними или причудливым сочетанием пропаганды и подхалимажа, но они встречаются достаточно часто, чтобы предположить, что, с точки зрения британцев, у них была существенная поддержка среди образованной элиты[2].

Но недовольство все продолжало проявляться, не всегда в форме открытого осуждения британских властей, но в описаниях унижения и тирании, которые составители каталогов к концу XIX века находили повсюду, даже в тех песнях и пьесах, которые прославляли колониальные власти. Может показаться странным, что в одном литературном произведении могут сочетаться такие противоположные вещи. Не исключено, что это лишь оптическая иллюзия, возникающая при рассмотрении литературы через двойной фильтр — когда историк изучает империалистов, изучающих текст. Но противоречия лежали в самом сердце имперской культуры. Судя по каталогам, индийская

1. Bharat Kahini, or The Story of India, BLCB, 1900: «Они [индийцы] должны быть верны основным принципам своей религии и воздерживаться от простого имитирования форм, а не духа, западной цивилизации, а также избегать крайнего радикализма в социальных и политических реформах. Движение Конгресса, несомненно, благое начинание, но политического волнения недостаточно, чтобы спасти страну. Пусть люди больше работают и меньше говорят, и они возвысятся в глазах правительства. Книга написана с прекрасным настроем и адекватной оценкой преимуществ британской власти».
2. См., например: Daiva-lata, or Creeper of Providence, BLCB, 1879: «Писатель… благодарит англичан за их справедливую власть и надеется, что они долго еще будут править страной и что вся Индия осознает преимущества английского владычества». Неудивительно, что эта тема поднимается и в работах, написанных на английском, например в «High Education in India» в BLCB 1878 года.

литература XIX века совмещала ненависть к себе с ненавистью к иностранцам и самолюбие с уважением к сахибу.

Отчасти эти противоречия вытекают из циклического взгляда на историю, когда золотые века развития сменяют железные века упадка. Самый золотой из них имел место в далеком прошлом, когда арии построили великую цивилизацию на завоеванной ими территории с 1500 по 450 год до нашей эры. Самая упадническая эпоха началась с вторжения моголов и достигла пика в настоящем, в Британской Индии. За всем этим наблюдали боги, и история становилась мифологией. Господь Шива, бог, почитаемый ариями, уступил место богине Кали, богине разрушения, чей приход к власти обещает людям несчастья в этот железный век. Голод, чума и бедность подорвали силы простого народа еще до прихода ферингисов (иностранцев). Вместо того чтобы взять латисы (боевые кованные железом дубины) и объединиться против захватчиков, элита переняла их обычаи. Повсюду, особенно в Калькутте, бабу говорили на языке ферингисов, пили их алкоголь и собирали для них налоги. Некоторые женились без согласия родителей. А кто-то даже брал в жены вдов! Чувство стыда и распада распространялось в литературе вместе с протестами против власти иностранцев. «Молодой бенгалец» стал популярной мишенью в народных пьесах, напечатанных в виде буклетов и адаптирующих классические темы к последним событиям. «Sura-sanmilana» [«Собрание полубогов»] показалась «наполненной заимствованиями» автору отзыва 1879 года:

> Там описывается встреча, или дарбар, в присутствии трех важнейших богов, представляющих индуистскую триаду, и десяти крор, или трех миллионов полубогов, которые выступают в качестве комитета по засухе 1286 года до нашей эры или 1879 года нашей эры. Вина падает на лорда

> Литтона [действующий вице-король], выступающего в роли Индры, царя богов, который стремится лишь к развлечениям, охоте и театральным представлениям и живет в окружении роскоши и всего, что можно пожелать в жизни. Он, однако, оправдывается, перекладывая вину на тяжелые времена, особенно для местных жителей, в этот железный век, или век Кали — век торжества лжи, похоти, пьянства и т. д. Сэр Эшли Эден [на тот момент губернатор Бенгалии] в образе Варуны, индийского Нептуна, говорит, что он должен просто следовать приказам и не имеет собственной воли. Подозреваемые подельники удостаиваются прощения с наказом впредь не совершать таких проступков. Имена вице-короля и Его чести не упоминаются открыто, но их участие становится понятно из содержания пьесы[1].

Конечно, часть работ, особенно в таких непривычных жанрах, как роман, многое заимствовала из западной литературы и делала бабу воплощением современности[2]. Но народные жанры, в первую очередь пьесы, выставляли бабу символом развращающих последствий вестернизации. В 1871 году традиционный фарс пришел к тому, что «цивилизованность молодых бенгальцев состоит в том, чтобы есть мясо и напиваться до полусмерти»[3]. К 1900 году англицизированный индиец стал постоянным персонажем пьес, направленных не только на то, чтобы рассмешить публику, но и на то,

1. BLCB, 1879.
2. Так, в BLCB 1881 года описывается «Sarat-Sashi»: «Героем является молодой бенгальский бабу, который знает английский язык, отбрасывает оковы кастового общества и местных суеверий, полон патриотическим пылом, действует как филантроп, обличает коррупцию и преступления чиновников, пишет статьи в газеты, ненавидит тиранию и притеснения любого рода и представляет собой идеальный образ образованного бенгальца в сознании автора».
3. Is This Called Civilization?, a Bengali drama translated into English, BLCB, 1871.

чтобы уязвить британскую власть[1]. Поэмы и песни наполнены тем же духом возмущения[2]. В типичном стихотворении говорится: «...арийская раса бранится и недоумевает, как англичане, нация лавочников, умудрились занять престол в Дели»[3]. Повсюду древние арии служили упреком своим деградировавшим потомкам[4]. Подражать ариям означало отказаться от западных манер и вести себя более мужественно, более агрессивно и (по крайней мере, что касается бенгальцев немусульман) более преданно индуизму[5]. Все эти мотивы, тщательно задокументированные и каталогизированные библиотекарями, свидетельствуют не просто о недовольстве, но о страстном национализме.

1. Описывая «Kajer Khatam, or The End of the Business», «фарс, написанный в защиту туземцев», библиотекарь в BLCB 1900 года отметил: «Неестественность англицизмов в речи „обританившихся“ джентльменов, как обычно, является основным предметом шуток».
2. Например: Bharat-uddhara, athaba chari-ana matra, or The Deliverance of India, or Four Annas Only, BLCB, 1878: «Автор высмеивает воинственные устремления так называемых образованных бенгальцев, которые, хотя полностью лишены смелости и силы, не упускают случая возмутиться униженным положением страны и, на словах, спешат выразить желание освободиться от чужеземной власти... Писатель постоянно упоминает манеру напиваться, узость взглядов, неготовность к действию, любовь к ничего не значащим словам и внутреннюю пустоту, которые свойственны бенгальцам».
3. Bharat-Ishwari, or The Empress of India, BLCB, 1877.
4. Например: Sukhamukur Kavya, or The Mirror of Happiness, BLCB, 1878: «Упадочное и ослабленное состояние потомков арийской расы в наше время, их подчинение иностранным захватчикам и их привычка к пьянству описаны в довольно жестких выражениях». См. также в BLCB 1878 года «Manas Kusum, or The Flowers of Fancy, and Bharate dukh, or India in Distress».
5. Aryua Jati, or The Aryan Race, BLCB, 1900: «Влияние западного образования на индуистское общество наших дней является бесспорно вредоносным, а установление индуистских религиозных ассоциаций провозглашается способом бороться с этим влиянием и воспитывать дух национальной солидарности и братства среди разных групп индуистов».

В самых громких проявлениях они напоминают призыв к революции:

> Бенгальца называют трусом и дразнят за то, что он так привык к рабским цепям и так доволен ими, что забыл само значение и звучание слова «независимость». Поэт напоминает своим соотечественникам об их благородных предках и их славных деяниях, описывает «независимость» как драгоценность, как слово, само звучание которого способно вернуть мертвых к жизни, а также упоминает, что американцы сочли это сокровище столь ценным, что все вместе встали на его защиту с оружием в руках[1].

Насколько серьезны были эти симптомы? Чтобы поместить их в историческую перспективу, я составил статистику из большого количества выдержек из ежегодных рапортов и попытался обрисовать общую картину производства книг в конце XIX века[2]. Но, к сожалению, статистические таблицы, основанные на таком материале, неизбежно содержат ошибки. Каталоги разбивали книги на категории вроде «художественной литературы» или «философии», хорошо известные британцам, но мало соотносившиеся с индийскими концепциями и жанрами. Более того, множество книг печаталось без отправки властям для регистрации. Согласно рапорту из Калькутты 1898 года, эта пропорция могла достигать двадцати пяти процентов[3]. Не внесенные в каталог

1. Kavi-kahini, or Narrations by a Poet, BLCB, 1876. Также см.: Swadeshanurag-uddipak Sangita, or Songs Stimulating Patriotism, BLCB, 1878.
2. «Literary Surveillance in the British Raj», 147–49; «Book Production in British India», 248–62.
3. Ibid., section on Bengal. До 1890 года издатели получали деньги за экземпляры, которые сдавали для регистрации в каталогах. После 1890-го составители каталогов отметили растущую тенденцию не подавать книги на регистрацию, хотя этого и требовал закон. Несмотря на это, книжное производство

книги, с точки зрения библиотекарей, были малозначительным бульварным чтивом, но они пользовались огромным спросом и часто содержали в себе политические протесты, как в случае с «Nil Durpan», которую можно было бы отнести к такой же бульварной литературе, если понимать последнюю достаточно широко[1].

Тем не менее, хотя имеющаяся статистика остается относительной, она все же показывает объемы индийского книжного производства, равно как и попытки британцев его контролировать. К 1900 году из-под печатных прессов выходило более пяти тысяч новых книг в год, всевозможных жанров и видов. Растущее число публикаций включало лишь несколько радикальных протестов, что отмечают в своих рапортах Лоулер и его преемник. Их точное количество установить невозможно, но оно было недостаточным, чтобы всколыхнуть огромное море литературы, которая казалась британским властям вполне пристойной. В подавляющем большинстве случаев литература представляла собой древнюю классику, религиозные трактаты, религиозную поэзию, мифы, основы ремесла, учебники, календари и дешевое бульварное чтиво[2].

в целом, как отмечено в каталогах, постоянно росло в течение XIX века. Исключением стал 1898 год, когда, по оценкам каталогов, продукция упала почти на 5% из-за последствий эпидемии 1897 года. Я использовал статистику из «Report on Publications» 1878 года из президентств Мадрас, Бомбей, Бенгалия и северо-западные провинции с Удом. Она показывает общее производство в 3847 экземпляров по сравнению с 5322 экземплярами в 1898 году. В целом эти четыре региона составляли доминирующую часть в книжном производстве в Индии. Статистики со всего субконтинента нет, но, по моим подсчетам, 200 000 экземпляров будет довольно скромной оценкой общего производства книг за XIX век.

1. «Publications Registered at Curator's Office, Allahabad during the Year 1869», «Selections from the Records of Government, North-Western Provinces» (1870), V/23/129.
2. Сообщения за 1874 год показывают то же самодовольное и снисходительное отношение британских властей на разных частях субконтинента: «Reports on Publications Issued and

После 1900 года некоторое количество антиимперских работ присылали по почте из-за рубежа или издавали в иностранных анклавах вроде Пондичерри или Серампора. Но Индия не создала сложной системы подпольной литературы, сравнимой с литературой в предреволюционной Франции или коммунистической Восточной Европе[1]. Наоборот, государство позволяло

Registered in the Several Provinces of British India during the Year 1874», V/23/28. В рапорте из Уда (старое колониальное произношение Авадха) прямо говорится, что вне традиционных религиозных и поэтических жанров литературы практически не существует. В рапорте из северо-западных провинций (примерно современных Уттар-Прадеш и Уттаранчале) нет ничего, кроме учебников. Сообщения из Мисора и Курга говорят, что ни одна работа не заслуживает интереса, за исключением буклетов, написанных для местной разновидности уличного театра. А рапорт из Пенджаба грубо заключает: «За этот год не появилось ни одной литературной работы, стоящей внимания». Никто не жалуется на политические волнения. Рапорт из Мадраса сообщает: «Раздел „Политика“ в этом году пуст, возможно, благодаря тому, что мы живем в тихое время». А сообщения из Бомбея не находят поводов для беспокойства, кроме двух непристойных произведений на урду: «Общий тон рассматриваемых публикаций не вызывает сомнений в том, что касается морали и лояльности». В 1870 году рапорт из северо-западных провинций заключает: «Пока интеллектуальная культура столь мала, что напоминает лесосечные делянки в джунглях».

1. Власти выглядели неплохо осведомленными об импорте мятежной литературы во время националистических волнений начала XX века, как показывают «конфиденциальные» политические документы заседаний Хоум-департамента правительства Индии: P/7587, P/7590, P/7875, P/8153, P/8430, P/8431. Но тщательное изучение этих бумаг показывает сравнительно мало призывов к свержению власти, как их понимали британцы. Например, в ноябре 1906 года полиция конфисковала три ящика книг и периодических изданий, которые переправили из Каира М. А. Джетекару, книготорговцу с базара Бенди в Бомбее. Большая часть книг была арабскими трактатами о религии и законе, но одна журнальная статья призывала египтян к свержению власти британских завоевателей. Джетекара после допроса сочли «уважаемым» торговцем и освободили, взяв обещание отказаться от подписки на этот журнал:

публиковать книги, которые людям, регистрировавшим их, казались откровенно мятежными. Замечания в каталогах и рапортах лейтенант-губернаторам показывают, что ИГС реагировала на потенциально тревожные сигналы, не испытывая особой тревоги. Туземцы могли быть непокорными, но британцы были уверены, что держат все под контролем.

P/7587, pro. no. 258. В 1908 году власти Бомбея получили особые полномочия, позволяющие перехватывать почтовые сообщения, чтобы изымать копии книги В. Д. Саваркара о Восстании 1857 года: P/8153, pro. nos. 23–27. В 1909 году французские власти в Пондичерри согласились сотрудничать с британцами, но позволяли печать таких журналов, как «Индия», которые перебрались на их территорию из Мадраса. Судя по тайной переписке Министерства по делам Индии, французам нравилось читать британцам лекции об «ограничениях, разрешенных французскими законами, касательно свободы прессы»: Minto to Morley, April 1, 1809, P/8153, pro. nos. 44–52. Но переписка не подразумевала, что Пондичерри служил источником запрещенных книг, сравнимым с Амстердамом и Женевой для Европы XVIII века.

Репрессии

Столетие спустя, после двух мировых войн и бесчисленных колониальных переворотов, информация из каталогов кажется куда более зловещей, чем во времена расцвета Британской Индии. Она выдает взрывоопасные настроения — националистические. Пока противоречия между либерализмом и империализмом оставались невыраженными, эти настроения можно было контролировать. Но, когда империализм стал демонстрировать власть по праву завоевателя, а печатное слово распространилось до самых глубин индийского общества, национализм поднял голову — книги стали опасными, и колониальные власти начали прибегать к репрессиям. До 1900 года записи вроде бы подтверждают убеждение империалистов, что они либерально относятся к индийской литературе: Британия правила, но печать была свободной, свободной даже выражать скорбь о недостатке свободы[1]. Позже все начало рушиться. Событием, которое обнажило противоречия в самом сердце Британской Индии, стал раздел Бенгалии в 1905 году.

Конечно, Бенгалия не была всей Индией. Индийский национальный конгресс впервые собрался в Бомбее

1. В 1878 году британцы ввели ограничения местной прессы через «удушающий акт» (акт о местной прессе), который должен был подавить критику Второй афганской войны. Он вызвал серьезные протесты в Индии, потому что подразумевал, что свобода прессы существовала только по одну сторону черты, отделявшей британцев от туземцев. Но акт был отменен в 1880 году, когда лорд Рипон сменил лорда Литтона в качестве вице-короля в Калькутте, а Глэдстон — Дизраэли в качестве премьер-министра в Лондоне.

в 1885 году, а националисты впервые решили прибегнуть к террористической тактике в администрации того же Бомбея, где Бал Гангадхар Тилак всколыхнул страсти индийских маратхи своей газетой «Kesari». Группы интеллектуалов-националистов формировались вокруг газет в Мадрасе («Mahajana Sabha») и Лахоре («The Punjabee»). Но Калькутта, центр индийской литературной жизни, равно как и британской власти, оказалась наиболее плодородной почвой для агитации. Национализм распространился среди бхадралоков, огромного количества интеллектуалов, мелких чиновников и рантье, ощутивших нужду на рубеже веков, когда в экономике начался сильный спад и работы не хватало. К 1905 году молодые люди из этой среды были воодушевлены Бенгальским Возрождением и обновлением индуизма. Рассерженные, ясно мыслящие, слишком образованные и безработные, они заинтересовались культом Шиваджи, маратхского воина, одержавшего победу над моголами в XVII веке. Их вдохновляли книги вроде «Yugantar» Шибоната Шастри или «Kali, the Mother» сестры Ниведиты (Маргарет Э. Нобль) и будоражили истории героического самопожертвования и националистического подъема среди карбонариев, декабристов, итальянских краснорубашечников, ирландских республиканцев, русских анархистов и японских солдат, которые во время Русско-японской войны 1904–1905 годов доказали, что азиаты могут победить европейцев. Раздел Бенгалии, предложенный вице-королем лордом Керзоном в 1903-м и осуществленный в 1905 году, для этих людей был вопросом жизни и смерти, решавшимся в их собственном доме[1].

1. Это описание основано в первую очередь на документах из собрания Министерства по делам Индии и Дальнего Востока в Британской библиотеке, а также на: *Sumit Sarkar.* The Swadeshi Movement in Bengal, 1903–1908 (New Delhi, 1973); *Peter van der Veer.* Religious Nationalism: Hindus and Muslims in India (Berkeley, 1994).

С точки зрения Британии, раздел имел веские рациональные бюрократические причины. Бенгалия была огромной провинцией, занимавшей 189 000 квадратных миль, с населением 80 миллионов человек, что в два, если не больше, раза превосходило население Британии. Ею невозможно было управлять силами генерал-лейтенанта и разбросанных по провинции окружных офицеров. Но для бенгальцев раздел был смертельным ударом, глубоко проникающим в тело их государства. Они связывали его с циничным желанием разделять и властвовать: новая провинция Восточная Бенгалия и Ассам принесла бы британцам мусульманскую покорность, а бхадралоки Калькутты потеряли бы влияние в сравнении с небенгалоязычными ораторами в Западной Бенгалии. Речи, петиции, протестные собрания, демонстрации и громкое пение нового националистического гимна «Банде Матарам» («Славься, мать», то есть Индия) не были услышаны. Керзон был столь же несгибаем, как и стальной каркас, который он носил для поддержки спины. А лорд Минто, сменивший его в качестве вице-короля в 1905 году, выказал еще меньше внимания к желаниям местного населения, несмотря на понукание начальника, Джона Морли, занявшего должность министра по делам Индии в либеральном правительстве, избранном в конце того же года. Морли приветствовал реформы любого рода, включая избрание индийцев в провинциальные советы, но, когда он признал раздел Бенгалии как «состоявшийся факт», местные интеллектуалы почувствовали себя преданными теми либеральными идеалами, которые им внушили в английских школах.

После неудачи «попрошайничества» — политики сотрудничества, которую предпочитало умеренное крыло партии конгресса, националисты перешли к «свадеши» — бойкотированию британских импортных товаров и использованию местных продуктов. Бойкот производства привел к бойкоту учреждений,

судов, школ, общественных служб и требованию «свараджа» («самоуправления, независимости»). Группы активистов вдохновлялись обновленным индуизмом, определяя новые формы общественной жизни вроде «ашрамов» (сельских уединенных общин) или «самити» (собраний или ассамблей). Они основывали школы, где обучали молодых людей обращению с латхи, традиционным оружием, напоминающим смесь меча и посоха, и нередко предавались умозрительным разговорам о поддержке бойкота насилием или обращении к политическому бандитизму («дакоити», или разбойному нападению). Недовольство было направлено на мусульман не в меньшей степени, чем на британцев, так как значительное мусульманское меньшинство, тридцать процентов населения Калькутты, осталось не затронутым обновленным индуизмом и по большей части безучастным к бойкоту. Создание Всемусульманской индийской лиги в конце 1906 года при поддержке Минто подтвердило ощущение, что британцы пытаются разделять и властвовать. Столкновения между мусульманами и индуистами в Комилле и Мименсингхе весной 1907 года окончательно расстроили отношения этих двух групп населения. Под предлогом восстановления порядка британцы ограничили гражданские свободы и начали арестовывать агитаторов по всей Индии, от Бенгалии до Пенджаба. Но и сами индуисты разделились, когда конгресс распался на ежегодной встрече в декабре 1907 года. Экстремисты оказывались во все большей изоляции — с одной стороны, не желающие объединиться со старой умеренной политической элитой, с другой — не способные заручиться поддержкой нищих и неграмотных крестьян.

Попавшись в эту западню, большинство радикальных националистов решили прокладывать себе путь на свободу с помощью бомб. Пример европейских анархистов, концепция пропаганды действием,

привлекательность героического самопожертвования и культ Кали тоже подкрепляли переход к терроризму. 30 апреля 1908 года бомбой убило двух британок в вагоне поезда в Музаффарпуре. Расследование привело к задержанию террористической группы в Маниктале, пригороде Калькутты. Один из них выдал остальных и рассказал подробности всей операции, и в августе его убили два других террориста в тюрьме Алипора. Полицейский субинспектор и обвинитель были убиты в ноябре. В июле 1909 года пенджабские экстремисты совершили успешное покушение на помощника Морли сэра Уильяма Керзон-Уилли в Лондоне. Террористы предпринимали попытки устранить Минто и одного из его помощников, сэра Эндрю Фрезера, но не смогли сбить британскую администрацию с намеченного курса или разжечь искру восстания среди крестьян. Насилие прекратилось после безуспешного покушения на преемника Минто лорда Хардинжа в 1912 году. К этому времени большинство экстремистов были арестованы или вынуждены уехать из страны. Перенос столицы в Дели и воссоединение Бенгалии в 1911 году, за которыми последовала Первая мировая война, положили конец первой стадии национальных волнений. В ретроспективе становится понятно, что протесты против раздела и террористические атаки никогда не представляли серьезной угрозы для британских властей. Но они выглядели чрезвычайно устрашающе между 1904 и 1912 годами, когда британцы постоянно вспоминали, что они чужаки, несколько сотен тысяч человек, пытающихся управлять субконтинентом с населением в несколько сот миллионов и провозглаших ценности свободы, и в частности свободы печати.

Печать разжигала пожар национализма с самого начала. Главными идеологами были образованные люди, черпавшие вдохновение в литературе, как индийской, так и западной, и собиравшиеся в библиотеках и редакциях газет. Самый влиятельный националистический

кружок Калькутты, Анушилан Самити, обладал коллекцией из четырех тысяч книг, а выпускаемый им революционный еженедельник «Yugantar», чередовавший изящную литературу с призывами к восстанию, назывался в честь романа Шибоната Шастри. Песни, пьесы, стихотворения, памфлеты, религиозные трактаты, жизнеописания, литература всех возможных жанров неизменно присутствовали там, где агенты колониальных властей находили признаки мятежных настроений. Они были прекрасно ознакомлены с этой литературой, потому что наблюдали за ней сорок лет, составляя каталоги и отчеты. После 1905 года встал вопрос, как использовать эти знания, чтобы пресечь вспышки национализма?

В этот момент надзор превратился в наказание. Оно принимало две формы — полицейское преследование и приговоры суда.

Действия полицейских не особенно отличались от практик всех прочих авторитарных режимов. В них входили обыски книжных лавок, допрос и запугивание подозреваемых, аресты авторов, типографов и издателей, перехват писем и посылок, даже использование тайных агентов, которые доносили о том, что говорят на собраниях и читают в школах. Как только описания этих действий стали распространяться по огромному телу Индийской гражданской службы, стало понятно, что произведения, которые теперь были бы неизбежно сочтены крамольными, ничем не отличались от тех, что годами появлялись в каталогах. В них поднимался тот же набор тем, использовались те же жанры, отчасти это были те же книги, но теперь агенты Британии хотели уничтожить их, как бы это ни сказалось на гражданских свободах. Согласно мнению лейтенант-губернатора Пенджаба, требовались «немедленные действия», потому что туземцы показали себя «легковерными», «эмоциональными», «возбудимыми» и способными сорваться под впечатлением от крамольных

идей[1]. Только «автократное» правительство могло удержать контроль над «разными расами» Индии, по мнению лейтенант-губернатора Бирмы: все сомнительные произведения следует уничтожить, но без лишнего шума, чтобы никто в метрополии не узнал об этом[2]. В центральных провинциях один чиновник беспокоился о протестах со стороны «сэра Генри Коттона и компании и других заблуждающихся политиков из Англии»[3], но другой рекомендовал жесткие репрессии: «Серьезность ситуации требует, чтобы мы прибегли к любым самым надежным и самым эффективным методам контроля революционных сообщений в печати, не оглядываясь на какие-либо западные теории и концепции, которые нельзя применять в этой стране в текущей обстановке»[4]. Повсеместно чиновники на местах воспринимали свободу слова как западную роскошь, которая сделает невозможным управление Индией[5]. Лорд Минто представил их взгляды Морли, требуя чрезвычайных полномочий для удержания слова в узде[6]. Но свобода печати была одной из самых

1. Dispatch of Denzil Ibbetson, April 30, 1907, P/7590, pro. no. 183: «Пенджабец, безусловно, менее истеричен, чем бенгалец. Но и он не лишен недостатков Востока. Доверчивый до такой степени, которую нам трудно понять, традиционно настроенный верить в злые намерения правительства, пусть трудновозбудимый, зато, буде это случится, эмоциональный и вспыльчивый, он представляет собой плодородную почву для трудов политических агитаторов».
2. Dispatch of Sir Herbert White, Aug. 1, 1907, P/7590, pro. no. 69.
3. Dispatch of H. J. Stanyon, July 28, 1907, P/7590, pro. no. 71.
4. Dispatch of the Commissioner of the Nagpur Division, Aug. 7, 1907, P/7590, pro. no. 71.
5. См.: Dispatches from the Northwestern Frontier Province, July 29, 1907, P/7590, pro. no. 72; from Eastern Bengal and Assam, March 24, 1908, P/7875, pro. no. 24; и from Mysore, Sept. 1, 1909, P/8430, pro. no. 65.
6. Минто к Морли (July 11, 1907, P/7590, pro. no. 31): «Ничто не может больше противоречить нашим целям и общему духу нашей политики, чем любое вторжение в законные действия прессы. Но, когда под угрозой оказывается общественная

сакральных статей в «Честном Джоне», либеральном кредо Морли. А противоречия между либерализмом на словах и империализмом в действиях обсуждались в парламенте каждую неделю, когда «заднескамеечники» вроде сэра Генри Коттона, прекрасно осведомленные о положении дел в Индии, обнажали притеснение свободы колониальными властями перед всем миром[1].

Пока Минто и Морли пикировались по переписке, более скромные агенты британских властей наполняли секретные каналы переписки ИГС докладами о репрессиях. Во время обыска националистической ассоциации среди книг, изъятых полицией, оказалась «Политика» Аристотеля вместе с англоязычными произведениями вроде «Пробуждения Японии» и «Жизни и трудов Джузеппе Мадзини»[2]. Властям Бомбея казалось преступным публиковать без должного комментария работы о националистических движениях Италии и Ирландии: «Правительство обучило райота читать, и если оно не позаботится о том, чтобы у него был подобающий материал для этого, он неизбежно станет жертвой распространителей литературной отравы»[3]. Колониальные чиновники не позволяли ввозить изданные в Лондоне книги с выдержками из официальных

безопасность, мы требуем для исполнительного правительства права вмешаться... Это не вопрос свободы прессы. Необходимо просто пресечь недовольство».

1. Коттон так хорошо разоблачал слабые места в политике Морли, что Морли стал бояться его вопросов и потребовал из Индии информацию, которая могла бы защитить его от них: Морли к Минто (July 5, 1907, P/7590, pro. no. 31); Морли к Минто (April 25, 1910, P/8430, pro. no. 55). Связанную с этим информацию см. в: dispatches of July 29, Oct. 22, and Dec. 17, 1908, P/8153, pro. nos. 15, 21 и 36, а также в опубликованной переписке Морли и Минто: India, Minto and Morley, 1905–1910; Compiled from the Correspondence between the Viceroy and the Secretary of State by Mary, Countess of Minto (London, 1935).
2. См. Reports on the raid in Calcutta of May 2, 1908, P/7875, pp. 625, 971.
3. Dispatch from the government of Bombay, July 30, 1909, P/8430, pro. no. 65.

документов, потому что они бросали тень на индийскую полицию[1]. Почтовые служащие часто изымали из посылок «Гэльского американца» и антиимпериалистические высказывания Уильяма Дженингса Брайана. Последние, в переводе на индийский, казались особенно опасными Департаменту расследования уголовных преступлений: «Необразованные читатели-индусы могут счесть, что Брайан обладает должными знаниями, чтобы высказывать подобную критику, и что он — англичанин, а не американский демагог, как на самом деле, не скрывающий враждебности к Британии»[2]. Власти не были уверены, стоит ли запрещать книгу пламенного пенджабского националиста Аджита Сингха, в которой он просто излагал биографии известных патриотов, от Брута до Роберта Брюса, Джона Хампдена и Самюэля Адамса[3]. Зато они планировали засудить типографа, организовавшего второе издание некоторых

1. Dispatch from the viceroy's office, June 17, 1910, P/8431, pro. no. 159.
2. P/7875, pro. no. 95. Правительство также отказалось разрешить импорт перевода эссе Толстого «Ek Hindu pratye Mahan Tolstoy no Kagal, or Great Tolstoy's Letter to a Hindu», который молодой М. К. Ганди выпустил как памфлет в Южной Африке. Описывая Ганди, переводчик из правительства Бенгалии предупреждал: «Хотя он выдает себя за любителя мира и убежденного приверженца пассивного сопротивления, он в конечном итоге хочет изгнать англичан из Индии и открыто выражает чувства, которые призваны вовсе не научить миру и доброму отношению к правящей нации» (P/18431, pro. no. 69). Позже полиция конфисковала копию памфлета Ганди на гуджарати «Hind Swaraj, or Indian Home Rule». Он отреагировал, послав английский перевод правительству Индии «только чтобы помочь». «Это ни в коем случае не значит, что я одобряю какие-либо действия правительства или методы, которыми они осуществляются. По моему скромному мнению, любой человек имеет право придерживаться любого мнения, а также действовать в согласии с ним, пока это не вынуждает его прибегнуть к физическому насилию» (April 16, 1910, P/8431, pro. no. 96).
3. Dispatch of M. W. Fenton in the Punjab, June 11, 1909, P/8153, pro. no. 145.

высказываний Бала Гангадхара Тилака, которые были разрешены в конце XIX века. Крамола виделась им и в переиздании нелицеприятного описания истории Ост-Индской компании Уильямом Ховиттом, впервые напечатанного в 1838 году, которое все это время было доступно в нескольких публичных библиотеках. Торопясь с обвинением, юридический консультант правительства не стал оспаривать точность решения или возраст книги. Вместо этого, напоминая скорее современного сторонника теории рецепции, чем служащего Британской Индии, он утверждал, что книга со временем приобрела новый смысл. Наивный читатель нового дешевого издания на урду мог счесть, что критика британских властей 1838 года применима к режиму 1909 года. «Мы должны учитывать именно то воздействие, которое она может оказать на простого читателя», — настаивал он. И в качестве решающего аргумента замечал: «Законодательное собрание постановило, что репутация нынешнего правительства Индии должна быть неприкосновенна». Генеральный адвокат индийского правительства согласился: «То, что несколько лет назад было невинным, теперь стало опасным»[1]. Те же аргументы применялись к другим книгам, которые уже были по всем правилам зарегистрированы в каталогах, не вызывая обвинений в мятежности[2]. Литературный мир оставался таким же, как и до 1905 года, но воспринимался совсем иначе.

1. Reports on seditious literature in the Punjab, May–July, 1909, P/8153, pro. nos. 145–53.
2. См. дела в: P/8431, pro. nos. 117–34 and P/8153, pro. nos. 89–94.

Судебная герменевтика

Запустив этот холистический механизм и наполнив тюрьмы арестованными писателями, агенты властей должны были добиться их осуждения в суде. Этот последний шаг был самым сложным, потому что грозил разоблачением противоречий, свойственных либеральному империализму. Британцы были преданы тем законам, которые навязывали индийцам. Они в них верили, в первую очередь в торжество справедливости, и считали мерилом цивилизации, которую принесли на субконтинент. Поэтому они признали право индийцев печатать книги по тем же правилам, что и англичане, то есть свободно, подчиняясь законам о клевете и крамоле. Чтобы быть точным, нужно отметить, что призыв к мятежу приобрел особое значение в Британской Индии. Согласно разделу 124A Индийского свода наказаний 1860 года, написанного в смутное время после восстания, это понятие применялось к любому, кто «возбуждает или пытается возбуждать чувство недовольства правительством»[1]. Недовольство

1. Section 124A, chap. 6, p. 424, of the Indian Penal Code of 1860 гласит: «Если кто-то словом, высказанным вслух или предназначенным к прочтению, знаками, визуальным изображением или каким-то другим образом вызывает или пытается вызвать недовольство правительством, установленным законом в Британской Индии, он должен понести наказание в виде высылки до конца жизни или на другой срок, к чему можно добавить штраф...» (V/8/319). «Разъяснения», следующие далее, не очень успешно стараются дать понять, что недовольство — это «не выражение неодобрения мер правительства теми, кто вынужден подчиниться его власти». В отдельной секции

оставалось размытым понятием до 1897 года, когда суд Пуны приговорил Тилака, наиболее влиятельного среди националистов начала века, к восемнадцати месяцам строгого заключения за статью, опубликованную в газете «Kesari». Возмущенный неспособностью правительства удержать ситуацию под контролем во время вспышки бубонной чумы в 1896 году, он процитировал «Бхагаватгиту» в оправдание убийства генерала моголов героем Шиваджи в отчаянной ситуации 1659 года. Судья счел Тилака виновным в подстрекательстве к мятежу согласно разделу 124А, задав прецедент для множества других дел, рассмотренных во время волнений после раздела Бенгалии. Сам Тилак был снова арестован и осужден в 1908 году, в этот раз получив шесть лет в тюрьме в Мандалей[1].

К этому моменту правительство ввело новый закон, чтобы усилить свое влияние на суды. Поправки к Индийскому своду наказаний 1898 года снова утвердили размытый раздел 124А, дополнив его еще более обтекаемыми формулировками: «Недовольство подразумевает нелояльность и любые формы выражения вражды»[2]. Поправки к Индийскому своду наказаний

на с. 292–93, где ничего не говорится о подстрекательстве к мятежу, кодекс запрещает продажу непристойных книг и других изданий.

1. Документы, связанные с обоими делами Тилака, приведены в «Law Relating to Press and Sedition», компиляции, подготовленной правительством Дж.К. Роя в 1915 году (V5597). В первом деле судья трактует «недовольство» очень широко, несмотря на заявления защиты о том, что этот термин непозволительно размытый.
2. «Indian Penal Code Amendment Act, 1898», ibid., p. 11. Этот закон также добавлял новую секцию, 153А, которая грозила суровым наказанием любому, «кто вызывает или пытается вызывать чувство враждебности и ненависти между разными классами подданных Ее Величества». Хотя в первую очередь она была направлена на то, чтобы предотвратить конфликты между индуистами и мусульманами. Секция 153А позже использовалась, чтобы наказывать за оскорбительные высказывания индийцев против британцев.

1908 года устранили присяжных в некоторых случаях разбора дел о подстрекательстве к мятежу. Акт о газетах, тоже вышедший в 1908 году, дал окружным судьям право изымать тиражи изданий, которые казались им крамольными. А Индийский акт о прессе 1910 года требовал от всех владельцев печатных прессов вкладывать деньги в охрану, а от уполномоченных чиновников — изымать деньги и станки, чтобы остановить распространение недовольства с помощью «неприкрыто революционных высказываний, а также намеков и завуалированных посланий, вызывающих враждебность к британской власти»[1]. Эти меры относились ко всем публикациям, книгам и памфлетам наравне с газетами и позволяли досматривать почту и книжные лавки при типографиях. Так как акт о театральных представлениях 1876 года предоставил окружным судьям еще более широкие полномочия, чтобы приостанавливать распространение пьес, почти все медиа оказались подвержены тираническим действиям властей[2]. Судьям и адвокатам оставалось просто сыграть убедительный спектакль.

В ретроспективе приговоры выглядят как неизбежное следствие произошедших событий. Разъяренные террористическими атаками судьи не были настроены на снисходительность. Большинство авторов получили обвинительный приговор и наказание в виде «строгого заключения», что обычно подразумевало от одного до шести лет лишения свободы, иногда с дополнительным крупным штрафом или «пересылкой» в душную тюрьму в Мандалей. Однако, чтобы обвинения были убедительными, судьи, юристы, клерки и приставы должны были тщательно сыграть свою роль. Парики и робы, молоток и присяги, необходимость вставать и садиться, юридический сленг и формальные обращения — «ваша

1. «Indian Press Act of 1910», ibid., p. 45.
2. Тексты акта о театральных представлениях и акта о газетах см.: ibid., 8–10 и 35–38.

честь», «ученый защитник» — демонстрировали легитимность британской власти в индийских условиях. Но индийцы тоже освоили эту игру. Их адвокаты учились в британских школах и могли защищать своих клиентов, цитируя британские прецеденты или, если требовалось, Шекспира и Мильтона, хотя чаще они использовали выдержки из «Рамаяны» и «Махабхараты», потому что в них черпали вдохновение обвиняемые. Чтобы выиграть дело, обвинителю приходилось давать бой, иногда на поле противника, но и британцы научились привычкам туземцев точно так же, как индийцы воззрениям сахибов. Десятилетия составления ученых комментариев к каталогам показывают, что служащие в Британской Индии приобрели обширные познания в местной литературе. В ключевых делах сами составители каталогов выступали свидетелями в суде. Так что каталог превращался в поле герменевтической битвы, где каждая сторона выражала свое понимание другой, а империализм, по крайней мере в то недолгое время, пока ружья были убраны, казался соревнованием в символической власти над экзегезой текста.

Рассмотрим следующее стихотворение, которое было напечатано в литературном журнале «Pallichitra» в 1910 году и представляло собой типичный пример того, что, с точки зрения суда, являлось подстрекательством к мятежу[1]. Так как автор остался неопознанным (его позже нашли и отправили в тюрьму на два года), издатель Бидху Бхусан Бос предстал перед судьей Р. К. Гамильтоном в Кхулне в Бенгалии. После объявления обвинительного приговора в подстрекательстве к мятежу согласно разделу 124А Индийского свода наказаний судья заметил, что издателя следует заключить в тюрьму пожизненно, так его преступление непростительно. В конце концов он был осужден на два года строгого

1. Текст стихотворения и документы по делу, включая приведенные цитаты, см.: P/8431, pro. nos. 144–64.

заключения, а его типограф отсидел в тюрьме два месяца как соучастник.

Что же такого ужасного в словах, приведенных ниже в переводе с бенгальского, выполненном официальным переводчиком суда?

Esho ma polli-rani

Приди, Королева-Мать деревни, день подходит к концу. Пусть твои дети восстанут с сердцами, полными решимости, услышав твой великий голос. Я пожертвовал своей жизнью, чтобы забрать корону победы с чела врага и вручить тебе, Королеве среди королев, на поле боя жизни.

Ведомый ошибочными идеями и мучимый страстями, я не увидел и не почувствовал сердцем, когда исчез твой золотой престол.

* * *

Под топочущими ногами асуров в садах Нандана не цветет париджат, в одеждах нищенки Индрани страдает от боли в глубине своего сердца.

Суры, победившие смерть, видят все это и трусливо закрывают глаза на ненависть и трусость. О, мать, я не знаю, когда боги телесно спустятся со Свадеша и, пылая гневом, подобным всеуничтожающему огню, сокрушат армии своих врагов и, опираясь только на свою силу и взявшись за свое оружие, восстановят небесный престол, совершив кровавое подношение предкам.

Большинство современных читателей сочтут это стихотворение крайне запутанным. Но окружному судье в 1910 году все было абсолютно ясно: это призыв к восстанию. В нем не было ничего эзотерического, чего не мог бы понять обычный читатель, заявил судья, ведь значение стихотворения очевидно любому, кто хоть немного знаком с индуистской мифологией: королева — это Мать Индия, также называемая Индрани, цветущий сад — рай, который уничтожили англичане,

асуры — демоны, то есть британцы, а суры — боги, то есть индийцы, сейчас вынужденные побираться, но вскоре намеревающиеся восстать и сокрушить своих угнетателей. В контексте происходящих событий мысль стихотворения становилась пугающе ясной, как объяснял судья:

> Стихотворение было опубликовано… в середине прошлого июля. Перед этим произошел ряд нападений на британцев и британок, особенно на служащих в администрации. Стихотворение не имело бы смысла, если бы под истреблением демонов (асуров) не подразумевалась британская раса. Целью автора, безусловно, было убедить своих соотечественников индуистов объединиться, чтобы уничтожить англичан в Индии. Учитывая пагубное воздействие, которое литература подобного рода оказывает на молодых бенгальцев, <…> не только необходимы самые жесткие меры, но также требуется на какое-то время устранить от общества человека, умышленно причиняющего ему вред, чтобы не дать ему нанести больше ущерба… Мне не кажется, что есть хоть какая-то причина относиться к нему со снисхождением. Соответственно, я приговариваю обвиняемого к двум годам строгого заключения.

Однако эта интерпретация не появилась из ниоткуда. Судья пришел к ней только после открытой герменевтической дискуссии между адвокатом и обвинителем. Согласно версии защиты, слова означают то, что указано в словарях, и то, что под ними понимают обычные люди. Адвокат цитировал словари и вызывал в свидетели случайных людей, чтобы подтвердить свою мысль. Одно ключевое слово, на бенгальском *бойришир*, не могло использоваться по отношению к британскому правительству, как утверждал адвокат, потому что его стандартным значением было «с головы врага». Другое, *асур*, означало «силы тьмы», но это также не могло относиться к англичанам, ведь это слово употребляется

и в речах вице-короля. Что касается третьего спорного слова, *рудхир*, оно использовалось во фразеологизмах, таких как «Я отдам свою кровь», что означает готовность идти на жертвы. Любой, знакомый с обычаями индуистов, знал, что они нередко приносят в жертву животных и нет ничего ужасного в упоминании крови, отданной за благое дело. На уровне метафор стихотворение использовало те же фигуры речи, что и известный монолог Гамлета. Это было размышление о свободе, основанное на противопоставлении жизни в городе и в деревне вроде «Опустевшей деревни» Голдсмита. Более того, стихотворение Голдсмита содержит куда более радикальные высказывания против тирании, и тем не менее его без вреда для себя читают индийские дети в британских школах. На случай, если англичане забыли своих собственных поэтов, воспевавших свободу, адвокат напомнил суду некоторые резкие отрывки из Каупера. По сравнению с этим поэтом, настаивал защитник, его клиент был воплощенным смирением. Разумеется, автор бенгальского стихотворения заимствовал мотивы индуистской мифологии, но, если суд решит запретить подобные отсылки, от местной литературы ничего не останется. Приписывать этому произведению призыв к восстанию — значит не просто не понимать его смысла, но еще сильнее разжечь огонь паники вместо того, чтобы потушить его.

В ответ обвинитель снова прошелся по тексту, утверждая, что интерпретация защиты сочетает неправильные определения с неясными метафорами. *Асуры*, например, не могут означать «тьму», «потому что у них есть ноги и они изображены топчущими райские цветы». Споры о смысле текста все продолжались, пока судья не объявил перерыв и не предложил свою версию прочтения, строчку за строчкой, пока не дошел до последних слов: призыв к мятежу. На суде обсуждалось все, чего можно ожидать от современного занятия по изучению поэзии, — филология, сематические поля,

значения метафор, идеологический контекст, реакция читателя и интерпретирующее сообщество.

Похожие дискуссии повторялись из дела в дело, ведь власти начали видеть призыв к восстанию в публикациях любого рода — жизнеописаниях, политических памфлетах, религиозных трактатах, пьесах и песенниках. То, что до 1905 года казалось невинным началом развития современной литературы, в 1910-м осуждалось как революционная агитация. Литература стала вызывать опасения, потому что больше не была достоянием интеллектуалов — она распространялась среди народа, разнося с собой недовольство, а недовольство вело к восстанию. Учитывая, насколько бедствующими и необразованными были индийские крестьяне, такой вывод кажется сильным преувеличением. Но общественные службы относились к нему со всей серьезностью:

> Провоцирующие заявления <...> с охотой читают и безоговорочно принимают на веру на базарах и в деревнях... От первых доверчивых читателей сообщения передаются необразованному населению, чья подверженность самым экстравагантным слухам давно известна, в процессе становясь все менее конкретными и все более агрессивными... Приходит дак [почта] с «Sandhya», «Charu Mihir» или другими популярными на местах газетами, и некоторые из деревенских лидеров читают выдержки оттуда вслух собранию из бхадралогов и других людей под покровом ветвей стоящего поблизости дерева. Даже проходящий мимо землепашец откладывает плуг и присоединяется к слушателям. Они внимают отравленным речам, а потом расходятся по своим делам, пересказывая то, что узнали, с бог знает какими преувеличениями и неточностями[1].

1. R. Nathan to Government of East Bengal and Assam, July, 1907: report on disturbances in Mymensingh District, April–May, 1907, P/7590, pro. no. 58.

Разумеется, как видно из этого рапорта окружного полицейского, газеты казались особенно опасными, потому что объединяли идеологию с последними новостями. Но книги и памфлеты, особенно собрания песен и пьес, могли куда эффективнее проникать в среду неграмотных, потому что подразумевали устное исполнение, часто сочетающееся с музыкой, пантомимой и актерской игрой. Рассмотрим два последних примера судебных разбирательств.

Бродячие музыканты

11 декабря 1907 года Р. П. Хорсбруг, окружной судья в Амраоти, в центральных провинциях, приговорил Свами Шиванада Гуру Йоганада, так же известного как Ганеша Ядео Дешмукх, к ссылке на семь лет за распространение и декламацию крамольного песенника «Swarajya Sapan» [«Путь к самоуправлению»][1]. Дешмукх написал песни, издал их и разносил по округе, напевая по пути. Чтобы увеличить продажи, по заявлению судьи, он изменил имя и одевался как нищенствующий аскет, что было удачной маркетинговой стратегией, трогающей «сердца неграмотного большинства в каждом городке или деревне, через которые он проходил». «Музыкой и рифмой» фальшивый свами возбуждал чувства «легковерных поселян, которые готовы были внимать любому слову из уст саньяси (брахмана-аскета)». Судья счел это «весьма серьезным преступлением», таким призывом к мятежу, который должен быть наказан смертью:

> Сейчас напряженное время, когда общество в целом осознало, что бунтарские настроения в Индии — это уже не невнятные ругательства, которые летают из одного уха в другое у большинства людей, не причиняя никакого вреда, как четверть века назад. Образование и внутренние связи развились настолько сильно, а рассерженная

1. Следующее описание, включая все цитаты, взято из P/7875, pro. nos. 42–44.

> пресса работала так долго, что злословие на правительство <...> стало политической угрозой, которую уголовные суды должны контролировать и, если это возможно, выкорчевывать с суровой справедливостью.

В качестве примера коварства Свами Шиванады судья привел следующий отрывок из одной его песни:

> О, бог с головой слона и кривым ртом. Движением своего нежного хобота передай ариям знамя преданности своей стране.

Не похоже на «Боже, храни короля», но что это значит? Озадаченный Морли, когда ему сообщили об этом деле, телеграфировал с вопросом, действительно ли эти строки заслуживают семилетней ссылки в Малаю. Ему ответили, что бог со слоновьей головой, Ганеша, был особенно почитаем воинственным индуистским культом, который поддерживал Тилак. Более того, адвокат обвинения обнаружил более ясные доказательства неповиновения: была конфискована другая песня, «Всем ясно, что Морли — горькая карела» (карела — это момордика харанация, лиана с горькими плодами). Но и в других использовались мощные, но не очень понятные образы.

> О, бессильный! Что же лук и стрелы? Опустошив их карманы, заставь почувствовать резь в животе. Покажи англичанам свой непоколебимый характер. Из-за их притеснений и тирании у нас не хватает еды и нет бесплатной воды. Оскорбления и проклятья в конечном итоге бесполезны. Эти самовлюбленные (англичане) едят сливочное масло с голов погибших братьев. Никто не слышит наших жалоб. (То, что они) коварны, изворотливы и хитры сверх меры, известно всему миру. Держись (от них) подальше или спасайся. Играя в побару, двигай фишки по двое, чтобы они могли полагаться на свою собственную силу, (чтобы) эти

> (англичане) обратились в бегство. Правительство пребудет в благоговейном ужасе. Ни один язык не способен описать притеснения и несчастья. Не осталось даже корма для скота.

Текст определенно бросал вызов способности суда докопаться до смысла. С помощью официального переводчика судья составил критическую интерпретацию. Протесты насчет бедности и притеснений включали упоминания недавнего увеличения ирригации. Масляный череп отсылал к индуистскому обычаю класть масло на голову трупа, чтобы ускорить кремацию. А побара представляла собой игру с костями, которая включала определенную комбинацию, походящую на идеальный бросок (шесть на двух кубиках и один на третьем), что в то же время было на оригинальном маратхском намеком на сражение с упоминанием обращения в бегство и формирования союза.

Все это делает стихотворение оскорбительной игрой словами, но отнюдь не прямым призывом к бунту. Конечно, заявлял адвокат свами, перевод ошибочен. Носитель языка понял бы, что отрывок о поедании масла относится к братьям автора, а не англичанам, а описание игры в кости — лишь витиеватая метафора. Упоминание Эдуарда VII далее в тексте было полностью уважительным, что любой мог понять, взглянув на то, какое существительное управлялось глаголом. Вся песня в целом была наполнена игривым, а вовсе не мятежным духом, просто ее стоило читать с точки зрения местного владеющего языком человека. Но судья отверг эти доводы. Он не принял концепцию защиты насчет перевода в целом и этой песни в частности: «Такой перевод не только нарушает правила грамматики, но уничтожает отрывок на уровне синтаксиса и, в некотором смысле, все, что идет до и после него». В конце концов, разумеется, выиграло обвинение, и свами отправился в тюрьму.

Последнее дело касается Маканды Лала Даса, лидера труппы ятров, или бродячих артистов, которые на лодке путешествовали по дельте Ганга, устраивая представления для крестьян. Их величайшим хитом в 1908 году была «Matri Puja», пьеса, основанная на истории из пуран о борьбе дайтьий (демонов) с дэвами (богами). После ряда успешных представлений в Калькутте пьеса была напечатана и зарегистрирована в бенгальском каталоге. Но в 1908 году она была запрещена после того, как составитель каталога в суде рассказал, что это «бунтарская аллегория», оскорбляющая самых влиятельных людей в Британской Индии[1]. Когда Маканда ставил ее в сельской местности, он вставлял импровизированные реплики, высмеивающие местное начальство и даже самого императора Георга V. Он добавлял музыку, пантомиму и песни и сочинил свой собственный песенник, который вышел несколькими тиражами и широко распространялся вместе с другими книгами того же рода. От санскритских текстов до современных книг, от театра Калькутты до водевиля в деревне, «Matri Puja» оказывалась в самых разных слоях культуры. И когда Маканда стал ее распространять среди народа, ИГС почуяла призыв к мятежу. Окружные офицеры старались остановить его разъезды множество раз, но актеру удавалось ускользать от них в течение девяти месяцев, пока после 168-го удачного исполнения его наконец не арестовали и не стали судить.

Состоялись два слушания у одного и того же судьи, В. Доусона, в Барисале в феврале 1909 года. На первом рассматривался песенник, а на втором — разъезды ятров. И то и другое было связано с другими делами и общим следствием ИГС по делу националистического движения. В самом центре находилась «Песня белой крысы», популярнейший хит из репертуара Маканды, который так был передан официальным переводчиком суда:

1. P/8153, pro. nos. 110–17.

> Бабу, поймешь ли ты свою участь, когда умрешь? Белого демона вижу над тобой (буквально, на твоих плечах), он полностью разрушает тебя. Раньше ты ел с золотых тарелок, а теперь доволен и стальными. Ты стал предпочитать помаду местному розовому маслу, и поэтому тебя называют «скотиной», «дураком» и «болваном» (буквально, по своему ли желанию называют тебя скотиной и т. д.). Твои амбары были полны риса, но белая крыса уничтожила его. Бабу, сними очки и посмотри вокруг себя. Знаешь ли ты, заместитель Бабу, что голова твоя лежит под ногами ферингисов, что они унизили твою касту и честь и обманом забрали твои богатства?[1]

Адвокат защиты настаивал на том, что последнюю строку следует переводить как: «Статус и награды сейчас отходят только торговцам, так иди в торговлю». Он основывал это мнение на местоимении «они», которое в этой форме не могло относиться к ферингисам (иностранцам) из-за сложностей бенгальского синтаксиса, в особенности употребления «седьмого падежа вместо номинатива». Вскоре суд увяз в обсуждении словарей, проблем грамматики, санскритских корней и сравнении литературного и прямого перевода. Но судья в итоге положил этому конец, огласив приговор: Маканда был признан виновным в подстрекательстве к мятежу и отправился в тюрьму.

Отвергнув эзотерическую экзегезу, Доусон прибег к тому типу юридической герменевтики, который был выработан для Тилака в 1897 году, когда Справедливый Стрэчи прочитал речь перед присяжными, чтобы избежать излишних сложностей (дела о подстрекательстве к мятежу проходили в присутствии присяжных до 1908 года, когда судьям предоставили достаточно средств, чтобы отказаться от них).

> Оценивая намерения обвиняемого, нужно опираться не только на свои соображения по поводу воздействия, которое

1. Текст и описание обоих дел взято из P/8153, pro. nos. 112–31.

> его труды могут произвести на читателей, но и на здравый смысл, знание жизни, понимание смысла слов и осознание того, как человек начинает писать, обуреваемый каким-то чувством. Прочитайте отрывки и спросите себя, какое впечатление они производят на вас, кажется ли вам, что это простая поэма или мятежное суждение, высказанное в такой форме, или нападки на британское правительство под видом поэмы и исторического комментария. Бывает нелегко выразить разницу словами, но она есть в тоне и духе, а разница между двумя писателями, один из которых пытается стереть злонамеренные слова, а другой нет, обычно лежит на поверхности[1].

Хотя суды собирались остановить бунтарские идеи, власти Британской Индии не давали им уйти совсем далеко в проблематику санскритского синтеза или ведической мифологии. Достаточно было простого здравого смысла британского рода, потому что он был мало свойственен индийцам. Поэтому судьи отметали «местные» аргументы о значении слов в целом ряде дел о мятежных публикациях. В типичном деле, которое слушалось четыре месяца спустя после заключения Маканды, тоже включавшем «Песню белой крысы», судья отверг хитроумный аргумент защиты насчет этимологии и предложил свою версию прочтения:

> Нам незачем возвращаться к этимологическому значению слов. Это, скорее всего, извратило бы смысл всех песен.

1. Эти слова «Справедливого Стрэчи» процитированы Т. Торнхиллом, судьей в Калькутте, 23 февраля 1909 года во время объявления приговора бабу Кирану Чандре Мукерджи, отправляющим того в тюрьму на восемнадцать лет за написание книги, озаглавленной на бенгальском «Панта» (P/8153, pro. nos. 89–94). Как и многие другие судьи, Торнхилл был вынужден разбираться в ведической мифологии, но без труда пришел к вердикту: «Не трудно понять, что этот буклет написан и опубликован с намерением разжечь ненависть, отвращение и существующее недовольство правительством Индии».

> Только один из тысячи понимает санскрит или думает об аналоге санскрита, стараясь понять смысл какого-то слова на бенгальском… Бенгальский [в «Песне белой крысы»] до смешного прост, и абсолютно очевидно, какой смысл вкладывают в него люди на улице… Песня подразумевает, что английские правители раздели страну до нитки и даже заместителя бабу попирают ногами. Это неприкрытый призыв к мятежу[1].

Но в деле Маканды было нечто куда большее, чем британские интуиции по поводу бенгальской лингвистики. ИГС месяцами работала над ним, собирая информацию, которая позволяет увидеть, как эти песни смешивались с другими культурными практиками, распространявшимися в менее привилегированной части индийского общества. Один из рапортов сообщает, что Маканда и его артисты гастролировали почти два года по сложной системе рек в дельте Ганга. Они странствовали от деревни к деревне, преследуемые окружными офицерами, которым было велено запретить представления. Когда один из них прибывал, актеры прыгали в лодку и переносили спектакль в новое место через границу округа, где были неподвластны авторитету офицера. ИГС смогла проследить их перемещения по большой части восточной Бенгалии.

Благодаря информаторам агенты властей также были неплохо осведомлены о том, что происходило во время ятр или музыкальных спектаклей Маканды. «Самое любимое представление рассказывает о выступающем против свадеши заместителе судьи и его жене», — докладывал окружной полицейский. В его рапорте Маканда «оскорбительно отзывался о лорде Керзоне и сэре Бамфилде Фуллере (лейтенант-губернаторе Бенгалии)». Аллюзии были прозрачными сами

1. Дело касалось публикации другого песенника «Bande Mataram Sangit», составленного Рамани Моханом Дасом, который был осужден по секции 124A 19 мая 1909 года (P/8153, pro. nos. 43–47).

по себе, а также их уже устанавливали на слушании по делу типографа, издавшего версию «Matri Puja» — пьесы, которую Маканда превратил в ятру. Автор пьесы, Кунджа Бехари Гангули, бежал, так что суду пришлось удовлетвориться присуждением типографу штрафа в 200 рупий и прослушиванием лекции о мифологии и аллегории от Манматхи Натхи Рудры, бенгальского библиотекаря и составителя каталогов. Он подтвердил, что пьеса была «очевидной бунтарской аллегорией текущей политической ситуации в стране»[1]. На первый взгляд в пьесе не было ничего, кроме изложения древнего мифа, но Рудра заверил суд, что в ней легко увидеть комментарий к последним событиям:

> Пьеса основывается на истории Чанди из Маркандея-пураны. Дайтьи (великаны, населяющие нижний мир, сейчас обычно выступающие в роли демонов) под предводительством своих вождей Сумбху и Нисумбху силой захватили небесные владения дэвов (богов) и жестоко правили ими. Дэвы, числом триста тридцать миллионов, обычно разобщенные и испытывающие зависть друг к другу, столкнувшись с притеснениями захватчиков, наконец смогли объединиться и при помощи богини Чанди (матери всего мира), которая сама явилась на поле боя, оскорбленная правителями дайтьев, победили великанов и вернули себе свои владения.
>
> Политические события, освещаемые в пьесе, таковы.
>
> 1. Предполагаемая попытка властей заглушить клич Банде Матрам и то, что называют поклонением матери-родине.
> 2. Отказ жителей восточной Бенгалии выказать гостеприимство сэру Бамфилду Фуллеру.
> 3. Желание аристократии потакать правительству, которое в пьесе высмеивают.
> 4. Голод.

1. P/8153, pro. nos. 110–17.

5. Бойкот манчестерских товаров.
6. Наказание и порка студентов, выставленные как тираническое и неоправданное преследование.
7. Стойкость студентов во время текущих волнений.
8. Визит Его Высочества принца Уэльского в Индию и выраженное им по возвращении в Англию желание, чтобы к местным людям относились более снисходительно. Правитель дайтьев, показанный добрым монархом, искренне желающим справедливо править своими подданными, сожалеет, что отверг совет своего сына по просьбе советников, группы писашей (демонов), которые заставляют слабых и нуждающихся лить слезы, чтобы они могли увеличивать свою власть.
9. Негодование женщин Бенгалии.

Генеральный адвокат Бенгалии дополнил эту интерпретацию, процитировав газетные отзывы, связывающие пьесу с последними событиями. Он продемонстрировал, что имена предводителей дэвов были акронимами имен ведущих политиков-националистов, а в главном антагонисте пьесы, Крурджане, однозначно угадывался вице-король лорд Керзона. Почти два года спустя британским властям наконец удалось изловить Гангули, автора пьесы, он получил довольно мягкое наказание в виде одного года тюрьмы, так как признал свою вину. Он также утверждал, что получил 400 рупий от Маканды за право исполнять свое произведение[1].

Представления Маканды оживляли текст перед довольно простой публикой в сельской местности. Обвинивший его судья пренебрежительно ответил, что актер умеет недурно обращаться со словами: «Обвиняемый, хоть и происходит из низов общества, обладает неплохими познаниями в литературе, что

1. P/8431, pro. nos. 60–65.

обычно несвойственно представителям его класса. Он, по крайней мере, может написать свое имя на английском языке и является составителем песенника»[1]. А окружные офицеры, несмотря на свою враждебность, свидетельствовали об умении Маканды трогать души туземцев. «Масштаб причиненного им ущерба соразмерен популярности его представлений, а в ней не приходится сомневаться». Кажется, Маканда обладал выдающимся талантом как исполнитель и режиссер ятр, что требовало умения импровизировать, играть, петь и исполнять пантомиму. В его обработке текст Гангули превратился в своего рода водевиль. Маканда превратил индийского заместителя судьи, коллаборациониста, того самого «Заместителя Бабу» из «Песни белой крысы», в объект шуток, комика и добавлял, когда считал нужным, оскорбительные ремарки в адрес британцев — от вице-короля до местных окружных офицеров. Пока Маканда импровизировал, другие актеры подстраивались под него, часто переходя на пение. «В одном случае, — рапортует окружной офицер, — в его представлении был изображен сам император, которого оскорбляла и унижала группа людей, изображающая индийский народ»:

> Хотя обычно труппа выступала в деревнях, иногда они играли перед более высокопоставленными индийцами и адаптировали свою постановку к случаю. В Манакхаре актеры устроили представление в доме брахмана перед статуей богини Кали. В другом частном доме они исполняли песни о свадеши перед группой известных националистов, включая Асвини Кумара Датта, который «со слезами на глазах обнял его [Маканду], и все собрание прокричало «Банде Матарам». Некоторые представления были в первую очередь концертами, другие служили развлечением

1. Эта и следующие цитаты взяты из протокола суда: P/8153, pro. nos. 112–31.

на собраниях националистов. Маканда повсюду возбуждал чувства публики «Песней белой крысы», «своим самым известным и самым скандальным произведением», согласно докладам агентов ИГС. В округе он был известен как «свадеши ятравалла».

Когда в ноябре 1908 года Маканда закончил гастроли и вернулся домой в Бакарганж, его задержала полиция. Они обыскали территорию дома и лодку, обнаружив огромное количество инкриминирующих доказательств: «либретто» «Matri Puja», песенники, счетную книгу, показывающую, что Маканда сколотил небольшое состояние в 300 рупий за 168 представлений, переписку с Асвини Кумаром Даттом, которая давала понять, что ятры относились к обширной кампании, запущенной цитаделью Асвини — Институтом Браджа Мохан в Барисале.

Институт Браджа Мохан был одновременно школой и своего рода самити, основной базой националистов. С точки зрения ИГС, внимательно следящей за его деятельностью, это была «революционная организация, созданная и подготовленная для восстания против британских властей»[1]. У института было 159 отделений в восточной Бенгалии, а его владелец Асвини Кумар Датт имел связи с самыми известными лидерами националистов, в особенности с Тилаком. Давая мальчикам основное образование, в институте их учили обращению с латхи (традиционной боевой дубинкой с металлическим наконечником) и распространению информации о свадеши. Представители института сопровождали осужденных публицистов на пути в тюрьму и обратно, после их освобождения, выкрикивая «Банде Матарам», они продвигали идею бойкота британских товаров, сжигая импортные ткани, во время религиозных фестивалей (мэлов) проповедовали

1. P/8153, pro. no. 142.

паломникам, во время демонстраций привязывали ракхи (красную нить) на руки людей как символ крови, которую придется пролить за независимость. Представители института убеждали брахманов отказывать в религиозных церемониях местным сановникам, сотрудничающим с британскими властями, и, кроме того, пытались навязать участие в свадеши, мотивируя цирюльников, прачек и даже проституток отказываться обслуживать тех, кто не принимал бойкот. И все это сопровождалось националистическими песнями, в особенности написанными Макандой[1].

Рапорты об этой деятельности, составленные нервными окружными офицерами, не стоит понимать буквально. Они не доказывают, что Индия была готова взорваться, а просто объясняют контекст выступлений Маканды и то, как его песни соотносились с окружающей культурой. Сами песни исходили непосредственно из Института Браджа Мохан, дающего Маканде пристанище. Один из учителей, Бхабараджан Мазумдар, включил «Песню белой крысы» наряду с некоторыми другими в песенник «Deser Gan», который издал в Барисале. У него было три издания, последнее — тиражом в 1000 экземпляров, и ученики разносили их по домам вместе с националистическими памфлетами, которые тоже печатал Мазумдар. Полиция отследила эти публикации, и учитель был приговорен к восемнадцати месяцам тюрьмы во время слушания, на котором привычно велись споры о языке и пуранической мифологии[2]. Маканда выпустил свой песенник «Matri Puja Gan» в то же время и у того же типографа. В нем было пятьдесят три песни, многие из которых, как и «Песня белой крысы», были взяты из либретто, написанного для ятра на основе пьесы Гангали. Обвинитель сделал песенник основным объектом рассмотрения первого

1. Ibid., похожие сообщения агентов Индийской гражданской службы см.: P/8153, pro. nos. 135–47.
2. P/8153, pro. nos. 112, 115, and 142.

из двух слушаний о подстрекательстве к мятежу по делу Маканды. Он заказал перевод всех пятидесяти трех песен и сосредоточился на четырех из них, стараясь доказать через анализ текста, что обвиняемый побуждал людей к бунту, публикуя революционные тексты. После подробного обсуждения дайтьев и дэвов судья объявил неизбежный вердикт: виновен согласно разделу 124А. Он приговорил Маканду к году тюрьмы, к которому добавил еще два после второго слушания, касающегося разъездов ятров.

Маканда получил срок вдвое длиннее за пение, а не только за публикацию текстов песен, что свидетельствует о важности устной передачи информации в обществе с низким процентом грамотного населения. Но процесс коммуникации требовал большего, чем простое переложение печатного текста для устной передачи: зрители Маканды воспринимали культуру как представление. Чтобы его сообщение было услышано, нужно было исполнить его и украсить дополняющими жестами и песнями. Так ятры, которые он создавал, разносили сообщение о свадеши куда дальше, чем могла печать. Эффективность этого способа признал судья, объявляя приговор Маканде: «Не может быть никаких сомнений, что вред, причиненный обвиняемым, когда он вторгался в отдаленные деревни со своей мерзкой пропагандой, бесконечно превышает ущерб, нанесенный публикацией его книги». Нужно уточнить, что, хотя ятры были особенностью Бенгалии, народный театр по всей Индии был такой же угрозой для властей. На другом конце субконтинента секретарь правительства Бомбея предупреждал правительство Индии:

> Сильно возросло число пьес мятежного духа, исполняемых перед большими группами зрителей во всех крупных центрах скопления населения... Эффект от этих пьес еще пагубнее, чем от бунтарской прессы, так как они

> достигают людей, не читающих газеты, а чувства легче возбудить тем, что разыгрывают на сцене, чем тем, что можно лишь прочитать самому[1].

И все же мир печати обладал властью, так как мог быть основой для других форм коммуникации. Возьмем историю «Песни белой крысы»: она распространилась среди населения через представления и песенники и сочетала санскритскую литературу с последними событиями. Столкнувшись с такой сложной культурой, ИГС чувствовала угрозу, а суды пребывали в замешательстве. Но британцы обладали монополией на власть: они могли заполучить нужного человека и отправить его под суд.

1. P/8430, pro. no. 103.

Основное противоречие

Чем же в конечном счете занимались суды Британской Индии? Конечно, цензурой, потому что британцы использовали эти разбирательства как способ сдерживания и подавления. Но они могли бы бросать типографов и авторов в тюрьмы, не проводя сложные юридические ритуалы. Вместо этого они старались доказать вину подсудимых, то есть продемонстрировать справедливость своей власти туземцам и в первую очередь самим себе. Если Британская Индия перестала бы быть связана с властью закона, ее бы стали воспринимать как место, где правит сила. Если судьи не отстаивали бы свободу печати, их сочли бы агентами тирании. И все же нельзя было позволить индийцам ту же степень свободы слова, которую получали англичане в метрополии. Так что суды трактовали «чувство враждебности» как «недовольство», а «недовольство» как «призывы к мятежу», легко переходя от одной идиомы к другой, когда в этом возникала нужда. Не имело значения, что иногда индийцы побеждают в этой игре, потому что у британцев оставалось абсолютное решение — сила. Они не притесняли и не бросали людей в тюрьмы в больших количествах. В основном власти оставались верны форме, держались за здравый смысл и старались обойти противоречия. Но сам либеральный империализм был источником таких противоречий, и служащие Британской Индии прибегали ко все более сложным церемониям, чтобы не замечать этого.

ЧАСТЬ

III

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ВОСТОЧНАЯ ГЕРМАНИЯ: ПЛАНИРОВАНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Клара-Цеткин-штрассе, дом 90, Восточный Берлин, 8 июля 1990 года, семь месяцев после падения Берлинской стены, четыре месяца до объединения Германии. Вход слева, мимо поста вахтера, два лестничных пролета вверх, вперед по полутемному коридору, дверь без номера, за ней — отдел художественной литературы ГДР. Я оказался в сосредоточии власти над литературой Германской Демократической Республики — кабинете цензоров. Я едва мог поверить в случившееся. После долгих лет изучения цензуры в далеких странах и прошедших эпохах я должен был встретиться с двумя живыми цензорами, которые согласились поговорить со мной.

Местные информанты

Разговор начали осторожно. Ганс-Юрген Везенер и Кристина Хорн никогда не встречали американца. Еще несколько недель назад они никогда не были в Западном Берлине, который находился всего в сотне ярдов от их конторы, по другую сторону стены. Оба были преданными членами восточногерманской коммунистической партии и заслуженными работниками государственного механизма, заставляющего книги следовать ее генеральной линии. Цензоры согласились рассказать о своей работе, потому что наш общий друг, издатель из Лейпцига, заверил их, что я не веду охоту на ведьм. Мне просто хотелось узнать, как они выполняли свою работу. Будучи стипендиатом Берлинского научного колледжа, я целый год наблюдал за коллапсом ГДР и опрашивал жителей Восточной Германии, которых он затронул. К июню 1990-го я уже научился дипломатично задавать вопросы и недоверчиво оценивать ответы. Ведь, хотя с режимом так или иначе сотрудничали все, никто не хотел показаться сталинистом[1].

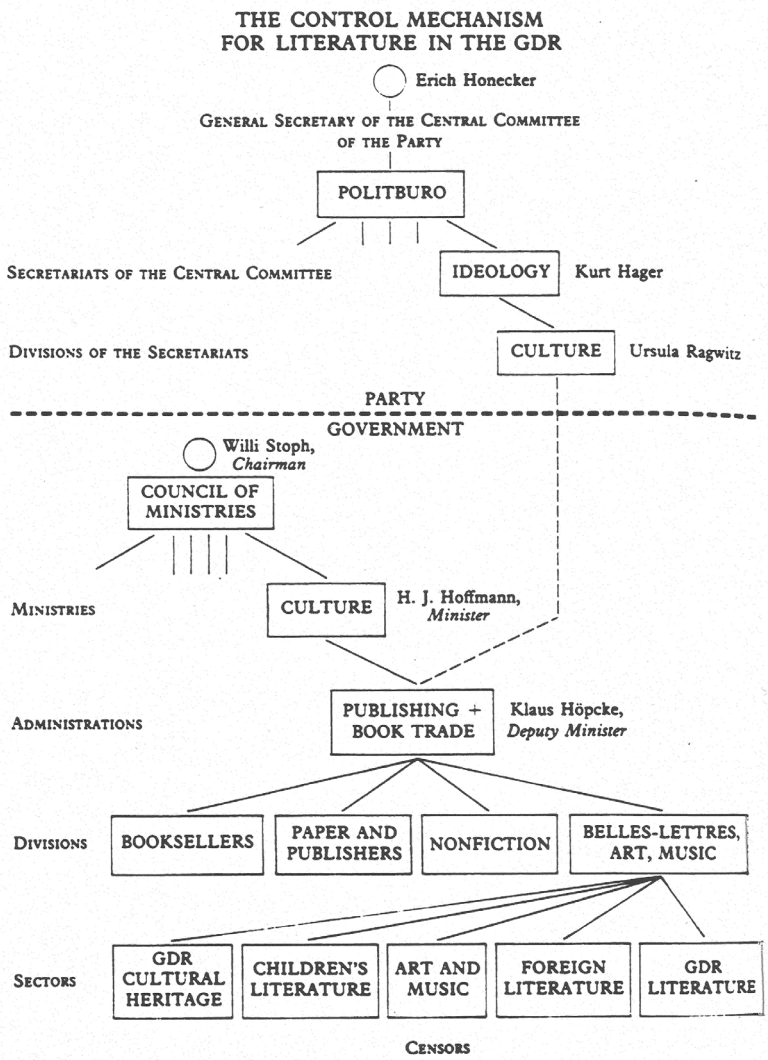
1. Я опубликовал свои впечатления от падения Берлинской стены и коллапса Восточной Германии в: Berlin Journal, 1989–1990 (New York, 1991). Part 3, 193–217; эта публикация включает мои интервью с цензорами и рапорты о писателях и литературных учреждениях. Ранняя версия интервью с цензорами была помещена в: «Aus der Sicht des Zensors: Von der Überwachung der Literatur» // Lettre Internationale 3, no. 10 (Autumn 1990), 6–9. На страницах этой книги я буду называть Германскую Демократическую Республику аббревиатурой ГДР, а Федеративную Республику Германии — ФРГ. Поскольку она была

Я сидел в серой душной комнате, обставленной в узнаваемом стиле ГДР: ламинированные столы, пластиковые стулья, линолеум на полу, гирлянды искусственных фруктов на стене, ряд предметов, сделанных из неопознанного, но безошибочно узнаваемого материала, известного жителям Восточной Германии как «Plaste und Elaste»[1]. Герр Везенер налил нам кофе. После болтовни ни о чем мы начали осторожно приближаться к теме цензуры, щекотливому вопросу, ведь официально цензуры в ГДР не существовало. Она была запрещена конституцией, гарантировавшей свободу слова. Фрау Хорн заметила, что они не любят употреблять это слово. Оно звучит слишком негативно. Их организация на самом деле называлась «Главная администрация печати и торговли книгами» (*Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel,* в дальнейшем я буду называть ее ГАП), а их основной задачей, как они ее понимали, было обеспечение издания литературы, то есть надзор за процессом, в ходе которого идеи становятся книгами, а книги доходят до читателей. В начале 1960-х герр Везенер и фрау Хорн закончили обучение в Университете имени Гумбольдта с учеными степенями по германской литературе. Они получили работу в Министерстве культуры и вскоре были назначены в ГАП, где поднимались по карьерной лестнице в секторах зарубежной и восточногерманской литературы.

Мне потребовалось некоторое время, чтобы разобраться в устройстве местной бюрократии, потому что сначала я видел только коридоры и одинаковые закрытые двери коричневого цвета, на которых не было

насильственно объединена с Социал-демократической партией Германии в 1946 году, коммунистическая партия стала называться Социалистической единой партией Германии (*Sozialistische Einheitspartei Deutschlands,* или *SED*). В книге я буду называть ее коммунистической партией, иногда используя аббревиатуру СЕПГ.

1. См.: *Theodor Constantin*. Plaste und Elaste: Ein deutsch-deutsches Wörterbuch (Berlin, 1988), 27 и 67.



Ил. 7. Диаграмма, показывающая взаимоотношения органов власти, осуществляющих контроль над восточногерманской литературой, как в правительстве, так и в коммунистической партии (СЕПГ). Цензоры работали в организации под названием Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel (Главная администрация печати и торговли книгами, или, кратко, ГАП).

ничего, кроме номера. Отдел художественной литературы ГДР находился в комнате 215, до которой нужно было пройти мимо сорока дверей по переходам горчичного цвета, которые тянулись, кажется, бесконечно, огибая внутренний двор. На самом деле бюрократия была разделена на иерархические сегменты: сектора, отделы, администрации и министерства под властью Совета министров во главе правительства. А вся эта структура подчинялась коммунистической партии (формально Социалистической единой партии Германии, или СЕПГ — *Sozialistische Einheitspartei Deutschlands*, образовавшейся при объединении коммунистической и социал-демократической партий в 1946 году). Партия, по советской модели, была отдельной организацией с собственной иерархией: отделы объединялись под властью секретариатов Центрального комитета (ЦК) и в конечном итоге Политбюро, возглавляемого Эрихом Хонеккером, верховным правителем ГДР.

Как все это работало, мне вскоре объяснили. Когда я приехал в первый раз, герр Везенер и фрау Хорн всеми силами старались показать, что они образованные люди, такие же, как я, а не безликие бюрократы, уж тем более не сталинисты. Как они объяснили, руководители учреждения иногда назначались извне. Возглавлять отдел мог директор издательского дома, редактор журнала или председатель Союза писателей. Контроль над литературой был запутанной системой, порождавшей множество институций, перетекавших друг в друга. Мои собеседники могли ожидать перевода в какой-то журнал или издательство, потому что все контролировала коммунистическая партия, а они были верными ее членами.

Конечно, у верности всегда есть границы. И герр Везенер, и фрау Хорн присоединились к массовой демонстрации 4 ноября 1989 года, которая ускорила коллапс Политбюро и разрушение Стены. Они воспринимали себя сторонниками реформаторов внутри партии

и даже писателей-диссидентов, таких как Кристоф Хайн и Фолькер Браун, чьи работы цензурировали. Оба цензора предпочитали «социализм с человеческим лицом», «третий путь», отличный от американского или советского образа жизни. Но они *сожалели* о падении Стены.

Я понял, что это самоописание — во многом попытка оправдаться. Никто не хотел выглядеть аппаратчиком в тот недолгий период, на который Восточная Германия застыла между двумя режимами. С распадом коммунистического государства цензура перестала существовать, но цензоры продолжали приходить на работу, которой больше не было. Функционеры без функции, они сидели в кабинетах, размышляя о своей судьбе, пока их не смела новая бюрократия объединенной Германии. Я понимал, насколько неловко они себя чувствуют и как хотят объясниться перед незнакомцем, который явился как будто из открытого космоса. Но почему они защищали Стену?

Ответ герр Везенер поразил меня: по его мнению, именно Стена помогла превратить ГДР в *Leseland*, страну читателей. Она сдерживала разлагающее влияние культуры потребления. Как только в ней появились бреши, через них, грозя затопить Восточную Германию, хлынул шлак — эротические книги, рекламные проспекты, бульварные романы. Шлак шел с Запада. Как считал герр Везенер, это был основной литературный продукт по ту сторону Стены, потому что там тоже была цензура: ее навязывала власть рынка.

Уже знакомый с разными марксистскими взглядами на эту тему, я не стал спорить. Вместо этого я попросил герра Везенера рассказать, как он воспринимал свою задачу. Он признал, что занимался цензурой, хотя ему и не нравилось это слово. Чем же тогда он занимался? «Планированием», — коротко ответил герр Везнер. При социализме, объяснил он, литература, как и все остальное, следовала плану. Чтобы наглядно

продемонстрировать это, герр Везенер открыл ящик стола и протянул мне удивительный документ под названием «Тематический план на 1990 год: литература ГДР» («Themenplan 1990. Literatur der DDR»).

На 78 страницах была перечислена вся художественная литература, которая должна была выйти в 1990 году, который для Восточной Германии так и не наступил. Так как герр Везенер разрешил мне оставить себе копию плана, я смог подробно его изучить. К моему удивлению, он был написан сухим деловым языком. Все планируемые к изданию книги были перечислены в алфавитном порядке согласно фамилиям авторов. В каждой записи указывалось название работы, издательство, предполагаемый тираж, жанр или книжная серия, в которой она должна была выйти, и краткое описание содержания.

Прочитав эти заметки, я начал подозревать, что в литературе ГДР было больше шлака, чем хотел признавать герр Везенер. В годовой план из 202 книг (художественная литература и беллетристка, не считая переизданий ранее опубликованных работ) было включено множество любовных, исторических и военных романов, детективов, приключенческой литературы и научной фантастики. Разумеется, не читая эти работы, невозможно оценить их художественную ценность, а прочесть не представлялось возможным, потому что большинство кануло в Лету вместе с цензурой в самом начале года. Но аннотации в один абзац, сопровождающие каждый пункт плана, наводили на мысль о каком-то социалистическом китче. Например, «Last der Nähe» («Груз близости») Эрики Пашке:

> Пока Инна Шейдт путешествует по разным странам, делая карьеру переводчика, ее мать и семнадцатилетняя дочь испытывают все большее недовольство, вынужденные одни приглядывать за хозяйством. Однажды Инна приводит с собой мужчину, и напряжение в отношениях

T h e m e n p l a n 1 9 9 0

Literatur der DDR

I. N e u e W e r k e

Irmgard A b e
Oben links, wo die Schürze winkt

Eulenspiegel Verlag
15 000
Geschichten / cell.Papp.

In diesem neuen Geschichtenbuch der Autorin begegnet der Leser alten Bekannten wieder wie Herrn und Frau Weise, Walter und allen jenen, deren Lebensglück durch Mißverständnisse verhindert oder gefördert wird.

Sonja A n d e r s
Zwischen Himmel und Hölle (AT)

Buchverlag Der Morgen
15 000
Lebensbericht

Sonja Anders, 32 Jahre alt, verheiratet, Mutter von zwei Kindern, wird mit schweren Entzugserscheinungen in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Doch die diagnostizierte Alkohol- und Tablettenabhängigkeit ist nur ein Symptom, ist Ausdruck einer Beziehungsstörung zu sich selbst, zu ihrer Mutter, zu anderen Menschen, zum Leben.

Gunter A n t r a k
Zwei Mörder (AT)

Das Neue Berlin
100 000
Krimi / DIE-Reihe

Ein Mord ist geschehen. Die Fahndung der K hat schnell Erfolg. Der Mörder gesteht. Da meldet sich ein alter Mann und behauptet, er sei der Mörder. Oberleutnant Dirksen und seinem Team scheint es unmöglich, nur einem der beiden die Tat zu beweisen. Neben der Ermittlungshandlung werden Hintergründe für Fehlverhalten deutlich gemacht.

Ingeborg A r l t
Um der Liebe willen

Aufbau-Verlag
15 000

In dem sorgfältig recherchierten zweiten Buch der Autorin, dessen Handlung im Dreißigjährigen Krieg spielt, ist die Historie nicht Zierrat, sondern Fundament, um das Wesentliche - wie Menschen miteinander umgehen - zu begreifen.

Edmund A u e
Reise zum Dalmatinischen Archipel

Militärverlag
10 000
Tagebuch-Erz.

Ein Mann reist an die Adriaküste, um das Grab seines Vaters zu suchen. Unvermutet wird er mit der Vergangenheit konfrontiert, hat Begegnungen mit Menschen, die seinen Vater gekannt haben, erfährt, daß dieser als Partisan an der Seite jugoslawischer Genossen gekämpft hat.

Ил. 8. План всей восточногерманской литературы, которая должна была быть опубликована в 1990 году.

трех женщин становится очевидным. Мужчина осознает, что Инна одержима внешними ценностями, и отворачивается от нее. В этом, как и в других своих романах, автор затрагивает этические проблемы совместной жизни с другими людьми. Она противопоставляет ценность человека и взаимное уважение невозможности понять друг друга.

Подозрительно напоминает мыльную оперу, уж точно не соцреализм или суровое чтиво, которое можно было бы ожидать от «страны рабочих и крестьян». Но Восточную Германию называли еще и Nischengesellschaft, страной ниш, где люди замыкались в частной жизни и узких сферах деятельности. Поэтому роман, рассуждающий о морали в личных отношениях, мог показаться вполне приемлемым составителям литературного плана, особенно если он предостерегал читателей от путешествий, то есть столкновения с западными искушениями. Пока составлялся план, тысячи жителей ГДР бежали в Западную Германию и все население проводило вечера за просмотром телевидения ФРГ. Так что, наверное, нет ничего удивительного в том, что некоторые из вошедших в план романов помещают семейные драмы в контекст взаимоотношений между двумя Германиями. Книга «Irgendwo in Europa» («Где-то в Европе») Вольфгана Кроэберга должна была затронуть «текущую проблему: почему люди бегут из своей страны?». «Trennungszeichen» («Признаки разделения») Курта Новака должны были проследить за историей семьи по обе стороны немецко-немецкой границы, подчеркивая преимущества жизни на Востоке. А «Späte Post» («Поздняя почта») Лотара Гюнтера призвана была показать героический выбор молодого рабочего между повесткой в армию и предложением отца переехать к нему на Запад, одновременно пришедшими по почте.

Хотя в нем было немного совсем уж зубодробительной пропаганды, план твердо придерживался политкорректности в восточногерманском духе. Когда любовники

Abt. Belletristik, Kunst-
und Musikliteratur

Berlin, den 30. Mai 1988
V e r t r a u l i c h

Themenpleneinschätzung 1989

Literatur der DDR

Auf der Grundlage der Orientierungen des XI. Parteitages sowie in Auswertung der Beratungsergebnisse des X. Schriftstellerkongresses der DDR ist die Zusammenarbeit von Autoren und Verlagen auf neue literarische Werke gerichtet, die zur Verständigung über Hauptfragen gegenwärtigen Lebens beitragen, die für die Stärkung des Sozialismus und die Sicherung des Friedens wirken.

Mit einem Planangebot von 625 Titeln in 11.508.950 Expl. (255 EA / 4.991.100 Expl.; 370 NA / 6.617.850 Expl.) werden von den Verlagen alle Möglichkeiten für die Herausgabe von DDR-Literatur wahrgenommen.

Plan 1988: 559 Titel in 10.444.000 Expl.
203 EA / 4.460.000 Expl.
356 NA / 5.984.000 Expl.

Das Planangebot für 1989 wird bestimmt durch Titel, die anläßlich des 40. Jahrestages der Gründung der DDR Geschichte und Gegenwart des ersten sozialistischen deutschen Staates in vielfältigen literarischen Formen widerspiegeln. Daran sind eine Reihe namhafter Autoren beteiligt. Zugleich ist wie bereits im Vorjahr festzustellen, daß immer mehr Autoren der mittleren und jüngeren Schriftstellergeneration das Planangebot bestimmen und einen wesentlichen Beitrag zur Literatur der DDR leisten.
Unter thematischen und literarischen Gesichtspunkten werden Erwartungen gesetzt insbesondere in folgende Vorhaben:

Ил. 9. Идеологический отчет о плане по литературе в 1989 году. Частная копия.

целовали друг друга, они отдавали дань более глубоким личным отношениям в обществе, свободном от потребительских предубеждений. Когда индейцы в Дакоте или Амазонии сражались против захватчиков, они наносили удар империализму. Сама борьба всегда была подчеркнуто антифашистской, даже в научной фантастике. «Die Bedrohung» («Угроза») Арне Сьёберга рассказывала о свержении «фюрера», захватившего власть на планете Пальмира, запустив ложный сигнал о грядущей катастрофе. А детективные истории предоставляли возможность разоблачить болезненность капиталистического общества. Например, «Das Flüstern eines Kleides» («Шепот платья») Вольфгана Корта описывал во всех подробностях криминальный мир Америки, чтобы обнажить «пустоту во взаимоотношениях между полами, ужасы повседневной жизни, жажду мести, алчность, спекуляцию наследством и несбывшиеся надежды».

Все это имело подтекст, а точнее — целый текст, «Themenplaneinschätzung», или идеологический рапорт о плане, который вместе с ним отправлялся в ЦК коммунистической партии, чтобы получить одобрение людей на вершине власти. Этот документ столь же интересен, как и сам план, так что я особенно благодарен герру Везенеру за то, что он достал из другого ящика копию с пометкой «конфиденциально».

Этот рапорт был одобрен ЦК в середине 1988 года и касался плана на 1989 год, последний для литературы Восточной Германии. В нем можно увидеть, как цензоры представляют набор книг на следующий год верхушке коммунистической партии, и почувствовать узнаваемый привкус государственной бюрократии. Везде развивался социализм, все указывало вверх и вперед, производство росло: было запланировано издание 625 работ общим объемом 11 508 950 копий, что показывало существенное улучшение по сравнению с предыдущим планом (где насчитывалось 559 работ и 10 444 000 копий).

1989 год должен был стать годом торжественного празднования сорокалетия социализма в Восточной Германии. Поэтому в литературе в первую очередь требовалось освещать прошлое и будущее ГДР, как их определял товарищ Эрих Хонеккер: «Наша партия и наш народ играют выдающуюся роль в революционной и гуманистической традиции столетий борьбы за социальный прогресс, свободу, права и ценности человечества». Итак, используя столь же восторженные выражения преданности ГДР, рапорт описывал основные темы плана. Например, там подчеркивалось, что годовой объем исторических романов будет проникнут духом «страстного антифашизма», а работы, чье действие происходит в современности, будут следовать принципам соцреализма и прославлять «историческую миссию рабочего класса в борьбе за социальный прогресс». Авторы плана признавали, что не смогли набрать достаточное количество историй о рабочих с фабрик и водителях тракторов, но они собирались компенсировать этот недочет публикацией антологий более ранних произведений о пролетариате. В рапорте нет ни малейшего следа несогласия. Наоборот, он создавал впечатление, что авторы, издатели и чиновники — все вместе дергают рычаги, толкающие литературу к новым высотам, тогда как вся система готова была обрушиться.

Странно было читать это выражение чистой идеологии и слаженной работы учреждений режима, потерпевшего крах. Были ли все эти бумаги просто плодом воображения аппаратчиков, призванным лишь заполнить папки бюрократов, никак не связанным с настоящим впечатлением от литературы у обычных жителей Восточной Германии?

Герр Везенер и фрау Хорн заверяли меня, что план действительно определял производство и потребление книг в ГДР. Потом они объяснили каждый этап работы системы, долгого и сложного процесса, подразумевающего постоянные переговоры и венчающегося

решением их конторы с согласия ЦК коммунистической партии. Насколько предвзятыми были их описания, я не мог судить, потому что тогда еще не имел доступа к другим источникам. Поэтому я старался слушать, делая скидку на их восприятие системы — взгляд сверху, из ГАП.

Основная установка исходила из линии партии, заданной проходящими раз в пять лет заседаниями СЕПГ с Эрихом Хонеккером, генеральным секретарем партии, который работал в тесном сотрудничестве с Куртом Хагером, членом Политбюро, ответственным за идеологию. Она передавалась от партийных лидеров по иерархической цепочке внутри правительства. Хонеккер и Хагер иногда лично вмешивались в дела литературы, но большинство директив исходило от «*Kultur*», как называли цензоры отдел культуры ЦК партии, и передавались в ГАП Министерством культуры. ГАП состояла из четырех отделов. Один занимался экономическим измерением литературы: распределением бумаги, печатными производствами, субсидиями и ценообразованием. Второй осуществлял общий надзор за издательствами и книжными магазинами. Цензурой, в строгом смысле (как мы увидим дальше, она принимала множество форм, кроме исправлений в текстах), занимались два оставшихся отдела, один, ответственный за художественную, второй — за не художественную литературу. Первый был разделен на пять секторов, один из которых имел дело с современной восточногерманской литературой. Им управляла фрау Хорн, работавшая с пятью другими специалистами (*Mitarbeiter*). Герр Везенер занимал такое же положение в секторе, занимающемся зарубежной литературой.

Книги создавались по-разному. Некоторые, конечно, задумывались по вдохновению автора, но большинство было запланировано во время обсуждений с редактором. В 1980-х годах в ГДР было семьдесят восемь

издательств[1]. Теоретически они считались независимыми организациями и состояли на самообеспечении. На практике они редактировали тексты и составляли списки в согласии с линией партии, используя все возможности «Spielraum» — пространства для маневров в гибкой системе человеческих взаимоотношений, где можно было обойти ограничения властных структур. Директора и главные редакторы издательств назначались партией и часто были представителями номенклатуры, то есть партийной элиты. Но авторы нередко завязывали связи с конкретными издательствами и заводили дружбу с редакторами. Если автору или редактору приходила в голову идея книги, они вместе прорабатывали ее и отправляли запрос от издательства в ГАП на Клара-Цеткин-штрассе, где сотрудники сокращали его до каталожной карточки.

У герра Везенера в документах были тысячи таких карточек. Он вынул одну, напечатанный на дешевой серой бумаге бланк с двадцатью одной графой: автор, издательство, название, предполагаемый тираж и т. д. Один из его подчиненных вписал информацию, а сзади набросал несколько слов об общем содержании книги — переводе поэтического сборника чешского поэта Любомира Фельдека, который предполагалось издать в 1990 году:

> Своими ироничными и емкими стихотворениями автор заслужил славу за пределами пространства чешского языка. Это внимательный наблюдатель за социальными процессами, которые он оценивает, не теряя твердости взглядов. Это будет первое его издание в ГДР.

Как только набирался годовой объем дел и каталожных карточек, контора начинала составлять план. Глава каждого сектора ГАП собирал из представителей Союза

1. Издательства перечислены в официальном справочнике ГДР: Verlage der Deutschen Demokratischen Republik (Leipzig, 1988).

писателей (*Schriftstellerverband*), издательств, книжных магазинов, библиотек, университетов и министерства культуры комитет, который в секторе художественной литературы был известен как «литературная рабочая группа, или ЛРГ» (*Literaturarbeitsgemeinschaft*). ЛРГ рассматривала каждый запрос подобно тому, как в издательствах на Западе работает редакторская коллегия, но занимаясь всеми сегментами литературной индустрии и уделяя особое внимание идеологическим вопросам. Вернувшись в свои кабинеты, герр Везенер и фрау Хорн вносили решения и общие соображения ЛРГ в графы плана. Сам план был важным засекреченным документом (я был очень удивлен, когда узнал, что никто из моих восточногерманских друзей не знал о его существовании). Прежде чем публиковать какую-то книгу, требовалось получить одобрение партии. План требовалось составлять со всем возможным усердием, с обсуждениями и взаимной критикой между специалистами всех секторов ГАП. За окончательное решение нес ответственность глава ГАП Клаус Хёпке, подчинявшийся министру культуры. Он должен был представить план аппаратчикам из «*Kultur*» и любым представителям партии, заканчивая самим Хонеккером, которых могла задеть какая-то из предполагаемых публикаций.

«*Kultur*», как описывали герр Везенер и фрау Хорн, состоял из пятнадцати прожженных идеологов во главе с железной леди Урсулой Рагвитц. Раз в год Хёпке приносил планы каждого из своих секторов, маршировал в «*Kultur*» и вступал в битву с фрау Рагвитц. Цензоры не могли сказать мне, насколько кровавыми были эти столкновения. Они знали только, что Хёпке возвращался с решениями, всегда устными и никогда не сопровождающимися объяснением: Стефан Хейм не входит в список на следующий год, Фалькер Браун входит, но только в 10 000 копиях, Криста Вольф остается, но в виде переиздания работы, которая появилась с согласия ГДР в Западной Германии в прошлом году.

Герр Везенер и фрау Хорн должны были передавать эти решения издателям. «Это было самое сложное, — объяснял герр Везенер, — потому что, если с книгой возникали проблемы, мы никогда не могли объяснить причины. Все, что мы могли сказать, это «Das ist so» — «Так было решено». Однако были способы обойти это решение. Когда ханжи из «*Kultur*» отказались одобрить издание «Доктора Живаго», сотрудники с Клара-Цеткин-штрассе составили рапорт, согласно которому в Западной Германии готовилось к изданию полное собрание сочинений Пастернака. Чтобы защитить рынок ГДР от подпольного импорта, они убедили группу фрау Рагвитц разрешить «Живаго». В плане на художественную литературу ГДР всегда оставляли около сорока незаполненных позиций, чтобы иметь возможность протолкнуть что-то в последний момент и оставить за собой немного «*Spielraum*». Если цензоры предполагали, что книга будет «опасной» (это было условное обозначение для противоречивых работ, отличающее их от «спокойных» произведений), они не вносили ее в план, но могли пытаться включить позднее, не привлекая внимания. Разумеется, всегда требовалось разрешение кого-то из «*Kultur*». И его гораздо проще было получить во время личного общения, чем во время формальных встреч, на которых люди фрау Рагвитц старались перещеголять друг друга в принципиальности, отвергая одну книгу за другой. К тому же, спросил герр Везенер, заметил ли я, что в плане больше наименований переизданий (315), чем новых книг (202)? Туда вписывали самые «опасные» книги — работы восточногерманских авторов, которые были изданы в Западной Германии (обычно при участии самих писателей, несмотря на попытки ГДР пресечь подобные частные инициативы), и произведения, которые наделали шума (но не стали проблемой для цензоров) и могли быть изданы в ГДР, когда страсти улягутся.

Возникало ощущение, что цензоры большую часть времени боролись против цензуры, которую в основном

приписывали своим оппонентами из «*Kultur*». Они объясняли, что научились распознавать некоторые причуды фрау Рагвитц и ее коллег. Поэтому план составлялся так, чтобы польстить определенным людям, не касаясь предмета их «аллергии», например Сталина или загрязнения окружающей среды. Цензоры обычно старались скрыть проблематичные книги среди невинных и обойти проблемные места, используя нейтральные выражения. Хотя идеологи из «*Kultur*» умели раскрывать подобные трюки, даже они не могли с легкостью обнаружить спорные произведения среди сотен описаний сюжетов и обзоров тем.

Если в сектор поступал особенно проблемный запрос, фрау Хорн заполняла графы в плане сама, посоветовавшись с несколькими опытными коллегами. По ее словам, они всегда начинали с вопроса: «Насколько „опасный“ материал мы можем внести в план?» Если книга была слишком провокационной с учетом текущего положения вещей, они откладывали ее на год или два. «Пусть сперва вырастет трава», — говорили цензоры друг другу. Но, объединив усилия, они, как правило, могли придумать формулировку, способную избежать внимания фрау Рагвитц, которая в конечном счете хотела только «спокойствия». Тонкую процедуру «измерения температуры» нельзя было доверить новичкам. Обычно уходило не меньше двух лет, чтобы выучить все ходы, дело цензоров было сложным и требовало опыта. Нужно было обладать навыком, чувством такта и пониманием устройства внутренних каналов бюрократии в обеих системах — в партийном аппарате и государственных структурах.

Я не был готов поверить в героическую роль цензоров в культурной войне, поэтому спросил, приходилось ли моим собеседникам когда-нибудь запрещать тексты. Немного, заверили они. Основная работа цензуры происходила в сознании писателя, а то, что они сами не смогли устранить, позже отфильтровывали

редакторы в издательствах. К тому моменту, как текст добирался до Клара-Цеткин-штрассе, в нем почти нечего было цензурировать. В среднем, рассказывали герр Везенер и фрау Хорн, они отказывали только дюжине примерно из двух сотен рукописей восточногерманской литературы, которые просматривали за год. Формально они не занимались цензурой. Просто отказывались выдавать книге официальное разрешение на печать (*Druckgenehmigung*). Герр Везенер показал мне такое разрешение, небольшой бланк с его подписью внизу. Выглядело не слишком впечатляюще, пока он не объяснил, что только эта бумага могла запустить механизмы печатного производства. Ни одна типография не могла выпустить книгу без разрешения на печать, и практически все они управлялись коммунистической партией.

Но до этого момента рукопись ждал еще долгий путь. Как только заявка на книгу вносилась в план, а план был заверен отделом культуры ЦК партии, по словам фрау Хорн, ей нужно было уведомить издателя, который сообщал об этом автору, чтобы тот закончил работу, — если, конечно, она уже не была написана и нуждалась только в легкой идеологической обработке. После этого издатель посылал текст другому писателю или ученому для критического отзыва и составлял собственный отчет. Ознакомившись с ними, автор мог внести существенные поправки, которые требовали начать новый круг сбора мнений. После этого отзывы отправлялись в ГАП вместе с окончательным текстом книги. Фрау Хорн внимательно проглядывала эти материалы и хранила их в отдельной папке, потому что в случае возникновения проблем высокопоставленный член партии мог потребовать предоставить всю сопутствующую документацию, а это было чревато неприятностями для всех участников процесса. После этого она приступала к цензуре в буквальном смысле — построчной правке законченного текста.

Я спросил, как именно она работала с романом или сборником статьей? Нужно ли было быстро проверить текст по ряду стандартных вопросов или следовать определенному протоколу? Нет, ответила фрау Хорн, но следовало быть внимательным к определенным «чувствительным местам», например неприемлемым терминам вроде «экологии» (табуированного существительного, отсылавшего к колоссальному загрязнению среды государственными производствами ГДР) или «критического» (табуированного прилагательного, наводящего на мысли о диссидентах, о которых следовало молчать). Упоминание сталинизма было настолько немыслимо, что фрау Хорн заменяла в тексте «противника сталинизма» на «несогласного с духом времени». Ей приходилось даже «1930-е годы» скрывать за более безопасной обтекаемой формулировкой «первая половина XX века». Фрау Хорн особенно тщательно относилась к таким темам, как оборона, протестные движения, диссиденты в церкви, и всему, что касалось Советского Союза. Она никогда не пропускала статистические данные о состоянии окружающей среды или провокационные упоминания о Берлинской стене. Но ее уже не беспокоили вопросы преступности и алкоголизма, которые раньше считались щекотливыми и могли быть использованы только в книгах о странах вроде США. Еще десять лет назад все, что касалось Америки, считалось опасной темой. Возникли огромные трудности с тем, чтобы убедить Курта Хагера разрешить публикацию перевода «Над пропастью во ржи», потому что он счел Холдена Колфилда «плохим примером для молодежи ГДР». Но после вступления в должность Горбачева в 1985 году самой чувствительной темой для цензоров стал Советский Союз. Им следовало с особой осторожностью относиться ко всему, помеченному как «SU Lit», как на местном жаргоне называли советскую литературу.

После этого последнего рубежа книга получала разрешение на печать и наконец была готова к выходу.

Однако оставалась еще одна опасность. Мои знакомые восточногерманские издатели могли похвастаться целой подборкой историй об изменениях, внесенных излишне старательными корректорами или злокозненными наборщиками. Самой известной была якобы типографическая ошибка в учебнике по анатомии, которую корректоры умудрялись проглядывать в одном издании за другим в течение многих лет. Она касалась мышцы таза под названием «Glutäus maximus», которое было напечатано как «Glutäus marxismus». Другая история была связана с ошибкой в стихотворении о природе, описывающем группу молодых птиц: «Их головы повернуты к гнезду» («Die Köpfe nestwärts gewandt»). Сознательно или по ошибке наборщик поменял «повернуты к гнезду» (*nestwärts*) на «повернуты к западу» (*westwärts*), а корректор, почуяв неладное, решил прикрыть себя, заменив это на «повернуты к востоку» (*östwärts*).

В цензуре, судя по описанию цензоров, все и всегда могло пойти не так. Как они справлялись с рисками? Если, по их словам, цензоры иногда разрешали довольно «опасные» книги, не боялись ли они рисковать? Герр Везенер объяснил, что в их работе были встроенные защитные механизмы. Если возникали вопросы, цензоры могли оправдать свое решение, предоставив отзывы, полученные от издателей: они снижали степень ответственности, распространяя ее на всех своих коллег, и всегда могли рассчитывать на защиту своего начальника Клауса Хёпке. Они, в свою очередь, были готовы покрыть и его. Так как его бюро было каналом всех книг, публикуемых в ГДР каждый год, оно оказывалось уязвимым для давления и санкций. Если ЦК не нравилось, что происходит в ГАП, им не нужно было наказывать самого Хёпке, хотя ему грозил выговор (*Verweis*) от партии, что могло не лучшим образом сказаться на карьере. Партия могла просто ограничить доступные ему ресурсы, в первую очередь при распределении бумаги. Бумага

в ГДР была дефицитным товаром, и Хёпке приходилось выискивать ее в количестве, достаточном для того, чтобы поддерживать всю книжную индустрию, несмотря на конкуренцию со стороны газет, журналов и других производств. Сочувствуя постоянной борьбе начальника за бумагу, цензоры старались помочь ему, не привлекая внимания и отвлекая от него гнев. В некоторых случаях они даже пропускали опасные тексты, не ставя Хёпке в известность, чтобы он, если возникнут проблемы, мог откреститься от них перед ЦК. Герр Везенер подписал разрешение на печать откровенного романа Кристофа Хайна «Der Tangospieler» («Играющий танго»), не сообщив о своем решении, чтобы его босс мог прибегнуть к тому, что во время Уолтергейтского скандала стали называть правдоподобным отрицанием.

Хёпке выглядел героем в глазах подчиненных. Они описывали его как закаленного бескомпромиссного журналиста, который возглавил ГАП в 1973 году, руководствуясь самыми жуткими идеями о внесении порядка в интеллектуальную жизнь. Но чем больше ему приходилось сражаться с партийной бюрократией, тем больше он сочувствовал независимым авторам. К 1980-м Хёпке превратился в эксперта по протаскиванию провокационных книг через ЦК. Две из них почти стоили ему должности. Роман Гюнтера де Бройна «Neue Herrlichkeit» («Новое величие») вызвал столько негодования у партийной верхушки, что его изъяли из книжных магазинов и пустили на макулатуру, что не помешало переиздать его с благословения Хёпке, как только шум улегся. «Hinze-Kunze-Roman» («Роман о Хинце и Кюнце») Фолькера Брауна привел к еще большему скандалу, потому что описывал отношения малоприятного представителя партийной элиты и его шофера. После разрешения опубликовать его Хёпке постарался облегчить путь романа, позвонив друзьям в прессе с просьбой преуменьшить серьезность нападок на привилегии аппаратчиков в тексте. Он даже сам

написал отзыв. Но ЦК осудил роман как «интеллектуальную бомбу». Хёпке вызвали на ковер и объявили формальный выговор. Однако он умудрился сохранить должность, признав свою вину и не противясь обстоятельствам. А через пару лет в марте 1989 года на заседании восточногерманского Союза писателей он поддержал резолюцию, осуждающую арест в Чехословакии Вацлава Гавела.

Когда я покинул кабинет на Клара-Цеткин-штрассе, у меня не было иллюзий насчет предвзятости полученной мной информации. Не оправдываясь, герр Везенер и фрау Хорн описывали свою работу только в положительном ключе. Цензура, в их понимании, была благом. В некоторых случаях это был даже героизм, рискованная борьба за высокий уровень культуры при строительстве социализма. Хотя я не мог понять, что они думают, я не почувствовал в их описании никакого лицемерия. Мои собеседники казались искренне верующими. Другой вопрос, как соотносилась их вера с действительными свидетельствами работы системы, и я не мог на него ответить, пока не получил доступ в архивы.

В архивах

Выдержки из архивов начали появляться в открытом доступе вскоре после формального объединения двух Германий 3 октября 1990 года. В мае 1991-го в Западном Берлине открылась выставка «Цензура в ГДР». Хотя там была представлена лишь малая часть бумаг ГАП, из нее становилось ясно, что работа на Клара-Цеткин-штрассе вовсе не сводилась к сражению с коммунистической партией. Имя Хёпке фигурирует во многих докладах, документирующих запрещение книг и преследования самых известных писателей Восточной Германии — Кристы Вольф, Штефана Гейма, Эрвина Штриттматтера, Эриха Лёста, Франца Фюмана, Герта Ноймана и Рихарда Питрака. Его отношение к литературе в целом выражено в письме 1978 года, адресованном директору издательства «Hinstorff», с отказом в запросе на издание работ Кьеркегора:

> Если Кьеркегор является частью [нашего культурного] наследия, то в него стоит включить еще Ницше, Шопенгауэра, Клагеса, Фрейда... Кроме того, выбирая, что опубликовать из позднебуржуазной философии, мы должны в первую очередь оценить состояние идеологической классовой борьбы. С нас хватит индивидуалистского подхода к жизни[1].

1. *Ernst Wichner & Herbert Wiesner.* Zensur in der DDR: Geschichte, Praxis und «Ästhetik» der Behinderung von Literatur, ed. Ernest Wichner and Herbert Wiesner (Berlin, 1991), 53.

На выставке также были представлены некоторые нелестные свидетельства касательно тех цензоров, с которыми я беседовал. Например, становилось понятно, что Кристина Хорн начала травлю Герхарда Данэ, писателя и цензора, который возглавлял отдел беллетристики в ГАП. Он вызвал неприязнь коллег рядом неосмотрительных поступков. В 1967 году Данэ написал эссе о западногерманском писателе Генрихе Бёлле, которое другие цензоры сочли настолько идеологически неприемлемым, что запретили к печати. В 1975-м он написал книгу, содержащую отрывки, намекающие на существование в ГДР цензуры. Это было уже слишком, и цензоры осудили Данэ в резолюции, передаваемой внутри их партийной ячейки и подписанной фрау Хорн. А в 1978 году он написал рассказ, который Хёпке счел спорным. Когда начальник посоветовал Данэ не публиковать его, тот отказался. Через год его уволили. Согласно письму министра культуры Ганса-Йоакима Хоффмана, подписанному Хёпке и адресованному Урсуле Рагвитц из «*Kultur*», увольнение Данэ было связано с попыткой ужесточить «политическое направление развития литературы». Фрау Рагвитц вторит этому доводу в своем ответе: Данэ следует заменить членом партии, который «гарантирует эффективное политическое направление развития литературы»[1].

Чтобы лучше понять, как работала система, я должен был лично попасть в архивы. В сентябре 1992 года я еще на год вернулся в Берлин и решил попробовать. Как и во многих других странах, в Германии нельзя предоставлять доступ к документам о недавнем прошлом в течение тридцати лет с момента их написания, но тогда еще мало кто понимал, что делать с огромным количеством неучтенного материала, накопившегося в ящиках и папках чуждой вымершей бюрократии. Архивы коммунистической партии, которые в 1989 году

1. Ibid., 75 и 81.

перешли к ее преемнице, Партии демократического социализма, лежали нетронутыми в самом сердце Берлина, в доме 1 по Тор-штрассе, ранее называемой Вильгельм-Пик-штрассе, в честь первого президента ГДР. Само здание передавало историю Германии. Построенное в 1927–1929 годах еврейской фирмой как универмаг, оно было изъято нацистами и превращено в штаб гитлерюгенда, в 1946-м коммунистическая партия переоборудовала его под кабинеты ЦК, а с 1959 по 1989 год там находился Институт марксизма-ленинизма. Я вошел туда, устроился в читальном зале, обставленном все той же мебелью, которую я видел в кабинете цензоров, и начал заполнять документы. К моему удивлению, вскоре я обнаружил перед собой дела за последние несколько лет. Среди них были доклады, отправленные Куртом Хагером Эриху Хонеккеру с пометкой «Э. Х.» на полях, что означало их получение.

Хагер и Хонеккер обменивались сообщениями обо всем, имевшем хоть какое-то значение. Я понял, что они должны были обсуждать вопросы, касающиеся цензуры, но как найти их следы в архивах? Внутренних документов было так много, что они занимали тысячи папок, расположенных на километрах полок в задних комнатах здания, а единственный доступный каталог определял их только по «бюро» ЦК, хранившему свои бумаги в хронологическом порядке. Я выбрал бюро Хагера и запросил дела, разделенные шестимесячным интервалом, надеясь, что всплывает что-то интересное. Через несколько дней прочесывания обрывочной бюрократической информации я начал отчаиваться. Но наконец мне попался розовый листок, сообщавший, что запрошенные документы были перемещены по причине, которую можно узнать у супервизора читального зала. Супервизор не смог мне ответить, но направил к человеку, занимавшемуся архивами в то время, когда документы создавались и обсуждались в ЦК партии. Набравшись смелости (всего несколько лет назад это

было святилище сталинизма, но что они могли сделать с приезжим американцем теперь, когда холодная война на самом деле подходила к концу?), я спустился на два пролета вниз и прошел по долгому темному коридору к кабинету с нужным номером. Я постучал, готовясь иметь дело с враждебным агентом партии. Но, когда дверь открылась, я с удивлением обнаружил, что меня с улыбкой приветствует молодая женщина, очень привлекательная по стандартам Восточной Германии: светлые волосы зачесаны назад, косметики почти нет, одежда простая, манера держаться открытая и приятная. Она представилась как Сольвейг Нестлер, предложила мне сесть напротив фотографий ее двух белокурых детей и спросила, что я ищу. Я объяснил, что хочу изучить, как в ГДР работала цензура, но почему-то не могу получить доступ к одному делу. Она ответила, что, скорее всего, там содержится информация о чьей-то личной жизни. Но она была готова помочь, если моей целью действительно было изучение системы, а не раздувание скандалов. Фрау Нестлер было известно, где находится весь нужный мне материал, и она готова была его передать, удалив все, что имело компрометирующий характер. Так что в течение многих недель с тех пор я изучал несметное количество документов, раскрывающих управление литературой в ГДР на высшем уровне.

Скажу сразу, что я не пытаюсь показать себя экспертом по Восточной Германии или современной немецкой литературе. После моего набега на архивы выдающиеся немецкие ученые обнаружили материалы, которые я никогда не видел, и опубликовали исследования, превосходящие мои способности к долгосрочному изучению предмета[1]. Но я смог ответить на то ограниченное

1. См., в особенности: *Wichner & Wiesner.* Zensur in der DDR и другой том под их редакцией: «Literaturentwicklungsprozesse»: Die Zensur in der DDR / Ed. Ernest Wichner and Herbert Wiesner (Frankfurt am Main, 1993); *Siegfried Lokatis.* Verlagspolitik zwischen Plan und Zensur: Das «Amt für Literatur und Verlagswesen» oder die

количество вопросов, которыми задался после моего разговора с цензорами. Мне было интересно, что происходило после того, как Клаус Хёпке сдавал ежегодный план отделу культуры ЦК партии. Что происходило с другими предложениями по контролю над литературой, когда они покидали ГАП и уходили в высшие эшелоны власти? Как партийные лидеры обращались с «опасными» делами, которые затрудняли жизнь герра Везенера и фрау Хорн? Была ли Урсула Рагвитц той железной леди, какой они ее описывали?

В своих докладах о планах Курту Хагеру, своему начальнику из Политбюро, фрау Рагвитц отмечала, что Клаус Хёпке часто сталкивался с жестким приемом, когда защищал работу своих сотрудников из ГАП перед ее людьми из «*Kultur*». Последние представляли собой семь непреклонных членов партии, готовых ставить перед Хёпке сложные вопросы, когда он представлял ежегодный план. Например, в 1984 году Арно Ланге, цепной пес «*Kultur*», занимавшийся издательствами, обнаружил серьезный недостаток в плане на 1985 год — крайнюю степень попустительства в обращении издательств с авторами. Халатность ГАП позволила этой тенденции набрать силу, подрывая контроль, который партия осуществляла через издательства. В конце концов в «*Kultur*» одобрили план, но только после длительного обсуждения и с указанием, что инициативу авторов в подаче заявки на книгу стоит ограничить. Вместо этого издатели должны были разработать

schwere Geburt des Literaturapparates der DDR // Historische DDR-Forschung: Aufsätze und Studien / Ed. Jürgen Kocka (Berlin, 1993); *Simone Barck* & *Siegfried Lokatis*. «Jedes Buch ein Abenteuer»: Zensur-System und literarische Öffentlichkeiten in der DDR bis Ende der sechziger Jahre (Berlin, 1997); *Simone Barck* & *Siegfried Lokatis*. Zensurspiele: Heimliche Literaturgeschichten aus der DDR (Halle, 2008); Das Loch in der Mauer: Der innerdeutsche Literaturaustausch / Ed. Mark Lehmstedt and Siegfried Lokatis (Wiesbaden, 1997). Это эссе касается только цензуры в отношении книг и литературных учреждений, а не прессы или СМИ.

«агрессивную стратегию», которая способствовала бы «идеологической закалке» писателей[1].

В докладе о плане на 1982 год Рагвитц предупреждала Хагера об общей тенденции среди издателей подавать заявки на рукописи, неприемлемые «с точки зрения идеологии и искусства». В издательстве «Reclam» даже собирались опубликовать некоторые работы Ницше и Фридриха II, но «*Kultur*» во время долгого обсуждения дали понять Хёпке, что они не допустят ничего подобного. К счастью, заверяла Рагвитц Хагера, ее сотрудники смогли изменить план согласно линии партии, выработанной на X съезде в 1981 году. В силу этого будущая беллетристика и художественная литература будут посвящены пролетарским темам: двадцать новых работ описывают героев-рабочих, бросающихся в «мировую классовую борьбу». Детективы и «утопическая» литература (то есть научная фантастика), которые особенно привлекательны для молодых читателей, «обнажат бесчеловечную природу империализма», а исторические романы подчеркнут прогрессивную силу революционной традиции. Но была проблема, которой Рагвитц пришлось посвятить целое сопроводительное письмо на имя самого Хонеккера. На заседании Политбюро Хонеккер упомянул о своей любви к романам Карла Мая (1842–1912) о Диком Западе, которые читал в юности, и спросил, нельзя ли их экранизировать в ГДР? Увы, сообщала Рагвитц, партия отказалась от переиздания Мая вскоре после войны, а восточногерманские наследники писателя эмигрировали на Запад вместе с правами на его произведения[2].

1. «Protokoll der Sektorenleiterberatung vom 1-/12/84», Abteilung *Kultur*, ms. 32704, Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR. Следующее обсуждение основывается на этих обширных архивах, которые были собраны ЦК коммунистической партии (СЕПГ), особенно бюро Курта Хагера («Büro Hager») и отделом культуры («Abteilung *Kultur*»).
2. Рагвитц к Хагеру (Nov. 11, 1981; Oct. 11, 1981, ms. 34935).

Доклады Рагвитц о плане на 1984 год упоминают долгие обсуждения с Хёпке и длительный процесс перегонки ГАП рекомендаций от издательств, книжных магазинов и Союза писателей (которые входили в ЛРГ) в запросы, передаваемые «*Kultur*». План раскрывал шесть идеологических тем.

1. История ГДР и борьба немецкого пролетариата.

2. Непреходящая угроза фашизма и ее связь с гонкой вооружений, предпринимаемой НАТО.

3. Более высокие моральные качества при развитом социализме.

4. Растущая готовность рабочего класса защищать социализм.

5. Счастье и ценность личности человека как качества, продвигаемые социализмом.

6. Аргументы против империализма и того образа жизни, который он продвигает.

Рагвитц радовалась появлению новых поэтов с талантом к «политической лирике» и новых авторов, наделенных *Parteilichkeit* — это немецкое прилагательное обозначало верность линии партии. Но она заметила и признаки идеологической слабости: неудачные попытки выразить социалистические принципы в научной фантастике и соцреалистические произведения, в которых простой человек из Восточной Германии подозрительно мало отличался от своего собрата в Западной. Рагвитц беспокоил и недостаток другого рода: нехватка бумаги. Недостаток сырья приводил к спаду производства. В 1978 году план предполагал 3,7 миллиона копий 170 новых произведений художественной литературы ГДР, в 1984-м всего 2,3 миллиона копий 123 новых произведений: «Дальнейшее снижение будет неоправданно с культурно-политической точки зрения»[1].

1. Рагвитц к Хагеру (July 7, 1983, ms. 34870). Статистика относится только к художественной литературе ГДР, определяемой как беллетристика. В качестве общего числа наименований книг,

Предупреждения и критика в формальных докладах *Kultur* не оспаривали работу цензоров на фундаментальном уровне. Они были призваны, по крайней мере отчасти, произвести впечатление на партию, показав идеологическую бдительность сотрудников Рагвитц, но их остроту притуплял тяжеловесный стиль изложения, усугубленный бюрократическим жаргоном[1]. Личная переписка между Рагвитц и Хагером велась в совсем ином тоне. Они были знакомы много лет: Рагвитц была назначена в отдел культуры ЦК партии в 1969 году и возглавила его в 1976-м. Хагер, член ЦК с 1964-го и Политбюро с 1963 года, считался вторым по могуществу человеком в ГДР после Хонеккера. Как «главный идеолог» он лично отвечал за руководство культурной жизнью и поэтому постоянно поддерживал контакт с Рагвитц. Они, очевидно, были в хороших отношениях, несмотря на разницу в возрасте, а возможно, благодаря ей (Хагеру в 1980 году было шестьдесят восемь лет, а Рагвитц — сорок два)[2].

В конфиденциальном письме 1 марта 1982 года, начинающемся со слов «Дорогой Курт» (в официальной переписке ко всем обязательно было обращаться «товарищ» и по фамилии, а в личных сообщениях Хагер обращается к Рагвитц «дорогая Урсула»), Рагвитц обсуждает культурную политику в понятиях, демонст-

выпущенных в 1985 году, 6471, общим тиражом 144 600 000 копий (Verlage der Deutschen Demokratischen Republik). Округленные числа за 1988 год показывают 6500 наименований общим числом 150 000 000 копий. Таким образом, определив, что общая продукция составляет более восьми книг на человека, документ утверждал, что ГДР является одним из мировых лидеров по производству книг.

1. Бюрократический стиль письма Рагвитц особенно заметен в докладной записке, которую она отправила Хагеру 18 апреля 1983 года, озаглавленной «Information zu aktuellen Fragen des thematischen Plans für die Buchproduktion 1983» (ms. 34870).
2. Основную биографическую информацию о публичных фигурах ГДР, включая многих писателей, см. в: Wer War Wer in der DDR (Berlin, 2010).

рирующих работу системы на неофициальном уровне. Во время написания письма Хагер был в отъезде, а Рагвитц должна была отбыть на «лечение». Так как у них не было возможности увидеться в течение какого-то времени, ей хотелось ввести начальника в курс происходящего. Готовился фестиваль политической песни, и в области музыки царила правильная политическая обстановка, заверяла Рагвитц, но возникли серьезные проблемы в *Deutsches Theater*. Она предположила, чтобы Хагер обсудил их с Хонеккером, и попросила Хоффмана (Ганса-Йокима Хоффмана, министра культуры) поделиться своей оценкой ситуации. Вместо этого Хоффман написал напрямую Хонеккеру, который был недоволен этим сообщением, и вызвал министра для личной встречи. На ней Хонеккер сделал Хоффману выволочку за то, что Немецкий театр отбился от рук: труппа планировала выступить в Западной Германии и Франции, не получив разрешения от партии, и репетировала пьесу, которая еще не получила одобрения. Эта ситуация привела к некоторым «серьезным претензиям к манере управления… министра культуры». Сама Рагвитц обсудила эту проблему с Хонеккером, который сказал, что, по его мнению, стоит уволить руководство Немецкого театра, но подготовку нужно держать в секрете, чтобы избежать проблем со сторонниками труппы в *Berliner Ansamble*. Кроме того, Конрад Вольф (известный кинорежиссер и сторонник партии) серьезно заболел, так что необходимо было найти замену на пост директора Академии искусств[1].

Конфиденциальная переписка, которая велась влиятельными людьми за закрытыми дверями, доказывает, что важные дела решались через неформальную сеть личных связей, действовавших параллельно жестким структурам партийного аппарата и государственных

1. Рагвитц к Хагеру (March 1, 1982, ms. 32709).

учреждений[1]. Архивы не дают достаточно информации, чтобы показать, насколько сильно эта неформальная система определяла функционирование официальных органов власти, но позволяют сделать определенные предположения. Например, сообщив Хагеру о ненадежном поведении Хоффмана, Рагвитц предприняла действия на институциональном уровне. На встрече 28 марта 1984 года она и ее коллеги решили добиться главенствующего положения в борьбе двух «культур» — *Kultur* и их противников в Министерстве культуры, где отступления от идеологии были серьезнее всего[2]. Исследовав тенденцию отступления литературной продукции от линии партии, *Kultur* решило утвердить свое «политидеологическое влияние», назначив больше упертых сторонников партии на ключевые посты в системе[3]. Эта идеологическая атака не привела к увольнению Хоффмана, но на встрече с Хагером 16 апреля Рагвитц и ее люди получили право исправлять «неправильное понимание обстоятельств обострившейся классовой борьбы» у всех «производителей культуры», начиная с редакторов литературных журналов вроде «Sinn und Form», которых вызывали на встречи и отчитывали за идеологическую неловкость[4]. Борьба между бюрократическими аппаратами партии и правительства так и не привела к открытому конфликту, но отношения оставались испорченными до самого развала ГДР.

1. Другим примером обмена информацией служит доклад Рагвитц Хагеру 16 апреля 1984 года (ms. 32709). В нем упоминаются сложности, возникшие с Кристой Вольф, самой известной писательницей ГДР, критика литературного журнала «Sinn und Form», необходимость пресечь публичное обсуждение чувствительного вопроса получения разрешения на путешествия за пределы ГДР и проблема недовольных молодых писателей.
2. Protokoll der Sektorenleiterberatung, March 28, 1984, ms. 32704.
3. Protokoll der Sektorenleiterberatung, Feb. 6, 1984, ms. 32704.
4. Protokoll der Sektorenleiterberatung, April 23, 1984, ms. 32704. См. также: Protokoll of May 22, 1984, ms. 32704.

Отношения с авторами

Писатели считались особенно важными «производителями культуры». На пике сталинизма в 1950-е и 1960-е годы их могли отправить в тюрьму или приговорить к лагерному труду. Но в 1970-х и 1980-х годах партия стала использовать более мягкий метод кнута и пряника, чтобы держать авторов под контролем. Излюбленным стимулом было разрешение на выезд за границу или отказ его выдать. Согласно докладу, на типичном собрании в верхах 24 ноября 1982 года Хагер, Хоффман и Рагвитц обсуждали множество культурных вопросов: гастроли, состояние театров, необходимость усилить партийную дисциплину в изящных искусствах, вечную проблему нехватки бумаги и не столь срочные вопросы вроде предложения установить памятник Карлу Марксу в Эфиопии. Но самым важным пунктом на повестке дня были путешествия. В первую очередь говорили о «R-Flucht» (бегстве из республики), то есть о том, как не дать авторам, получившим разрешение съездить за границу, остаться там навсегда. Одной из мер, которую особенно любила Рагвитц, был запрет путешественникам брать с собой супругов. Но никакие общие меры не казались достаточными, поэтому было принято решение разбираться с каждым случаем в отдельности, используя тактику, которая приносила бы больший эффект своей непредсказуемостью[1].

1. Notiz. Arbeitsbesprechung des Genossen Hager mit Genossin Ursula Ragwitz und Genossen Hans-Joachim Hoffmann am 24-11-82, ms. 42325.

В случае с Увэ Колбэ, яростным молодым поэтом, которого нужно было выманить из богемной среды в районе Пренцлауэрберг в Восточном Берлине в ряды уважаемых писателей, было решено разрешить ему выезд после предварительной личной беседы с Хёпке[1]. В случае с Лутцем Ратеновом, более влиятельным диссидентом из Пренцлауэрберга, проблема казалась серьезнее. Он опубликовал свою первую книгу, сборник коротких сатирических рассказов, в 1980 году в Западном Берлине, не запросив разрешения (писатели, которые хотели опубликоваться на Западе, должны были получить одобрение Бюро по авторскому праву ГДР, которое осуществляло свою собственную цензуру и получало 75% прибыли). В результате Ратенов был арестован и провел месяц в заключении, что вызвало протесты и критику на Западе. Два года спустя, когда Хакер и Хёпке обсуждали его дело, они списали Ратенова со счетов как *persona non grata*, «автора, который постоянно поливает нас грязью», недостойного никаких привилегий. Они даже предполагали выпустить его из ГДР, чтобы избавиться от него, но Ратенова не так просто было соблазнить. Он не хотел оказаться в изгнании, как его герой Вольф Бирман, которому не позволили вернуться в Восточную Германию после гастролей на Западе в 1976 году[2].

Другие авторы жаждали увидеть жизнь по ту сторону Стены, что делало их особенно подверженными манипуляциям режима. Моника Марон подала запрос на выезд за пределы коммунистического блока и получила его, хотя цензоры отказались публиковать ее роман «Flugasche» («Летящий пепел»)[3]. Адольфу Эндлеру в 1983 году разрешили прочитать несколько лекций

1. Отчет о встрече Хагера и Хёпке (Feb. 18, 1988, ms. 42325).
2. Ibid.
3. Хёпке к Хагеру (Oct. 31, 1983, ms. 30344). Моника Марон убеждала Хагера дать ей разрешение на выезд на Запад в отчаянном письме за 23 февраля 1983 года (ms. 33512).

о лирической поэзии в Университете Амстердама, но, выдавая документы, Хёпке настоятельно советовал использовать этот шанс, чтобы осудить недавнее решение правительства США расположить в Западной Европе ракеты средней дальности. Американский милитаризм не очень вписывается в обсуждение лирической поэзии, ответил Эндлер, но он найдет способ в заключение сказать, что всему, упомянутому в предыдущих лекциях, грозит уничтожение, если американцам дать волю[1].

Сложнее Хёпке было решить схожее дело Вольфганга Хильбига, поэта, тоже получившего приглашения из Западной Европы в 1983 году. Хильбиг не просто дурно отзывался о жизни в ГДР в своих стихотворениях, но и опубликовал их в ФРГ, не получив разрешения. Там они пользовались таким успехом, что западногерманские поклонники Хильбига в Ханау наградили его Премией братьев Гримм и пригласили лично забрать ее. Поэт ответил телеграммой, в которой принимал

1. Хёпке к Хагеру (Oct. 31, 1983, Oct. 6, 1983, Oct. 10, 1983, ms 30344). В длинном подробном письме от 31 октября Хёпке информировал Хагера о многих литературных вопросах, чтобы Хагер мог обдумать их перед встречей, на которой им с Хёпке предстояло принимать стратегические решения. Хёпке начал письмо с общего утверждения, которое прекрасно описывает то, как литература обсуждалась в высших эшелонах власти ГДР: «Я много думал об опыте чтения современной литературы ГДР с точки зрения идеологии и мировоззрения, и я могу… высказать некоторые свои суждения». Потом он поднимает чувствительные темы вроде того, как следует вести себя с известным писателем-диссидентом Штефаном Хаймом, который опубликовал свои работы в ФРГ без разрешения властей ГДР: «Издательство „Der Morgen“ обладает рукописью романа под названием „Schwarzenberg“. Как можно судить по прилагаемым отзывам товарищей из отдела беллетристики в ГАП, о публикации [этого романа] в нашей республике не может идти речи, не имеет смысла даже обсуждать это с автором. Это пример антисоветского высказывания, фальсифицирующий в некоторых случаях исторические события в регионе Шварценберг, который в 1945 году какое-то время не был занят ни войсками США, ни СССР».

приглашение, опять не обратившись за необходимым разрешением к властям, что ставило Хёпке в неловкое положение, ведь, запретив Хильбигу выезд, он бы подтвердил распространенное в Западной Германии представления о репрессиях в ГДР. Первой мыслью Хёпке было сказать твердое «нет», особенно учитывая то, что Хильбиг предполагал продолжить поездку в Ханау выступлением в Западном Берлине, куда тоже был приглашен. Но, обсудив проблему в телефонном разговоре с Хагером, Хёпке отказался от этой идеи. Он вызвал Хильбига на встречу и отчитал за нарушение предписаний ГДР авторам. Тем не менее, заключил Хёпке, он разрешит Хильбигу забрать премию, если тот пообщает воздержаться от какой-либо критики в адрес Восточной Германии. Кроме того, он тоже должен был в своей благодарственной речи осудить американские ракеты, а текст отдать на проверу корректору из издательства «Reclam», который помог бы найти нужные слова, чтобы выразить «бесчеловечное стремление к власти над миром крупнейшей империалистической державы»[1].

Разумеется, государство прибегало к множеству других мер поощрения, чтобы не давать авторам отклоняться от линии партии. Одной из них было разрешение читать западногерманскую прессу. Фолькер Браун подал специальный запрос, чтобы получить подписку на «Die Zeit», и Хёпке поддержал его в докладе Хагеру, подчеркивая, что это поможет Брауну найти материал для новой книги, высмеивающей капитализм, которую, как оказалось, он никогда не писал[2]. Более серьезные преимущества получали члены официального Союза писателей, чье руководство состояло

1. См.: Хёпке к Хагеру (Oct. 10, 1983); недатированный «Notiz» Хёпке о его встрече с Хилбигом (Oct. 6, 1983, ms. 30344).
2. Хёпке к Хагеру (Oct. 31, 1983, ms. 30344). Несколькими месяцами ранее власти отклонили запрос Брауна, чтобы ему позволили получить «Die Zeit». Хёпке предлагал отменить это решение, хотя и ожидал протестов от некоторых членов партии.

из преданных членов партии и чьи ряды были закрыты для всех, кто не мог получить одобрение от ее аппарата. Было крайне сложно сделать карьеру в литературе, не вступая в союз. Он получал ежегодные два миллиона марок в качестве субсидий от государства и занимался распределением большинства источников дохода: заказов на написание каталогов и переводов к выставкам, должностей драматургов (заведующих литературной частью) в театрах, рабочих мест в художественных журналах и оплачиваемых заказов от академических и образовательных учреждений. Как и все остальные жители ГДР, писатели не могли свободно переезжать из города в город без разрешения государства и нуждались в помощи партийных начальников, чтобы продвинуться в долгих очередях людей, ожидающих получения квартиры или автомобиля. В бюро Хагера имелись списки писателей, подававших запросы на визы, машины, улучшение жилищных условий и помощь при поступлении детей в университеты[1].

То, как неблагонадежный автор мог быть лишен всех этих благ, можно увидеть на примере дела Райнера Кирша, свободного писателя, которого исключили из партии в 1973 году за то, что он допустил нелестные высказывания о социализме в своей пьесе «Heinrich Schlaghands Höllenfahrt» («Путешествие Генриха Шлагхандса в ад»). Она была опубликована в полуофициальном журнале «Theater der Zeit» по ошибке, как утверждал редактор журнала, старающийся отвести от себя вину в объяснительной записке первому секретарю Союза драматургов ГДР. Редактор заверял, что был в отлучке, а его заместитель принял текст в последний момент перед сдачей номера и не успел тщательно проверить его. К своему ужасу, редактор обнаружил крамолу сразу, как только взял журнал в руки. Он был готов напечатать опровержение,

1. См., например, список и сопутствующие досье, собранные под заголовком «Eingaben, 1985» (ms. 42258).

подчеркнув несовместимость пьесы с культурной политикой партии, и поклялся, что в будущем ничто не будет опубликовано без его одобрения. Эти оправдания отправились вместе с письмом, содержащим извинения от первого секретаря союза, адресованные главе отдела культуры ЦК, предшественнику Рагвитц, Вальтеру Фогту. Кирша с позором выгнали из партии[1].

Понимая близость катастрофы, Кирш пытался обратиться за помощью к Хагеру. Он добрался до его ассистента Эрики Хинкель, которая выслушала его оправдания на встрече в Берлине. Кирш говорил, что, хотя он принял решение партии, в его пьесе не было сказано ничего неуважительного о социализме и у него не было никакого злого умысла или критических мыслей. Наоборот, Кирш хотел жить в согласии с партией и правительством и был готов доказать свою верность в будущих работах. Все, чего он просил, это разрешение переехать из Халле в Берлин, получить квартиру (трех с половиной комнат будет достаточно его семье из трех человек) и должность драматурга в театре[2].

Партия проигнорировала эту и следующую просьбу, в которой было видно, что Кирш в Халле скатывался во все большую нужду. Отношения с местными коллегами и представителями власти ухудшились до такой степени, что он сообщал в письмах к обер-бургомистру (мэру) Восточного Берлина и фрау Хинкель: «...жизнь в Халле почти невыносима, потому что я чувствую себя в полной изоляции»[3]. Кирш жил со своей женой и семилетней дочерью в обветшалой трехкомнатной квартире, выходящей в грязный внутренний двор. (В 1968-м он расстался с первой женой, поэтессой Сарой Кирш, которая

1. Вальтер Фогт, первый секретарь Союза театральных деятелей ГДР в Берлине, Петеру Хельдту (без даты, ms. 36835/1).
2. Записка Эрики Хинкель к Хагеру (Dec. 20, 1973, ms. 36835/1).
3. Кирш к обер-бургомистру Крааку (March 18, 1975); копия этого письма включена в письмо Кирша к Эрике Хинкель (March 18, 1975, ms. 36835/1).

эмигрировала в Западную Германию вместе с их сыном в 1977-м, после протеста против высылки Вольфа Бирмана.) Его вторая жена, русская, занималась преподаванием, но сильно страдала от загрязненного воздуха Халле. У нее начались хронический бронхит и ларингит, которые могли перейти в астму, если не сменить среду на более благоприятную. Это вынудило Кирша снова подать запрос на переезд в Берлин, где можно было надеяться получить работу в журнале или издательстве. Десять лет спустя он каким-то образом смог перебраться в столицу, но все еще молил дать ему хорошее место. Идеально было бы получить должность преподавателя, как трое других писателей, отмечал Кирш в письме к Хагеру. Тот переслал его Рагвитц, которая ответила сообщением, строго запрещающим какое-либо покровительство. Она проконсультировалась с членами партии в Союзе писателей, и они осудили «политидеологическое поведение» Кирша[1].

Рагвитц часто использовала подобные фразы в докладах и письмах. Она говорила на языке силы. Цензура, которую она осуществляла через манипуляции или прямое преследование, была частью монополии коммунистической партии на власть. И все же неправильно было бы воспринимать обмен сообщениями внутри номенклатуры только как старания поддержать линию партии. У Рагвитц были собственные «политидеологические» убеждения, равно как и у ее коллег, что можно более подробно изучить по делу Вольфганга Хильбига.

1. Кирш к Хагеру (Dec. 31, 1984) и Рагвитц к Хагеру (Feb. 27, 1985, ms 36835/1). В письме к Хагеру 3 марта 1987 года (ms. 36835/1) Герман Аксен, член Политбюро, протестовал против некоторых стихотворений, которые Кирш недавно опубликовал в «Neue Deutsche Literatur», литературном журнале Союза писателей: «Некоторые из этих „стихов“ содержат, на мой взгляд, оскорбления и неприкрытые высказывания против нашего государства и нашей власти… Неужели стоит публиковать такой материал в журнале Союза писателей, а потом в „Eulenspiegel Press“?»

В отличие от большинства восточногерманских писателей, даже таких известных диссидентов, как Криста Вольф и Фолькер Браун, Хильбиг не вписывался в систему. Он жил отшельником. Не желая делать карьеру в Союзе писателей, Хильбиг зарабатывал на жизнь, служа истопником в котельной[1]. Эта работа предоставляла много свободного времени для изучения литературы и написания стихов, и Хильбиг не отдавал свои произведения для литературной оценки, принятой в ГДР. Он публиковал их в Западной Германии, не получив разрешения. После выхода его первого сборника «Abwesenheit» («Отсутствие»), изданного франкфуртским издательством «Fischer» в 1979 году, Хильбигу присудили штраф в 2000 марок. (Его дело в партийных архивах также упоминает о коротком заключении в тюрьме, но оно, очевидно, связано с арестом за агрессивное поведение («Rowdytum») при не связанных с литературой обстоятельствах.)[2] В 1982 году, когда Хильбиг опубликовал сборник коротких рассказов «Unterm Neomond» («Под молодой луной»), чем привлек достаточно внимания, чтобы прославиться на Западе как рабочий-поэт, притесняемый на Востоке, и ГДР постаралась восстановить свою репутацию защитника рабочего класса, разрешив восточногерманское издание. Но его следующая книга, «Stimme Stimme» («Голос, голос»), переданная тому же издательству в Восточной Германии, была еще большей проблемой для цензоров. Партия провозгласила, что литература должна придерживаться канонов соцреализма, а на двух конференциях в индустриальном городе Биттерфельде в 1959 и 1964 годах писатели обещали следовать «Bitterfelder Weg», программе солидарности с рабочими в общем стремлении создать уникальную социалистическую культуру

1. Рагвитц к Хагеру (March 23, 1983) с отзывом о Хиблиге и его поэтическом сборнике «Stimme Stimme» (Dec. 14, 1982, ms. 38787).
2. Записка к Хегеру от отделения культуры Центрального комитета партии (Jan. 12, 1984, ms. 38787).

ГДР. К сожалению, стихи рабочего-поэта Хильбига не вписывались в эту концепцию. Даже хуже, объясняла Рагвитц, передавая дело Хагеру 14 декабря 1982 года.

От лица *Kultur* она настоятельно не рекомендовала разрешать публикацию «Stimme Stimme». Да, книга получила три положительных отзыва от рецензентов, и нельзя отрицать поэтический талант Хильбига. Но, если допустить выход сборника, он станет признанным автором, а если его присутствие на культурной сцене ГДР будет утверждено, Хильбиг станет дурно влиять на молодых писателей, от которых партия хотела бы получить здоровые, прогрессивные, оптимистические и социально ответственные работы, посвященные рабочему классу. Пролетарское происхождение Хильбига делало его только более опасным, хотя он никогда и не критиковал социализм или ГДР, потому что в своей сути его работы выражали неприемлемый взгляд на мир:

> Его мировоззрение и художественная позиция далеки от нашей идеологии. Прибегая к реакционной позднебуржуазной традиции… Хильбиг использует мрачные тона и пессимистический слог, чтобы распространять нигилистический и меланхоличный взгляд на мир и на жизнь человека… Из-за того, что он наделяет голосом обреченность, одиночество, тоску, страдание и желание смерти, преданность Хильбига идеалам гуманизма тоже подлежит сомнению. Хотя он часто показывает свое пролетарское происхождение, ничто не связывает этого автора с повседневным политическим самосознанием граждан ГДР[1].

«Позднебуржуазным» в Восточной Германии называли модернизм, в случае Хильбига — поэзию, напоминающую произведения Рембо или Рильке, в других обстоятельствах — романы, вдохновленные Прустом или

1. Записка к Хагеру от Рагвиц (Dec. 14, 1982, ms. 38787).

Джойсом. Рагвитц в *Kultur* и цензоры в ГАП не требовали следовать «Bitterfelder Weg», переставшей задавать жесткий стандарт литературного стиля в 1980-м, но оставались преданы стилистической конвенции, которую можно условно назвать соцреализмом, и с подозрением относились к произведениям, в которых не говорилось о жизни при «реальном социализме», как они выражались, то есть конкретном бытовом опыте обычных жителей ГДР[1]. В 1960-х и 1970-х годах режим не позволял публиковать такого рода литературу. Но в 1980-е репрессии были ослаблены, частично из-за боязни скандалов, которые могли распространить СМИ Западной Германии, чье радио и телевидение достигало все большего количества граждан ГДР. Если бы «Stimme Stimme» запретили публиковать в Восточной Германии, книга непременно вышла бы на Западе, нанеся урон репутации режима.

В итоге Хагер разрешил напечатать сборник: он получил письмо в защиту Хильбига от Штефана Хермлина, влиятельного писателя, у которого раньше были свои проблемы с цензурой. (Хермлин помогал организовывать протест против высылки Вольфа Бирмана в 1976 году, но сохранил хорошие отношения с партийными лидерами.)[2] Он писал, что, пусть стихотворения Хильбига не дышат оптимизмом, они не выражают ни малейшей критики социализма, а если писателям

1. Например, в рапорте Хагеру о Хильбиге 23 марта 1983 года (ms. 38787) Рагвитц сообщает, что издательство «Reclam» было предупреждено, что не стоит принимать новую версию «Stimme Stimme», включающую «высказывания против реального социализма».
2. В 1976 году партия объявила «суровый выговор» Хермлину за его роль в деле Бирмана. 20 марта 1985 года Герман Кант, президент Союза писателей, написал Хонеккеру с предложением отменить эту меру, так как Хермлин непреклонно защищал политику ГДР последние девять лет, но сделать это рекомендовал без каких-либо обсуждений с исполнительным комитетом союза, чтобы не вскрывать старые раны (ms. 36835).

придется проходить проверку на жизнерадостность, от немецкой литературы ничего не останется[1]. Рагвитц в конце концов признала, что книга может выйти в свет, не причинив существенного вреда, но только при определенных условиях: Хильбиг должен был убрать некоторые стихотворения и умерить тон других, его редакторы в «Reclam» должны со всей тщательностью проверить готовый текст, книгу следовало выпустить небольшим тиражом, а ее восприятие проконтролировать заранее подготовленными рецензиями, обличающими неправомерность изложенного в ней «взгляда на мир и идеологическую позицию»[2]. Как говорилось выше, через пару месяцев Хагер разрешил Хильбигу под бдительным надзором главы издательства «Reclam» Ганса Маркуанда получить награду в Ханау в ФРГ.

С этого момента Хильбиг стал среди бюрократии причиной постоянных споров о границах дозволенного. В 1984-м он принял участие в радиопередаче из Гессе в Западной Германии, в которой был представлен как жертва преследований со стороны властей. В 1985-м его наградили призом Академии искусств Западного Берлина, и Хильбиг попросил разрешения принять его. Маркуанд и Хёпке были против его выезда из страны[3], а пока их доклады переваривались Министерством культуры, Хильбиг подал документы на визу и согласился на год преподавания в Дармштадте. Это для Хагера было уже слишком, он в разъяренном письме к министру культуры Хоффману требовал не идти больше ни на какие уступки[4]. Но к этому времени Хильбиг заработал серьезную репутацию. Штефан Хермлин

1. Хермлин к Хагеру (March 17, 1983, ms. 38787).
2. Рагвитц к Хагеру (March 23, 1983, ms. 38787).
3. Хёпке к Хагеру (March 6, 1985, ms. 38787).
4. Хагер к Хоффману (Aug. 8, 1985, ms. 36835/1). Ранее, в 1985 году Хильбиг столкнулся с новыми трудностями с «Reclam», своим издателем в Восточной Германии, относительно «Der Brief», собрания его прозаических произведений, и опубликовал его без разрешения в издательстве «Fischer» в ФРГ.

и Криста Вольф лично обратились к Хонеккеру, утверждая, что Хильбиг — крупнейший писатель среди тех, что появились в ГДР в последние двадцать лет[1]. 26 августа 1985 года Хильбиг сам написал Хонеккеру — пролетарский поэт обратился к главе государства. Он излагал свои обстоятельства с уважением, но убежденно. Писателям из Восточной Германии нужно позволить путешествовать, чтобы расширять свои горизонты, писал Хильбиг. Они должны свободно публиковаться в ГДР и за рубежом. Они должны иметь в своем творчестве свободу от идеологических ограничений. А приверженность социализму тоже должна быть добровольной, потому что «литература без глубокой и искренней веры не имеет смысла»[2]. Не сохранилось документов, говорящих о реакции Хонеккера, но через три недели в докладе о письме Хильбига Хагер заявил, что пересмотрел свою позицию и не будет препятствовать получению визы. Хильбиг покинул ГДР в 1985 году и не вернулся[3].

В случае Хильбига и всех остальных, описанных в архивах, не идет речи о протесте против социалистических принципов, действий правительства или партийных лидеров. Как и все авторы, которых на Западе причисляли к диссидентам, Хильбиг старался работать в системе, пока не дошел до предела, и даже после этого, публикуясь в Западной Германии, он не отказывался от основных идеалов ГДР. Во внутрипартийной переписке на его счет не высказывается сомнений в абсолютной преданности Хильбига своей стране. Она касалась таких, казалось бы, невинных вещей, как самоощущение

1. Хермлин к Хонеккеру (Oct. 19, 1985, ms. 36835/1).
2. Хилбиг к Хонеккеру (Aug. 26, 1985, ms. 36835/1).
3. Хагер к Хоффману (Oct. 17, 1985, ms. 36835/1). В письме к Хагеру 22 сентября 1985 года Хоффман рекомендовал выдать визу, несмотря на то что Хильбиг опубликовал «Der Brief» в ФРГ без разрешения и несмотря на то что «содержание текста показывает, что Хильбиг до сегодняшнего момента не мог сообразовать свою литературную деятельность с культурно-политическими ожиданиями ГДР».

(«Selbstgefühl») и эмоциональные ожидания («Pessimismus»). Человеку со стороны стиль сообщений, которыми обменивались высшие чины партии, покажется удивительно пафосным и абстрактным. По большей части это можно объяснить устоявшимся языком бюрократии, ведь лидеры партии часто ставили длинные составные прилагательные вроде «политидеологический» («politisch-ideologisch») или «позднебуржуазный» («spätbürgerlich») перед тяжеловесными существительными вроде «мировоззрения» («Weltanschauung») или «партийности» («Parteilichkeit»)[1]. Но цензоры из ЦК и Министерства культуры подходили к языку ответственно и были предельно серьезны, обсуждая слог авторов, которых притесняли. Слова из диалекта ГДР обладали особой важностью, пусть они и звучали нелепо для иностранца, например, когда Берлинскую стену называли «стеной защиты от фашизма» («antifaschistischer Schutzwall»)[2]. Цензоры были крайне недовольны, когда обнаруживали, что более молодые авторы неправильно используют то или иное слово.

В 1981 году группа молодых писателей представила сборник стихотворений и эссе, который предполагала напечатать в Академии искусств. ГАП отказалась выдать разрешение, но вместо того, чтобы смириться с этим, авторы отправили протестное письмо министру культуры. Они объясняли, что составили «Антологию», как они ее называли (очевидно, у книги не было полного названия), по совету члена академии Франца

1. См., например, враждебный рапорт о «Hinze-Kunze-Roman» Фолькера Брауна, который Рагвитц отправила Хагеру 9 сентября 1985 года, процитированный ниже.
2. Термин всплывает в нескольких письмах на имя Хагера от широкой общественности, собранных в трех папках под названием «Standpunkte, Meinungen … aus der Bevölkerung» (1987–1989, ms. 42280/1, 42280/2, and 42280/3). Одно из стихотворений, которое ГАП настоятельно советовала изъять из «Wir und nicht sie» Фолькера Брауна, называлось «Die Mauer» (неподписанная записка к Хагеру из ГАП (Feb. 15, 1971, ms 36834/1).

Фюмана, наставника недовольных писателей нового поколения. Книга представляла собой плод усилий тридцати трех авторов, которые хотели, чтобы их услышали, и не принимали отказ властей вступать с ними в диалог. Протесты в какой-то момент дошли до Урсулы Рагвитц, которая в докладе посоветовала Хагеру сохранять молчание. Авторам следует сказать, чтобы они обращались со своими жалобами в академию, а академии велеть игнорировать их. Однако в то же время партии следует принять меры по уничтожению корня проблемы, потому что проблема с «Антологией» свидетельствовала о недовольстве, требующем серьезного внимания[1].

С помощью тайной полиции в *Kultur* собрали огромное количество информации о группе, подготовившей «Антологию». Рагвитц подвела итог расследования в рапорте, насчитывающем 35 страниц и включающем биографии авторов, описание их круга общения и анализ стихотворений. С точки зрения *Kultur*, это была невнятная поэзия — смешение малопонятного жаргона, нелепых форматов, просторечий, сленга и завуалированных отсылок на загрязнение среды, тоску, рок-музыку, Витгенштейна и Джона Леннона. В более знакомых партии выражениях «Антологию» можно было описать как подозрительно позднебуржазную по стилю и нигилистическую по содержанию:

> Часть произведений характеризует пессимизм, усталость от жизни [*Lebensüberdruss*] и отчаяние… Во многих из них авторы прибегают к художественным техникам позднебуржуазной литературы вроде нарушения синтаксиса,

1. Рагвитц к Хагеру (Dec. 23, 1981), включает письмо-протест, датированное 20 декабря 1981 года (ms. 32747). В отделе культуры ЦК партии составили длинный рапорт об «Антологии» и всех ее авторах, датированный 1 октября 1981 года, а также выпустили три доклада с рекомендациями насчет необходимых мер. Эти документы собраны вместе в ms. 32747.

выстраивания строк в очертания фигуры, устных и визуальных игр. В некоторых текстах используются жаргон, нелитературные выражения и просторечия, что говорит о буржуазном влиянии другого рода.

Кроме того, признавала Рагвитц, все это крайне привлекательно для молодежи[1].

Разумеется, энтузиасты не могли найти подобную литературу в книжных магазинах, потому что, как настаивала Рагвитц в другом сообщении, ее нельзя было публиковать[2]. Но недовольные молодые поэты раздавали копии своих работ и устраивали домашние чтения в излюбленном месте — районе Пренцлауэрберг в Восточном Берлине. Осведомители выискивали такие места, как «Alte Kaffee» на Фридрих-штрассе и дом 23 на Раумер-штрассе, где собирались студенты и отчисленные из университетов молодые люди[3]. В одном сообщении о поэтических чтениях осведомитель сообщал о собрании из сорока четырех человек в квартире, где они восхищенно слушали двух поэтов, редактировавших «Антологию», Увэ Колбэ и Сашу (Александра Андерсона). Несмотря на то что было тяжело понять смысл стихотворений, слушатели устроили оживленную дискуссию о «самовыражении», «творчестве» и «целостности»[4].

Сцена Пренцлауэрберга, как потом ее стали называть, может показаться слишком маргинальной, чтобы заслуживать такого внимания. Да и сами поэты были маргинальными персонажами. Например, Саша

1. Цитата из недатированного и неподписанного доклада *Kultur*, наполненного документами из ms. 32747.
2. «Концепция будущей политики касательно авторов, которые хотят издать книгу, спонсируемую Академией искусств (как антологию)». Неподписанная записка из отдела культуры Центрального комитета партии (Nov. 6, 1981, ms. 32746).
3. Неподписанная записка о группе «Антология» из отдела культуры Центрального комитета партии (Jan. 27, 1982, ms. 32746).
4. Information zum Literaturgespräch am 29-10-81, ms. 32747.

Андерсон фигурирует в рапорте как «Андерсон, Александр (28) (лирическая поэзия). Дрезден. Без определенных занятий. Независимый писатель, художник, автор песен»[1]. Более того, когда после падения Стены стали доступны архивы Штази (тайной полиции), оказалось, что Андерсон был их осведомителем[2]. Но не меньше, чем секретные службы ГДР, тем, что происходило в Пренцлауэрберге, были озабочены СМИ Западной Германии, а распространение информации на Западе могло причинить вред Востоку, особенно если речь шла об отчуждении молодого поколения.

Сам Хонеккер внимательно следил за обзорами литературы ГДР в ФРГ. В апреле 1981-го он получил от Рагвитц сообщение о западной радиопередаче, которая распространяла идеи о разочаровании молодых восточногерманских писателей и в доказательство цитировала статью из «Neue Deutsche Literatur», литературного журнала Союза писателей ГДР. Статья была написана Инге фон Вангенхайм, уважаемой писательницей шестидесяти восьми лет с безупречной репутацией сторонницы режима. Она предупреждала, что литература ГДР может перестать существовать к 2000 году, потому что писатели, которым сейчас исполняется тридцать, настолько разочарованы, что не могут продолжать традиции соцреализма, заложенные их дедами. Передача была заглушена, заверила Рагвитц, а статья никогда не должна была увидеть свет. Она отчитала редактора журнала за совершение «политической ошибки». Тот ответил, что получил письменное разрешение из ГАП и что Вангенхайм планировала включить статью в свой

1. «Концепция будущей политики», процитированная выше. Этот доклад содержит подробное описание тридцати авторов, связанных с «Антологией».
2. Наиболее полно документированное описание шпионажа Андерсона см. в: *Joachim Walther*. Sicherungsbereich Literatur: Schriftsteller und Staatssicherheit in der Deutschen Demokratischen Republik (Berlin, 1996), 639–42.

будущий сборник эссе. Если убрать его на этом этапе, это может привести к скандалу, предупреждала Хагера Рагвитц. Но они могли попросить Вангенхайм внести правки и организовать достаточно критических отзывов о книге, чтобы смягчить удар[1]. Однако западные СМИ продолжали создавать проблемы. В одной передаче утверждалось, что истинными авторами литературы ГДР являются те, кто сбежал от цензуры и «стокгольмского синдрома», эмигрировав в ФРГ[2]. А западногерманский критик Манфред Ягер в своей статье заявлял, что молодое поколение рассерженных «дикарей» повернулось спиной ко всей официальной литературе и осмеяло произведения писателей средних лет как безынтересные, за исключением работ их наставника Франца Фюмана, вдохновившего составление «Антологии», которого они почитали за верность критическому духу Бертольта Брехта[3]. Пусть они были далеки от реальности, эти атаки обнажали проблему, которую нельзя было игнорировать. Что же требовалось предпринять?

Рагвитц предлагала два вида действий. Во-первых, режим должен строго придерживаться литературных принципов, подразумеваемых линией партии, заданной Десятым съездом в 1981 году. Глубоко изучив литературу ГДР в 1970-х годах, эксперты из *Kultur* предложили рекомендации, которые были приняты на съезде. Их выводы подтвердили исследования Академии социальных исследований и Центрального института истории литературы при Академии наук. Все эти данные поддерживали фундаментальную позицию партии: вопросы

1. Рагвитц к Хонеккеру (April 3, 1981, ms. 32747).
2. Неподписанная записка из отдела культуры Центрального комитета партии (June 29, 1981, ms. 32747). Рагвитц набросала ответ с опровержением западных передач, которое нужно было выпустить под именем Хонеккера: Рагвитц к Хагеру (April 6, 1981, ms. 32747).
3. Рагвитц к Хагеру (Dec. 9, 1982, ms. 32746).

стиля и содержания стоит воспринимать как важные элементы строительства социализма. Как постановили на IX съезде в 1976 году, литература должна сосредоточиваться на «повседневной жизни граждан при социализме». Реальный социализм — текущее положение дел в ГДР — требовал от литературы соцреализма, а не эзотерического индивидуалистического стиля позднебуржуазных авторов, непонятного для простых людей. Обычный человек обращался к литературе за помощью в осмыслении своего существования, и эта помощь должна была принимать форму «развития социалистического сознания». Недавние работы в позднебуружазном стиле действовали наоборот. Позволяя себе субъективный взгляд на вещи и постоянно говоря о противоречиях между повседневностью и социалистическими идеалами, они скатились к разрушительной форме социальной критики[1].

Партия могла бы уничтожить подобную литературу, предприняв немедленную культурную атаку на авторов «Антологии». Самых талантливых из них стоило привлечь к сотрудничеству, сделав кандидатами на получение членства в Союзе писателей. (Авторы не могли просто вступить туда, они должны были сначала доказать свою надежность как кандидаты, как правило,

1. Записка из отдела культуры Центрального комитета партии (Nov. 12, 1982, ms. 32746). Этот доклад, очевидно адресованный Хагеру и лидерам партии, содержит тщательный, но догматический анализ литературы ГДР, ее проблем и ее соотношения с нуждами читателей Восточной Германии. Рассматривая последние трудности с писателями, документ отмечает: «Недостаток марксистско-ленинского образования у авторов и крайне поверхностные связи с социалистической реальностью часто служат причинами того, что в их произведениях начинает доминировать критический аспект, действующий разрушительно. Появляются усложненные формулировки, в которых декларируемая преданность авторов ГДР соединяется со взглядами, чуждыми социализму, например мелкобуржуазными замечаниями в духе гуманизма или субъективизма, касательно взаимоотношения идеала и реальности».

с поручителем.) Им следует назначить наставников из союза и дать задания, предоставляющие привлекательную перспективу путешествий. Увэ Колбэ можно было послать в Анголу, а Катю Ланге — в Монголию. Тех авторов «Антологии», которые проявляли враждебность к партии, следовало устранить из мира литературы, но обращаться с ними осторожно. Хотя им нельзя было позволять что-либо публиковать, стоило назначить их на должности, не связанные с литературой. А те, кто был открыто «асоциален и враждебен государству», заслуживали наказания как преступники, предположительно заключения в тюрьме или отправки на добычу бурого угля, хотя Рагвитц не уточняла, какие меры имеет в виду[1]. Чтобы подавить активность в Пренцлауэрберге, Министерство культуры должно создать по всей стране литературные центры, вдохновляющие молодых писателей создавать правильные работы[2]. Издательствам следует назначить редакторов, помогающих взрастить талантливую молодежь, ГАП должна разработать дополнительные меры контроля, а *Kultur* надзирать за программой, учитывая необходимость воспитать новое поколение «производителей культуры», и проследить, чтобы оно двигалось в правильном направлении[3].

1. «Концепция будущей политики», процитированная выше.
2. Записка из отдела культуры Центрального комитета партии (Nov. 6, 1981, ms. 32746). *Literaturzentren* были сформированы и обычно привлекали от восьми до пятидесяти членов, но не показали себя эффективными согласно отчету отдела культуры ЦК партии за 12 октября 1982 года (ms. 32746).
3. Эти меры описаны в недатированном докладе Рагвитц Хагеру (ms. 32747).

Переговоры между автором и редактором

Документы, которыми обменивались на высшем уровне в ГДР, свидетельствуют, что цензура не сводилась только к работе цензоров. Она пронизывала все грани литературной жизни вплоть до собственных мыслей автора и его первой встречи с редактором. Фолькер Браун описал это в заметке, которую написал для себя в 1983 году во время попыток уговорить редактора из «Mitteldeutscher Verlag» (MDV) принять текст книги «Hinze-Kunze-Roman»: «Система работает сама по себе. Система и есть цензура»[1]. Глубже всего она проникала на нижних уровнях, где авторы и редакторы обсуждали планирование и печать рукописей. Хотя существовали разные подходы к работе, обычно она проходила одни и те же стадии. Как уже упоминалось раньше, идея книги могла зародиться в сознании автора, но чаще исходила от редакторов одного из семидесяти восьми издательств ГДР или даже от цензоров или других чиновников из Берлина. Поскольку директор (*Verlagsleiter*) и главный редактор (*Cheflektor*) являлись влиятельными членами партии из среды известных аппаратчиков или номенклатуры, они осуществляли строгий идеологический контроль. Но менее высокопоставленные редакторы часто вступали в дружеские отношения с писателями, нередко

1. Это замечание, датированное 20 июля 1983 года, взято из проспекта с выдержками из записных книжек Брауна, который распространяли на его лекции в Берлине 1 марта 1994 года.

работающими в том же издательстве — особенно в области современной художественной литературы, в «Mitteldeutscher Verlag» в Халле и «Aufbau Verlag» в Берлине и Веймаре[1]. Вместо того чтобы самостоятельно составить рукопись от начала до конца, авторы обычно посылали редакторам черновики и небольшие отрывки. Те предлагали правки, и процесс переговоров длился до тех пор, пока обе стороны не достигали согласия насчет окончательной версии. Тогда редактор посылал машинописный текст одному или нескольким рецензентам, как правило, доверенным советчикам из литературных критиков или ученых. Их отзывы могли привести к еще нескольким раундам правок и переговоров. Когда обновленный текст был закончен, издательство подготавливало дело, включающее отзывы рецензентов и отчет издательства из примерно четырех-пяти машинописных страниц, который, как правило, писал главный редактор, а также информацию об авторе, формате, требуемом количестве страниц, предполагаемом тираже и цене.

После этого дело вместе с текстом посылали в ГАП на Клара-Цеткин-штрассе, чтобы получить одобрение профессиональных сотрудников, так, как это описывали Ганс-Юрген Везенер и Кристина Хорн. Цензура могла продолжаться даже после выхода книги, ведь если она приводила к скандалу, ее могли изъять из магазинов и уничтожить. Некоторые фрагменты могли удалить или добавить в следующих изданиях. ГАП иногда позволяла появиться версиям из Западной Германии, дав одобрение через Бюро по авторским правам (*Büro für Urheberrechte*). Конечно, такие издания вызывали много противоречий, но, как только

1. Широкий спектр художественной литературы, поэзии, эссе, «пролетарско-революционной беллетристики», легкой литературы и других жанров, публикуемых издательством «Mitteldeutscher», которое было самым влиятельным в ГДР в 1980-е, см. в: Verlage der Deutschen Democratischen Republik, 45.

пыль рассеивалась, спорные фрагменты можно было, не привлекая внимания, внести в следующее издание в ГДР.

Цензура присутствовала на всех этапах и распространялась дальше, потому что авторы и издатели могли подвергнуться наказанию после публикации книги. Но самую важную часть процесса изучить сложнее всего, потому что она происходила в голове автора. В архивах осталось мало свидетельств самоцензуры, но жители Восточной Германии часто упоминали о ней, особенно когда почувствовали, что могут говорить свободно, после падения Стены. Например, в «Der Zorn des Schafes» («Гнев овец», 1990) Эрих Лёст объяснял, что в 1950 году, когда только начинал карьеру писателя и разделял непоколебимую веру в легитимность режима, он легко принимал цензуру, потому что не мог и подумать, чтобы коснуться какой-либо темы каким-либо образом, который мог нанести урон социализму. Но через три десятилетия перекраивания своих текстов по требованию редакторов, издательств и ГАП Лёст эмигрировал в Западную Германию и, когда начал писать в ФРГ, осознал, что внутренний голос все это время шептал ему над каждой строчкой: «Осторожно, это приведет к неприятностям!»[1] Лёст назвал его «маленьким зеленым человечком в ухе»[2]. Другие использовали устоявшееся выражение «ножницы в голове»[3]. Голос звучал повсюду и вынуждал авторов принимать участие в цензуре, даже если они старались ей противостоять. Они могли торжествовать, уговорив редактора принять один или два спорных абзаца, но в то же время нередко при помощи внутреннего голоса не обращали внимания, что сдают весь текст для одобрения

1. *Erich Loest*. Der Zorn des Schafes (Munich, 1993 ed.), 38 и 229.
2. *Erich Loest*. Der vierte Zensor: Der Roman «Es geht seinen Gang» und die Dunkelmänner (Stuttgart, 2003), 30.
3. Die Schere im Kopf: Über Zensur u. Selbstzensur, ed. Henryk M. Broder (Cologne, 1976).

государством[1]. Полуосознанный процесс подчинения иногда позволял писателям обводить цензора вокруг пальца, но хитрость могла привести и к самообману. Йоахим Зейпель, прозаик и литературный критик, эмигрировавший в ФРГ в 1979 году, писал, что авторы иногда помещали в текст вопиюще провокационный фрагмент, чтобы отвлечь внимание цензоров от менее очевидных нарушений, рассеянных по работе. В таком случае писатель делал вид, что яростно сражается за сохранение этого отрывка, проигрывал притворную борьбу и сохранял те части, которые хотел опубликовать с самого начала. Однако в процессе этой игры писатели принимали ее правила и становились соучастниками системы. Маленький зеленый человечек побеждал[2].

Следующую стадию процесса можно изучить по бумагам ключевого издательства художественной литературы ГДР — «MDV», которые мне тоже удалось получить в архивах партии в начале 1990-х годов[3]. Большая часть информации касалась практики 1980-х, по ней не стоит

1. Это интерпретация Мартина Ягера из «Literaturentwicklungsprozesse» (с. 28–47). См. также замечания о самоцензуре Кристофа Хайна, когда он требовал отменить цензуру на съезде Союза писателей в 1987 году: X. Schriftstellerkongress der Deutschen Demokratischen Republik: Arbeitsgruppen (Berlin, 1987), 229. Вспоминая свой опыт до коллапса ГДР, Увэ Колбэ заметил: «Самоцензура — это то, что делает цензуру всемогущей»: Fragebogen: Zensur. Zur Literatur vor und nach dem Ende der DDR, ed. Richard Zipser (Leipzig, 1995), 225.
2. *Joachim Seyppel*. Der Porzellanhund // Zensur in der DDR, 25–26. См. также эссе Берндта Вагнера в том же томе, с. 27–28.
3. Ministerium für *Kultur*, HV Verlage und Buchhandel. Огромное количество досье, предоставленных в ГАП «MDV», было распределено в общие рубрики DRI.2188 и DRI.2189. Каждое досье было помечено именем автора, чью работу предоставляло издательство для получения разрешения на печать («Druckgenehmigung»). Я также обращался к бумагам других издательств в собрании DRI и особенно рекомендую другим исследователям досье в 54 страницы на Гюнтера де Бройна и его роман «Neue Herrlichkeit» в DRI.2189.

судить о цензуре более ранних репрессивных лет. Однако, что касается последнего десятилетия существования ГДР, архивы издательства позволяют понять, как власть контролировала литературу на уровне авторов и редакторов. Общий характер всех ее действий можно описать одним словом: переговоры. Компромиссы, требования и уступки, написание и переписывание начинались с той самой минуты, как появлялась идея книги. В тех редких случаях, когда автор сдавал предположительно готовую рукопись, редакторы были шокированы, а иногда и оскорблены. Когда Карл-Ганц Якобс представил «последнюю» версию романа «Die Stille» («Тишина»), редакторы жаловались, что он являлся одним из немногих авторов, которые «отказываются позволить издательству влиять на работу над рукописью и сдают „готовый“ материал»[1].

Переговоры были особенно успешны в том, что касалось популярной жанровой литературы вроде детективов, любовных романов или научной фантастики. Редактор убедил Вальтрауда Арндта изменить конец его подросткового любовного романа под названием «Flugversuche» («Попытка полета»), не дав возлюбленным жить долго и счастливо. Девушке пришлось отвергнуть молодого человека, потому что она поняла, что он вступил в партию, только чтобы завоевать ее любовь, а не из искренних коммунистических убеждений[2]. Хорст

1. Неподписанная и недатированная записка, возможно составленная в отделе культуры Центрального комитета партии в сентябре 1978 года (ms. 32747). В докладе объяснялось, что, когда они изучили якобы законченную рукопись, издатель и главный редактор издательства «Neues Leben» сообщили Якобсу, что они не могут ее принять по идеологическим причинам: «Конкретно были отмечены отклонения от основных идеологических концепций, недиалектическое противопоставление индивида и социальной системы, ложное изображение социализма, вопросы мотивации, касательно действий некоторых персонажей романа».
2. Dossier Ahrndt, DRI.2189. Как отмечалось выше, досье организованы по фамилиям авторов.

Черни по совету своего редактора изменил сюжет детектива «Reporter des Glanzes» («Светский репортер»), чтобы он разоблачал все отрицательные стороны жизни в Бонне в Западной Германии, где происходило действие романа, а именно «антикоммунизм, антисоветскость, неонацизм, идеологию войны, лживые угрозы и ожидание объединения Германии». Один из немногих криминальных триллеров, действие которого происходит в ГДР, «Der Sog» («Поток») Яна Флигера, переписывался несколько раз, потому что один из главных героев, управляющий фабрикой, был оскорбительно глуп. Руководители в ГДР не должны были представать в таком свете[1]. То же самое касалось научной фантастики, которую редакторы назвали утопической литературой, потому что описание общества будущего должно было прославлять грядущее торжество коммунизма, однако в издательствах были обеспокоены тем, что положительные элементы могут быть восприняты как скрытая «политидеологическая» критика социалистического порядка в настоящем. Поэтому они убедили Герхарда Бранштерна переработать его «Der negative Erfolg» («Отрицательный результат») так, чтобы его воображаемый мир будущего выражал достаточно «теоретических соображений марксистской мысли»[2].

Однако было бы неправильно воспринимать редакторов только как стражей идеологии. Они уделяли огромное внимание эстетическим качествам рукописей и тесно сотрудничали с авторами, чтобы отточить слог и усовершенствовать сюжет. Насколько можно понять из их рапортов, это были умные и хорошо образованные критики, у которых было немало общего с редакторами из Западного Берлина или Нью-Йорка. Они искали таланты, старательно работали над черновиками, выбирали самых подходящих рецензентов

1. Dossier Flieger, DRI.2189.
2. Dossier Brandstner, DRI.2189.

и помогали провести текст по всем этапам производства. Основной чертой их документов, которая отличала редакторов ГДР от их коллег на Западе, является отсутствие какого-либо упоминания спроса на литературу. Я встретил только одно упоминание того, что хотят купить читатели. Обсуждая книгу «Der Holzwurm und der König» («Книжный червь и король»), Хельга Дути, главный редактор «MDV», рекомендовала ее опубликовать, несмотря на то что текст поощрял прискорбную страсть читателей к сказкам для взрослых[1].

Вместо того чтобы подгонять списки под веяния рынка, редакторы сражались с китчем и часто проигрывали. Дути и ее заместители делали все возможное, чтобы уничтожить «псевдоромантические, жалкие и безвкусные» качества стихотворений в «Luftschaukel» («Движении воздуха»), но автору, Марианне Брюнс, было восемьдесят семь лет, и она была связана с «MDV» долгое время. Поэтесса согласилась внести правки в рукопись, но только некоторые. В конце концов редакторы пошли на компромисс в большинстве вопросов и нехотя рекомендовали книгу к получению разрешения на печать[2]. Они не были столь гибкими в случае с Гансом Цибулькой, хотя ему было шестьдесят пять, из которых тридцать он публиковался в «MDV». Его сборник стихотворений «Seid ein Gespräch wir sind» («Мы и есть обсуждение») был слишком пессимистичным и «недиалектическим», но, что еще хуже, смешивал метафоры и злоупотреблял образностью. После долгих переговоров редакторы отвергли его рукопись, заявив, что «нельзя „работать“ с ним как с начинающим писателем»[3].

1. Dossier Hammer, DRI.2189.
2. Dossier Bruns, DRI.2189. В письме в ГАП 29 мая 1984 года Хельга Дути обсуждала литературные недостатки рукописи во всех подробностях и заключала, что «со стороны издательства придется идти на множество компромиссов».
3. Dossier Cibulka, DRI.2189.

«Работа» с авторами была столь плотной, что граничила с соавторством. Йоаким Рёмер был дебютантом, чей первый роман «Bekentnisse eines Einfältigen» («Исповедь простака») пришлось переписать полностью. «Работа над этим произведением, особенно на стадии черновиков, была очень трудной», — жаловался редактор[1]. Вернер Рейновски вызывал еще большую головную боль. На протяжении десяти лет после публикации одного из его романов он продолжал приходить с предложениями новых книг, а в «MDV» продолжали ему отказывать. В конце концов редакторы приняли его набросок романа под названием «Hoch-Zeit am Honigsee» («Свадьба у медового моря»), который обладал подходящей пролетарской тематикой, но не мог похвастаться сильным сюжетом. После шести лет споров и шести полных версий книги редакторы получили малоприемлемую рукопись. В ней не было проблем с идеологией. Наоборот, роман мог показаться слишком догматичным. Рейновски столь вопиюще отрицал эстетический подход к литературе, что сводил ее к инструменту продвижения социальной линии партии. Редакторы работали над книгой столь же тяжело, сколь и автор, и не собирались больше печатать какие-либо его работы[2].

Большинство авторов были сговорчивы, и переговоры с ними подразумевали искренний компромисс. Иногда редакторы принимали отказ автора вносить правки, даже если черновик выглядел недостаточно марксистским[3]. Чаще они настаивали на изменениях, но дипломатично и с готовностью идти на уступки, чтобы сделать их приемлемыми. Автобиографический роман Урсулы Хёнч-Харендт «Wir Flüchtlingskinder» («Мы — дети беженцев») затрагивал щекотливую тему высылки судетских немцев из Силезии после того, как

1. Dossier Rähmer, DRI.2188.
2. Dossier Reinowski, DRI.2188.
3. См., например: Dossier Ebersbach, DRI.2189.

она перешла к Польше по результатам Потсдамского соглашения 26 июля 1945 года. Редакторы просили внести изменения, которые подчеркнули бы восточногерманскую версию событий и противоречили «реваншистской» истории ФРГ. Вдобавок к историческим отсылкам нужно было изменить главную героиню романа. Хёнч-Харендт пришлось переработать даже литературное изображение своего отца, который был описан слишком положительно для социал-демократа. Кроме того, ей следовало убрать сцену изнасилования, бросавшую тень на образ Красной армии, и меньше демонизировать Гитлера, чтобы не приписывать все зло фашизма влиянию одного человека. Благодаря упорной работе и гибкости автора редакторы добились создания книги, которая не противоречила «исторической правде» и, как им казалось, могла помочь развить ее понимание среди молодого поколения[1].

Из дела в дело можно проследить, как редакторы формировали облик восточногерманской литературы, вычеркивая абзацы, перестраивая сюжет, изменяя характер персонажей и исправляя отсылки к историческим и общественным вопросам. Серьезная или поверхностная редактура касалась как эстетики, так и идеологии, что для авторов и редакторов было непременным аспектом той игры, которую они вели, обсуждая рукопись. Конфликты случались, но рапорты демонстрируют атмосферу взаимного уважения, а не борьбы и притеснений. Разумеется, нужно сделать скидку на их предвзятость и помнить, что там ничего не сказано об авторах, которые стискивали зубы и проклинали государство за переработку своих произведений или отказ публиковать их. Но, что касается обычного ведения дел, в досье можно увидеть процесс постоянных рабочих переговоров. Хельга Дути выражает их общий настрой, когда в заключение своего

1. Dossier Höntsch-Harendt, DRI.2189.

рапорта о «Buna: Roman eines Kunststoffes» («Буна: борьба за синтетический материал»), приключенческом романе о гонке между США и Германией в попытке произвести синтетическую резину во время Второй мировой войны, пишет: «Сотрудничество между автором и издателем было на всех этапах плодотворным и доверительным»[1].

Процесс исправлений на этом не заканчивался, потому что рукопись, получив одобрение редактора, должна была быть проверена рецензентами со стороны и, наконец, цензорами в ГАП. Редакторы запрашивали отзывы от рецензентов примерно так же, как это делается в некоммунистическом мире. У них были личные связи с учеными и экспертами в разных областях, и редактор мог обеспечить рукописи хорошую судьбу, правильно подобрав рецензентов. Те, со своей стороны, подготавливали отзывы с большим старанием. Обычно они писали от трех до пяти страниц с комментариями насчет тематики, стиля и, если требовалось, идеологической верности произведения и получали гонорар от сорока до шестидесяти восточногерманских марок за свои труды. Даже детективы заслуживали критического рассмотрения. Редакторы отсылали их специалистам из полиции (*Volkspolizei*), если им нужна была оценка сбора улик или совершения вскрытия[2].

Политические соображения выходили на первое место в отзывах на работы в области общественных наук и истории. «So war es: Lebensgeschichten zwischen 1900–1980» («Как это было: истории жизни между 1900 и 1980 годами»), социологическое исследование фабрики по производству электрических лампочек, написанное Вольфгангом Херцбергом, потребовало серьезного вмешательства редакторов, потому что основывалось на интервью с рабочими, которые передавали

1. Dossier Künne, DRI.2189.
2. См., например: Dossier Kruschel, Heinz, DRI.2189; Dossier Scherfling, Gerhard, DRI.2188.

«политически неграмотные» и «недиалектические» воспоминания об их жизни при Третьем рейхе. Убедив Херцберга переписать несколько черновиков, редакторы сочли рукопись готовой к публикации, но рецензенты были не согласны. Один из них замечал, что текст не показывает монополистские и капиталистические корни гитлеризма, а другой настаивал на том, чтобы прямые цитаты из устной речи были переформулированы так, чтобы пролетарии звучали более революционно. Редакторам пришлось согласиться, а автору — еще раз переписать свой текст, прежде чем отправить его вместе с отзывами на окончательное утверждение в ГАП[1].

Когда файлы достигали кабинетов на Клара-Цеткин-штрассе, они подвергались более профессиональной цензуре. В отличие от редакторов и рецензентов сотрудники ГАП оценивали текст согласно его месту среди всей книжной продукции, то есть всего, что входило в ежегодный план. Но воспринимая литературу в таком масштабе, они бдительно высматривали не только неприемлемые высказывания, но и любые сложности, которые могли возникнуть с их противниками из *Kultur*. На примере Марион Фукас, чиновницы из ГАП, имевшей дело в основном с поэзией и художественной литературой, можно рассмотреть, как осуществлялись корректировки. Она подчеркивала в отзывах фрагменты, которые казались ей важными, и, если они не противоречили ее собственному пониманию рукописи, писала: «Согласна с мнением издательства» — в графе на первой странице папки[2]. То, как она обращалась с проблематичными делами, можно увидеть в случае с «Errinerung an eine Milchglasscheibe» («Воспоминание об инее на оконном стекле»), сборником стихотворений Штефана Меншинга. Подчиненные Фукас обратили

1. Dossier Herzberg, DRI.2189.
2. Например, ее заметка в: Dossier Meinck, Willi, DRI.2188.

внимание на то, что Меншингу свойственен «критический тон» в тех случаях, когда он писал о таких чувствительных темах, как милитаризм. Но подробный отзыв от Сильвии и Дитера Шленштедт, самых доверенных рецензентов «MDV», развеял эти опасения. Они объясняли, что познакомились с Меншингом, автором, особенно привлекательным для молодого поколения, и убедили его убрать из сборника некоторые стихотворения и изменить другие. Поэтому его можно считать поэтом, сочетающим «художественный талант с марксистскими основами эстетической позиции», что Фукас подчеркнула в рапорте от издательства, написанном Хельгой Дути. Эберхард Гюнтер, директор «MDV», ранее работавший цензором в ГАП, подтвердил эти выводы в письме, подчеркивающем готовность Меншинга вносить изменения в текст. Как и Шленштедты, Гюнтер говорил с ним и смог убедить заменить двумя невинными стихотворениями вызывающее беспокойство «Nachtgedanken» («Наступление ночи»). Убежденная этими мнениями, Фукас выдала свое согласие, заметив, что «существенная политическая проблема» была разрешена[1].

Она колебалась, прежде чем дать ход роману Клауса Новака «Das Leben Gudrun» («Жизнь Гудрун»). Хотя издательство рекомендовало его к печати, в отзыве рецензента отмечалось, что Новак использует позднебуржуазные литературные приемы, затрудняющие восприятие сюжета. Фукас провела линию рядом с этим фрагментом отзыва и развила тему в собственном рапорте. Она не могла найти в романе никакой «нити Ариадны», которая позволила бы ей понять, что пытается сказать автор. Фукас задавалась вопросом, передает ли позднебуржуазный стиль идеологическое послание. Ответа на него она не дала, но, очевидно, подразумевала, что передает. Фукас считала себя обязанной предупредить

1. Dossier Mensching, DRI.2188.

о растущем стремлении авторов писать в такой манере, которая может отрезать их от массового читателя. Стилистическую туманность романа Новака нельзя была исправить, убрав или добавив какие-то фрагменты, потому что она повсюду проникала в текст. Но она хотя бы не бросала вызов партии, так что Фукас решила не препятствовать ее публикации[1].

С более привычными рукописями она обращалась согласно проверенным процедурам ГАП. Книга о Мозамбике и жизни африканцев в Европе должна была быть очищена от намеков, что в ГДР может существовать расизм. Фукас проверила список правок, рекомендованных рецензентом, чтобы убедиться, что они вошли в окончательную версию рукописи, и отправила текст для одобрения в Министерство иностранных дел[2]. Когда коллега из ГАП раскритиковала слабый финал романа, Фукас поддержала ее, несмотря на рекомендации Хельги Дути, которая подчеркивала, насколько тщательно редакторы из «MDV» работали вместе с автором над четырьмя версиями текста. Рукопись отправилась обратно в издательство, где пришлось готовить пятый вариант, прежде чем книга получила разрешение на печать[3]. Кроме того, Фукас отвергла предложение «MDV» разрешить публикацию мемуаров писательницы о детстве в Кёнигсберге. Хотя текст оставался верен линии партии в подходе к «реальному социализму», он был слишком сентиментальным в том, что касалось изображения матери автора, и слишком снисходительным относительно готовности ее отца сотрудничать с нацистами. Редакторы настаивали, что они усердно работали вместе с автором, чтобы исправить это, но Фукас отослала рукопись назад, наказав работать еще усерднее[4].

1. Dossier Nowack, DRI.2188.
2. Dossier Püschel, Ursula, DRI.2188.
3. Dossier Speitel, Ulrich, DRI.2188.
4. Dossier Schulz-Semrau, Elisabeth, DRI.2188.

Несмотря на такие случаи, цензоры в Берлине не обращались с редакторами из издательств как с подчиненными. Иногда редакторы оспаривали рекомендации, пришедшие из ГАП[1], и обмен мнениями происходил в атмосфере взаимного уважения и профессиональной солидарности. Не было необходимости напоминать, что партия имела монополию на власть, ведь ее члены занимали руководящие посты в издательствах и государственной администрации. Но в разном положении они использовали свою власть по-разному, и в каждом случае была возможность для переговоров. В системе находилось место множеству ролей и отношений — между авторами и редакторами, редакторами и рецензентами, издательством и ГАП, ГАП и отделом культуры ЦК, даже между отдельными людьми, занимающими позиции в верхах власти, — Хёпке, Хоффманом, Рагвитц, Хагером и Хонеккером. А самые важные переговоры проходили в голове самого автора. Далеко не ограничиваясь профессионалами из ГАП, цензура пронизывала всю систему. Она была принята всеми: писателями и редакторами, бюрократами и аппаратчиками — как ключевой аспект превращения рукописи в книгу.

1. См., например: Dossier Herold, Ulrich, DRI.2188.

Жесткие меры

Описание переговоров может создать неверное представление о ситуации. Если рассматривать только обычную повседневную работу цензуры, все может показаться куда безобиднее, чем на самом деле. Власть режима основывалась на насилии, как было продемонстрировано во время подавления беспорядков в Берлине 17 июня 1953 года и как легко было догадаться по 500 000 советских солдат, расквартированных по всей ГДР до самого конца ее существования. Менее заметно, но более глубоко затрагивали общество действия тайной полиции (Штази). Авторы и редакторы знали, что за ними наблюдают и записывают их разговоры, но не могли себе представить масштаба слежки, пока после падения Стены архивы Штази не были рассекречены. Лутц Ратенов обнаружил, что бумаги о нем в архивах Штази насчитывают 15 000 страниц[1]. А на Эриха Лёста накопилось тридцать одно дело, каждое около 300 страниц, только за период с 1975 по 1981 год. В 1976 году писатель впервые заметил, что кто-то разбирал его телефон. В 1990-м, прочитав свое дело, он обнаружил, что в Штази записывали все его телефонные разговоры и облазили все углы квартиры. Они собрали столько материала обо всех его друзьях и родственниках, что на его основе можно было составить многотомную биографию, куда более подробную, чем то, что сам писатель смог бы восстановить

1. Stasi-Akten zwischen Politik und Zeitgeschichte: Eine Zwischenbilanz, ed. Siegfried Suckut and Jürgen Weber (Munich, 2003), 161.

по памяти или собственным записям[1]. По мере того как всплывали все новые и новые бумаги, жители Восточной Германии с ужасом узнавали, что информация стала основным залогом власти при полицейском режиме благодаря бесчисленным помощникам: друзьям, доносившим на друзей, мужьям и женам, готовым предать друг друга, даже диссидентам, докладывающим о литературной деятельности. Среди последних оказалась Криста Вольф, недолго сотрудничавшая со Штази как «IM» («Inoffizieller Mitarbeiter», то есть информатор) под кодовым именем Маргарета[2].

Хотя в последнее десятилетие существования режима все больше сил уделялось сбору информации, репрессии сбавили обороты. После 1956 года, когда Никита Хрущев начал осторожную десталинизацию в Советском Союзе после XX съезда партии, ГДР еще долго оставалась оплотом сталинизма. Но в зависимости от обстоятельств с интеллектуалами поступали более или менее жестоко. Тяжелее всего было после советского подавления беспорядков в Берлине в 1953 году и в Польше и Венгрии в 1956-м. Последствия этих событий для издательского дела можно оценить по мемуарам Вальтера Янки, который в 1956 году был уволен с поста директора

1. Лёст опубликовал подробные выдержки из досье в «Der Zorn des Schafes». Обратите внимание в особенности на с. 84 и 148, а также его более позднее описание в «Die Stasi war mein Eckermann: Mein Leben mit der Wanze» (Göttingen, 1991).
2. Из множества исследований взаимодействия Штази и интеллектуалов обратите внимание на: *Walther.* Sicherungsbereich Literatur, 21, — где приведены документы, фиксирующие роль Кристы Вольф и Сони Комбэ. Сотрудничество Кристы Вольф со Штази впервые упоминалось в статье в «Berliner Zeitung» (Jan. 21, 1993), которая была перепечатана в «Der Spiegel» (Jan. 25, 1993) и позже широко обсуждалась в германской прессе. Документы Штази по наблюдению за самой Кристой Вольф насчитывают сорок два тома. Друг из Восточной Германии в 1992 году сообщил мне, что и на меня есть досье в Штази, и процитировал рапорт, где меня называли «прогрессивным молодым буржуа».

«Aufbau Verlag», а после падения Стены с помощью архивов Штази составил полную картину своего столкновения с государством.

Трудно было представить себе более убежденного и проверенного временем коммуниста, чем Янка[1]. Выходец из рабочего класса, он возглавлял коммунистическую молодежную группу, пока в 1933 году в возрасте девятнадцати лет его не арестовало гестапо. Проведя восемнадцать месяцев в тюрьме, Янка был выслан в Чехословакию, вернулся в Германию как подпольный активист, присоединился к антифранкистским силам во время Гражданской войны в Испании, дослужился до командующего дивизией Карла Маркса, отличился во многих сражениях и был трижды ранен, а в конце войны вместе со своими людьми попал в тюрьму на три года. В 1941 году он сбежал из тюрьмы и добрался до Мексики через Марсель, Касабланку и Гавану. На протяжении Второй мировой Янка работал в Мексике директором (и наборщиком) в маленьком издательском доме, публикующем произведения немецких беженцев вроде его друзей Анны Зегерс и Генриха Манна, наиболее выдающихся прозаиков. Вернувшись в Берлин в 1947 году, Янка усердно служил партии и получил должность директора «Aufbau Verlag», которое превратил в самое влиятельное издательство художественной литературы и беллетристики в Восточной Германии в послевоенные годы. Ко времени Венгерского восстания Янка занимал один из тех ключевых постов, на которых в ГДР сходились вместе культура и политика. Поэтому он был вправе вмешаться, когда получил телефонный звонок от Анны Зегерс, сообщившей, что все каналы связи с Будапештом отрезаны и Дьёрдь Лукач, философ, литературный критик и один из самых

1. Следующее описание основано на: *Walter Janka*. Schwierigkeiten mit der Wahrheit (Reinbek bei Hamburg, 1989); *Walter Janka*. Die Unterwerfung: Eine Kriminalgeschichte aus der Nachkriegszeit (Munich, 1994).

выдающихся авторов «Aufbau Verlag», в опасности. Вероятно, ему угрожали «контрреволюционные» силы, свергнувшие коммунистический режим. Зегерс направила Янку к своему другу и коллеге — писателю Йоханнесу Р. Бехеру, занимавшему пост министра культуры. Бехер дал Янке машину с министерским шофером для секретного задания — переговоров об освобождении Лукача из заключения, в котором он предположительно находился.

Как вспоминает Янка в своих мемуарах «Schwierigkeiten mit der Wahrheit» («Проблемы с правдой»), в последний момент задание было отменено Бехером, которому партийный начальник Вальтер Ульбрихт сообщил, что советские войска со всем разберутся. На самом деле Лукач не был захвачен венгерскими революционерами. Он присоединился к ним и служил министром в антисоветском правительстве Имре Надя, пока силы СССР не уничтожили его. Хотя Надь и его соратники были тайно осуждены и казнены, Лукачу разрешили покаяться и продолжить свои философские изыскания. В это время агенты Штази вели Янку в наручниках в тюрьму. Ему приказали встать перед гигантским портретом Сталина, а потом после того, как наручники сняли, раздеться и позволить всем сопровождающим офицерам себя обыскать. Янке позволили одеться и сопроводили в зловонную подземную камеру без окон, где он оставался отрезанным от мира в течение следующих восьми месяцев. Его допрашивали, оскорбляли и пытались запугать, но не пытали. Как выяснил Янка, он был виновен в преступном сговоре, который, видимо, организовал вместе с группой интеллектуалов, вдохновленных Лукачем, чтобы свергнуть партию и восстановить капитализм. Когда наконец он предстал перед судом, то увидел Анну Зегерс, вдову Брехта Хелену Вайгель и других выдающихся литераторов, бывших его друзьями, которые в ряд сидели перед ним. Они молча смотрели перед собой. Режим требовал от них увидеть унижение

Янки как символ начала нового цикла сталинизации и наведения порядка среди интеллектуалов. Янка хотел вызвать Йоханнеса Бехера свидетельствовать в свою защиту, потому что он не только санкционировал операцию по освобождению Лукача, но даже предлагал либерализировать интеллектуальную жизнь в ГДР, избавившись от цензоров. Но Бехер не мог прийти на помощь. Он, следуя линии партии, полностью поменял свою позицию, и суд продолжался в стиле классических сталинистских показательных процессов. Янку не расстреляли, но приговорили к пяти годам одиночного заключения (без какой-либо связи с внешним миром, кроме посещений жены, ограниченных двумя часами в день) в Баутцене, нацистском концентрационном лагере, превращенном коммунистами в тюрьму[1].

Янка вспоминает о своем аресте и суде без капли жалости к себе и излишнего драматизма. Более того, он пишет, что при раннем сталинизме в ГДР дела обстояли хуже. Интеллектуалов и политических деятелей похищали, пытали и тайно судили. Кто-то исчез в Сибири. Кто-то сошел с ума и покончил с собой[2]. Однако, хотя не такой ужасный, как некоторые другие примеры жестокости, суд над Янкой и его заключение стали началом новой волны репрессий, призванной искоренить любую идеологическую заразу, которая могла попасть в ГДР из Венгрии и Польши или распространяться интеллектуалами изнутри. Связи Янки с Лукачем стали основанием для кампании по уничтожению предполагаемого контрреволюционного заговора, возникшего в кабинетах «Aufbau Verlag» и «Sonntag», культурного

1. Здоровье Янки было серьезно подорвано в тюрьме, но через какое-то время он смог оправиться и устроиться на работу переводчиком в индустрии кино. Из-за страха получить новый срок он открыто не говорил о своем опыте до 28 октября 1989 года, когда Хайнер Мюллер и другие устроили в «Deutsches Theater» чтение текста, позже опубликованного как «Schwierigkeiten mit der Wahrheit».
2. Die Unterwerfung, 27–28.

еженедельника, которым управляли редакторы, связанные с «Aufbau». Их сотрудники были уволены, многие редакторы заключены в тюрьму, а их место заняли аппаратчики, которые следили, чтобы в печать не попало ничего, противоречащего линии партии. Штази сеяла ужас среди интеллектуалов, арестовывая студентов, журналистов, писателей и других «инакомыслящих» (*Andersdenkender*) — всего восемьдесят семь человек за 1957 год[1]. Так, после недолгой оттепели сталинизм в 1957-м с новой силой вернулся в ГДР. Он стал сосредоточием цензуры, особенно после возведения Берлинской стены в 1961 году, и продолжал влиять на издательское дело следующие двадцать лет.

Карьера Эриха Лёста, автора, специализировавшегося на легкомысленной литературе разных жанров, показывает возрождение репрессий после 1950-х. Как и Янка, Лёст изложил свои воспоминания в форме мемуаров, дополненных подборкой документов из архивов Штази[2]. Он был представителем более молодого поколения писателей из Литературного института Йоханнеса Р. Бехера при Университете Лейпцига, где они набирались смелых марксистских идей, провозглашаемых философом Эрнстом Блохом и литературоведом Гансом Майером — двумя профессорами под пристальным надзором Штази. (Блох эмигрировал в Западную Германию во время бури, спровоцированной делом Янки, а Майер задержался до 1963 года, после чего тоже бежал.) Лёст в глазах Штази стал выделяться среди других студентов, приняв участие в открытой дискуссии о десталинизации. В ноябре 1957 года его судили и приговорили к семи с половиной годам заключения, тоже в Баутцене. После освобождения Лёст понимал, что для него теперь закрыт тесный мир литературы ГДР. Но однажды он столкнулся со своим

1. Ibid., 50–51.
2. Это описание основано на «Der Zorn des Schafes» Лёста и «Die Stasi war mein» Эккермана.

редактором из «MDV», который предложил Лёсту писать детективы, используя псевдоним и сводя место действия романов к капиталистическим странам, где всегда можно использовать аллюзии для обличения социальной несправедливости.

Лёст настрочил столько триллеров, что вскоре смог жить на доходы от них как независимый автор. Он держался неприметно, скромно жил в Лейпциге, избегал контакта с Союзом писателей, из которого его исключили. Несмотря на все эти предосторожности, он периодически испытывал неприятности с цензурой. Целый тираж шпионского романа был уничтожен, потому что там упоминался секретный агент Советского Союза, а в детективную историю, происходящую в Греции, нужно было внести существенные поправки, потому что цензоры сочли, что критические замечания в романе можно воспринять как завуалированные намеки на проблемы ГДР. Но к 1970 году Лёст стал успешным писателем, и друзья убеждали его взяться за более серьезные книги.

В «MDV» не разделяли их мнения. Директор издательства Ганс Закс, поддерживавший Лёста до и после его заключения, осмелился опубликовать две неоднозначные работы, «Nachdenken über Christa T» («Задача Кристы T») Кристы Вольф и «Buridans Esel» («Буриданов осел») Гюнтера де Брейна, и это в 1968 году, когда Пражская весна и советское вторжение в Чехословакию вызвали в ГДР новый всплеск страха перед беспорядками. Хотя авторы избежали скандала, Закс вынужден был письменно покаяться в идеологической близорукости в «Neues Deutschland», официальной газете СЕПГ, а потом уволиться. Лёст говорит, что он стал школьным учителем, скатился в алкоголизм и умер в безвестности сломленным человеком. Новый директор «MDV» Эберхард Гюнтер и его главный редактор Хельга Дути, согласно воспоминаниям Лёста об общении с ними, были аппаратчиками, верными линии партии. Они просто

отказались печатать «Schattenboxen» («Бой с тенью»), роман, действие которого происходило в ГДР и где рассказывалась история человека, не способного вернуться к нормальной жизни после тюремного заключения в Баутцене. Другой издатель, Николас Лебен, счел рукопись приемлемой, за исключением одной вещи — цензоры из ГАП никогда не позволили бы использовать слово «Баутцен», потому что оно наводило на мысль о неприятных параллелях между режимом нацистов и ГДР. Лёст разрешил редактору заменить его, а когда книга вышла, обнаружил, что эта молодая красивая женщина, позже перебравшаяся в Западный Берлин, несомненно, специально забыла убрать упоминания Баутцена из двух абзацев текста.

В 1974 году Лёст начала переговоры с «MDV» о другом романе, «Es geht seinen Gang» («Все идет своим чередом»), который касался одной важной, но официально избегаемой проблемы ГДР, а именно отсутствия возможностей для молодых технических специалистов двигаться вверх по карьерной лестнице. Гюнтер одобрил идею достаточно быстро, чтобы подписать предварительный контракт, но Дути и ее заместитель сочли предложенный вариант оскорбительным, равно как и рецензенты со стороны, которых они выбрали. В 1976 году Лёст мог позволить себе торговаться, ведь его издатели продали 185 000 экземпляров его книг, выходящих несколькими тиражами. Но он очень хотел съездить на Запад и был готов на уступки. Наконец в апреле 1977-го они с Гюнтером встретились, чтобы обсудить последний вариант романа. Гюнтер, ранее работавший цензором в ГАП, счел двадцать шесть отрывков политически неприемлемыми. Самая «опасная» глава, где содержалось провокационное описание мирной демонстрации, во время которого полицейская собака вонзила зубы в ягодицы главного героя, должна была быть сильно урезана по настоянию Гюнтера, иначе он отказывался посылать рукопись в ГАП. Лёст протестовал, но в какой-то

момент схватил ручку и вычеркнул все спорные отрывки, указанные Гюнтером. Они спорили четыре часа, Гюнтер настаивал, Лёст сопротивлялся:

> Потом началось: здесь — слово, там — строчка, тут — не хватает ясности понятий. После девятого возражения я сказал: «Брось, Эберхард, позволь мне что-то отстоять. Это необходимо для моей самооценки». «В этом случае — нет, — ответил он. — В следующем». После трех часов обсуждений напряжение спало, и я предложил сделать паузу и чего-нибудь выпить. «Сперва еще пара небольших нюансов», — ответил он. В какой-то момент Гюнтер сам перестал понимать, какие, собственно, претензии у него были к тем или иным оборотам. «Здесь — не так важно. Здесь… Пусть остается. А здесь…» И я согласился: «Эберхард, ты абсолютно прав».
>
> Потом мы откинулись назад, довольные тем, сколько труда уже позади… Мы чувствовали уважение друг к другу, как боксеры, продержавшиеся до последнего раунда[1].

Надежным образом очищенный роман «Es geht seinen Gang» вышел в 1978 году одновременно в ГДР и, с разрешения Бюро по авторским правам, в ФРГ. Это был большой успех. В награду за сотрудничество Лёсту позволили выступить с несколькими речами в Западной Германии, где его встретили восторженные поклонники и издатели, желающие заполучить рукопись. Потом наступило охлаждение. «Frankfurter Allgemeine Zeitung», влиятельная западногерманская ежедневная газета, напечатала статью, где говорилось о «Es Geht seinen Gang» как о свидетельстве глубокого недовольства положением дел в ГДР. Лидеры партии, как всегда, чувствительно относящиеся к нелицеприятным публикациям на Западе, объявили официальный выговор Гюнтеру и Дути за то, что они не смогли должным образом проконтролировать книги, публикующиеся «MDV». В это время

1. Der Zorn des Schafes, 96.

Лёст закончил мемуары, где вспоминал о своих проблемах с партией. Гюнтер отказался их рассматривать. Он предупредил, что книгу нельзя публиковать в Восточной Германии, а если она выйдет на Западе, карьере Лёста в ГДР придет конец. Вскоре после этого Гюнтер принес новые дурные вести: ГАП запретил публикацию второго издания «Es Geht seinen Gang». Он предположил, что это решение могут отменить, если Лёст согласится внести дополнительные правки, но тот отказался. Пока первое издание продолжало продаваться, ГАП старалась принизить его влияние на общественное мнение с помощью негативных отзывов в двух крупнейших периодических изданиях ГДР. Они также потребовали от Бюро по авторским правам отклонить запрос Лёста на издание сборника рассказов в Западной Германии. Годы спустя, пролистывая тридцать одну толстую папку из архивов Штази, Лёст обнаружил, что эти меры были частью масштабной кампании Штази и ГАП, целью которой было представить его вражеским агентом. В марте 1981 Лёст решил, что с него хватит. Он понял, что в ГДР не сможет существовать как писатель, и во время следующей поездки в ФРГ остался там.

К этому времени в Западной Германии жило множество экспатриантов с Востока. Самым известным из них был Вольф Бирман, упрямый поэт и певец с острым как бритва умом. Ему разрешили выехать с концертным туром в ФРГ в ноябре 1976 года. Но, после того как Бирман выступил в Кёльне, Политбюро лишило его гражданства и запретило возвращаться на родину. Двенадцать выдающихся восточногерманских писателей, включая Кристу Вольф, Штефана Хайма, Франца Фюмана и Фолькера Брауна, подписали письмо протеста, которое распространялось через агентство Франс Пресс и позже было поддержано сотней других интеллектуалов. Волна недовольства прокатилась по ГДР, а за ней последовала волна репрессий. Арестовывали студентов, составляли черные списки писателей, затыкали рты диссидентам.

Сара Кирш, Юрек Беккер, Гюнтер Кунерт и другие выдающиеся авторы были высланы из страны. Юрген Фухс попал в тюрьму на девять месяцев, а потом сбежал в ФРГ. Роберта Хафемана посадили под домашний арест, под которым он оставался два с половиной года. Штефана Хайма исключили из Союза писателей и не пускали в восточногерманские издательства. Криста Вольф ушла из центрального комитета Союза писателей, а ее мужа, Герхарда Вольфа, исключили из партии (СЕПГ), как и Бекера, Ульриха Пленцендорфа и Карла-Хайнца Якобса. Автор «Die Alternative», марксистского критического трактата об обществе ГДР, тайно опубликованного в Западной Германии, Рудольф Баро был арестован, приговорен к восьми годам тюрьмы и в итоге выслан из страны. Другие писатели оказались во «внутренней иммиграции». Вместо того чтобы договариваться с издателями, они писали, используя принятое тогда выражение, «в стол», не особенно надеясь на грядущую либерализацию. Эрих Хонеккер вроде бы ее обещал через шесть месяцев после вступления в должность, когда на Восьмом съезде партии в декабре 1971 года провозгласил, что «в литературе и искусстве больше не будет табу»[1]. Случай Бирмана продемонстрировал лживость

1. Хонеккер сделал свое известное замечание об отсутствии табу зависящим от искренней преданности социализму: «Wenn man von der festen Position des Sozialismus ausgeht, kann es meines Erachtens auf dem Gebiet von Kunst und Literatur keine Tabus geben» (*Martin Sabrow*. Der unterschätzte Diktator // Der Spiegel, Aug. 20, 2012). Оно часто упоминается в письмах авторов к партийным чиновникам с 1971 по 1989 год, но в 1980-е его обычно используют, чтобы выразить разочарование продолжением репрессивной работы цензуры. Например, в письме к Хагеру, недатированном, но полученном 7 января 1988 года (ms. 42313), Райнар Кердле протестует против отказа ГАП дать разрешение на печать его романа «Eine gemischte Gesellschaft», замечая: «Я все еще частично помню выводы VIII съезда партии, согласно которым в нашем обществе не должно быть табу для искусства и литературы». Эрих Лёст вспоминает свое разочарование в «berühmten Worte» Хонеккера в «Der Zorn des Schafes», с. 60.

этих слов и напомнил, что писатели должны мириться с жестокой цензурой, пока остаются в ГДР[1].

Но те авторы, которые решили не покидать страну, не отказались от своих коммунистических убеждений. Несмотря на повторяющиеся случаи репрессий, они, как правило, сохраняли желание работать внутри системы. Конечно, у большинства из них не было выбора, им приходилось продолжать карьеру, идя на все возможные компромиссы. Но если мы объявим их карьеристами, то проигнорируем ограничения, пронизывающие мир, в котором они жили. Эти писатели уверились в существовании того, что называлось «реальный социализм», так они обычно описывали несовершенный, но превосходящий другие общественный порядок в Восточной Германии, и, насколько можно понять, сохраняли веру в его фундаментальную правильность. Криста Вольф, никогда не отказывавшаяся от преданности социалистическим идеалам ГДР, выразила такую позицию, давая интервью во время поездки в Италию. Согласно расшифровке ее слов, которая была занесена в архивы партии, Вольф приняла поправки цензоров на шестидесяти страницах, потому что понимала, что литература играет важную роль в реальном социализме:

> Литература ГДР имеет особое значение, куда большее, чем в западных странах. Она должна выполнять задачи, которыми на Западе занимается журналистика, общественная критика и идеологические обсуждения. Люди ждут от писателей ответов на всевозможные вопросы, которыми на Западе занимаются специальные учреждения.

1. Среди множества описаний дела Бирмана наиболее достойно внимания: *Derek Fogg.* Exodus from a Promised Land: The Biermann Affair // The Writer and Society in the GDR / Ed. Ian Wallace (Fife, Scotland, 1984), 134–51. Одним из наиболее интересных материалов там являются размышления самого Бирмана: Wie man Verse macht und Lieder: Eine Poetik in acht Gängen (Cologne, 1997), глава 7.

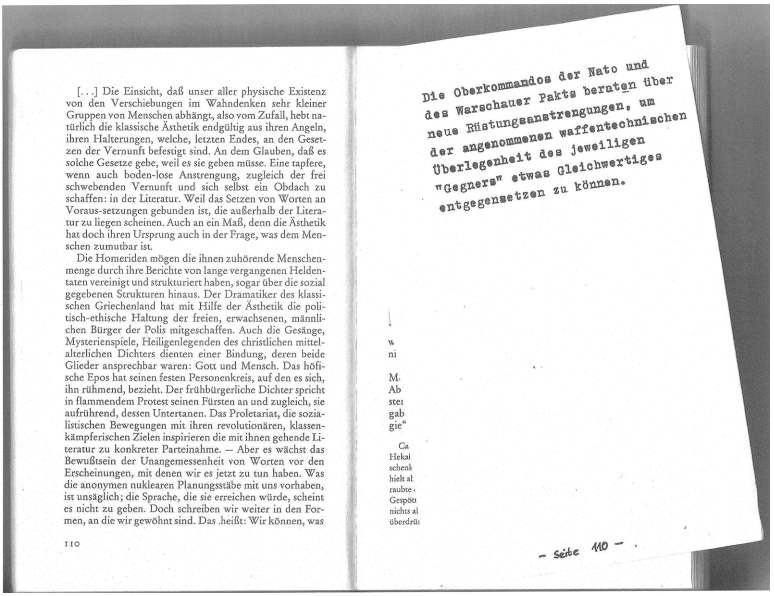
Поэтому она имела реалистичный взгляд на цензуру:

> Я не знаю ни одной страны в мире, где не было бы идеологической цензуры или цензуры рынка. Я не считаю себя жертвой. Я стала бы ею, если бы цензура превратилась в самоцензуру. Я считаю себя борцом, старающимся раздвинуть границы дозволенного, расширить область того, что можно говорить[1].

Обозначив преданность системе, наиболее знаменитые восточногерманские писатели заслуживали особого обращения[2]. Они, как правило, публиковали свои книги одновременно в обеих Германиях, потому что ГДР отчаянно нуждалась в деньгах ФРГ и забирала большую часть прибыли себе. Разумеется, западные издания часто содержали фрагменты, которые цензоры убирали из книг, продаваемых на Востоке. Но запрещенные материалы достигали читателей ГДР через каналы контрабанды или фотокопии нужных страниц, то есть через самиздат.

Криста Вольф имела такое влияние на власть, что требовала от ГАП помечать многоточиями семь отрывков,

1. Перевод интервью, опубликованного в «La Stampa» 4 июля 1984 года, сделанный для отдела культуры ЦК партии (ms. 32747).
2. У меня нет возможности вдаваться в подробности, но я перечислю досье в бумагах бюро Хагера, которые могут заинтересовать других исследователей: mss. 38788 (Volker Braun, Günther de Bruyn); 36834 (Volker Braun); 39000 (Christa Wolf); 38786 (Christa Wolf, Monika Maron); 39005 (Franz Fühmann); 38787 (Erwin Strittmatter); 38789 (Monika Maron, Heiner Müller); 36835 (Christoph Hein). В обсуждении с Кристель Бергер, о котором Урсуле Рагвитц и Курту Хагеру сообщили в докладе 20 октября 1985 года (ms. 39000), Криста Вольф говорила о той роли, которую ей хотелось бы играть в ГДР: она мечтала посвятить себя писательству вдали от Берлина в городке Возерин в Мекленбурге, но боялась стать оторванной от культурной и политической жизни Восточной Германии. Несмотря на невозможность говорить о щекотливых вопросах, она надеялась остаться в СЕПГ, как ей советовал Эрих Хонеккер, хотя могла понять, почему партия хочет ее исключения.



[. . .] Die Einsicht, daß unser aller physische Existenz von den Verschiebungen im Wahndenken sehr kleiner Gruppen von Menschen abhängt, also vom Zufall, hebt natürlich die klassische Ästhetik endgültig aus ihren Angeln, ihren Halterungen, welche, letzten Endes, an den Gesetzen der Vernunft befestigt sind. An dem Glauben, daß es solche Gesetze gebe, weil es sie geben müsse. Eine tapfere, wenn auch boden-lose Anstrengung, zugleich der frei schwebenden Vernunft und sich selbst ein Obdach zu schaffen: in der Literatur. Weil das Setzen von Worten an Voraus-setzungen gebunden ist, die außerhalb der Literatur zu liegen scheinen. Auch an ein Maß, denn die Ästhetik hat doch ihren Ursprung auch in der Frage, was dem Menschen zumutbar ist.

Die Homeriden mögen die ihnen zuhörende Menschenmenge durch ihre Berichte von lange vergangenen Heldentaten vereinigt und strukturiert haben, sogar über die sozial gegebenen Strukturen hinaus. Der Dramatiker des klassischen Griechenland hat mit Hilfe der Ästhetik die politisch-ethische Haltung der freien, erwachsenen, männlichen Bürger der Polis mitgeschaffen. Auch die Gesänge, Mysterienspiele, Heiligenlegenden des christlichen mittelalterlichen Dichters dienten einer Bindung, deren beide Glieder ansprechbar waren: Gott und Mensch. Das höfische Epos hat seinen festen Personenkreis, auf den es sich, ihn rühmend, bezieht. Der frühbürgerliche Dichter spricht in flammendem Protest seinen Fürsten an und zugleich, sie aufrührend, dessen Untertanen. Das Proletariat, die sozialistischen Bewegungen mit ihren revolutionären, klassenkämpferischen Zielen inspirieren die mit ihnen gehende Literatur zu konkreter Parteinahme. – Aber es wächst das Bewußtsein der Unangemessenheit von Worten vor den Erscheinungen, mit denen wir es jetzt zu tun haben. Was die anonymen nuklearen Planungsstäbe mit uns vorhaben, ist unsäglich; die Sprache, die sie erreichen würde, scheint es nicht zu geben. Doch schreiben wir weiter in den Formen, an die wir gewöhnt sind. Das heißt: Wir können, was

110

Die Oberkommandos der Nato und des Warschauer Pakts beraten über neue Rüstungsanstrengungen, um der angenommenen waffentechnischen Überlegenheit des jeweiligen "Gegners" etwas Gleichwertiges entgegensetzen zu können.

– Seite 110 –

Ил. 10. Две страницы из восточногерманского издания романа «Kassandra» (1983) Кристы Вольф с отрывком из не подверженного цензуре западногерманского издания, которое подпольно распространялось в ГДР. Отрывок следовало вставить в верхний левый угол страницы 110, на место, отмеченное многоточием между квадратными скобками. Вольф согласилась внести правки, предложенные цензорами, но имела достаточно влияния, чтобы потребовать обозначить их многоточиями.

которые они убрали из романа «Kassandra»[1]. Многоточия давали читателю понять, что здесь недостает отрывка, и это в то время, когда страны советского блока протестовали против установки американских ракет средней дальности на территории Западной Европы.

1. На лекции в Магдебурге 14 ноября 1992 года Хёпке подтвердил широко распространенное убеждение, что Криста Вольф убедила ГАП вставить многоточия: *Höpcke*. Glanz und Elend der DDR-«Kultur», p. 8 (перепечатка с личной копии, посланная мне Хёпке в письме 14 июля 1994 года).

Потом распространялись полные версии опасных отрывков, перепечатанные из западногерманских изданий на листках бумаги, которые можно было вставить в нужное место. Мне удалось заполучить целый набор таких вставок. После того как я вложил их в нужные места в восточногерманской версии «Kassandra», текст неожиданным образом ожил. Вот, например, предложение, изъятое сверху страницы 110: «Высшее командование НАТО и страны Варшавского договора обсуждают наращивание вооружения, чтобы иметь возможность преодолеть предполагаемое превосходство „противника" в военных технологиях за счет чего-то равноценного»[1].

На западный взгляд эта фраза кажется удивительно *не* провокационной. Даже житель Восточной Германии мог проглядеть ее, не заметив ничего подозрительного. Но машинописная вставка подчеркивала ее так, чтобы стало заметно скрытое послание: разрушительные силы на обоих фронтах холодной войны преследуют одни и те же цели, и те и другие хотят уничтожить противника», а значит, они морально равны или в равной степени аморальны. Клаус Хёпке прекрасно знал о такой интерпретации. Он даже обсуждал ее с Вольф в 1983 году. Она отстаивала свою позицию, которую Хёпке счел непостижимой, но позволил напечатать многоточия в нужных местах[2].

1. Kassandra: Vier Vorlesungen: Eine Erzählung (Berlin und Weimar, 1987), 110.
2. «Рапорт о беседе с Кристой Вольф 22-8-1983», доклад Хёпке, предназначенный, скорее всего, Хагеру, из ms. 38786/2. «Я спросил ее, как получилось, что в третьей лекции о «Kassandra» НАТО и страны Варшавского договора были приравнены друг к другу, а также обсуждалось одностороннее разоружение (фрагменты, которые мы удалили из издания книги в ГДР). Я не мог уследить за ходом ее мысли и не мог понять, как она могла прийти к таким идеям. Криста Вольф ответила, что она прекрасно понимала, что эти взгляды противоречат тем, которые она передавала в своей работе. Она снова и снова их обдумывала. Но в конце концов пришла к мысли, что одностороннее разоружение стало бы решением проблемы».

Так что в свои поздние годы режим довольно далеко отошел от раннего сталинизма. Он был готов идти на уступки в одних переговорах за другими, как, со своей стороны, и авторы, позволяя литературе ГДР приобрести собственный облик где-то между ними. Но всегда существовали ограничения. Что происходило, когда писатели слишком далеко заходили за границы дозволенного? Исследование отдельных случаев показывает, насколько гибкой могла быть система, пока не перестала быть эффективной, и в 1987 году, то есть до падения Стены, от цензуры не отказались, по крайней мере на словах.

Пьеса: шоу не должно продолжаться

Фолькер Браун был одним из самых талантливых и провокационных писателей среди поколения, повзрослевшего в 1970-е[1]. Родившийся в 1939 году, в 1960-е он стал заведующим литературной частью (драматургом) «Berliner Ensemble», где перенял брехтовскую традицию, чему способствовала вдова Брехта Хелена Вейгель. В 1976-м, когда Браун подписал протестное письмо против высылки Вольфа Бирмана, он уже опубликовал достаточно поэтических и драматургических произведений, чтобы заполучить множество поклонников среди германских читателей, быть под пристальным наблюдением Штази и постоянно конфликтовать с цензурой на всех уровнях, от редакторов и издателей до ГАП и самого главы государства.

Если изучать карьеру Брауна по партийным архивам, можно увидеть процесс переговоров между автором и властями в наиболее неприятной форме. В самом раннем из документов, датированном 1969 годом, писатель, охваченный негодованием, с ультралевым уклоном протестует против партийного запрета на постановку его пьесы «Hans Faust» в Йене после премьеры в Веймаре:

1. Среди многих исследований о Фолькере Брауне и его наиболее известном произведении «Hinze-Kunze-Roman» достойно внимания: Volker Braun in Perspective, ed. Rolf Jucker (Amsterdam and New York, 2004); *Kai Köhler*. Volker Brauns Hinze-Kunze-Texte: Von der Produktivität der Widersprüche (Würzburg, 1996).

> И, кстати, какие же малодушные трусы те, кто пугается своих собственных [коммунистических] идей, как только они выходят за рамки документов и становятся спектаклем или даже частью жизни. Это кабинетные клерки революции, которые дрожат от страха перед ней, как чиновник перед бюрократией[1].

Через год редакторы Брауна в «MDV» и цензоры в ГАП стали настаивать на том, чтобы он исключил многие отрывки из поэтического сборника «Wir und nicht sie» («Мы и не они») и отказался от нескольких стихотворений целиком, включая то, что было озаглавлено «Die Mauer» («Стена»). Браун смог отправить копию рукописи в Западную Германию в издательство «Suhrkamp», которое опубликовало книгу полностью, и за этот акт неповиновения цензоры из ГАП отказали ему в поездке в Париж. Они также отвергли предложение Академии искусств наградить Брауна Премией Йоханнеса Р. Бехера в 1971 году[2]. К этому времени Браун заработал репутацию многообещающего драматурга, но его пьесы вольно обращались с идеологическими вопросами, что вызывало все больше проблем с партией. В 1970-х три из них, «Lenins Tod» («Смерть Ленина»), «Tinka», («Тинка») и «Guevara, oder Der Sonnenstaat» («Гевара, или Страна солнца»), подвергались преследованиям разного рода — спектакли запрещали, тексты урезали, а в публикациях отказывали. Браун продолжал протестовать и требовать уступок, настаивая на верности линии партии, а представители власти снова и снова парировали его выпады, одновременно пытаясь

1. Браун к Зигфриду Бушу, главному драматургу в Немецком национальном театре в Веймаре, без даты, копия включает письмо Арно Хохмута помощнице Хагера Эрике Хинкель (May 7, 1969, ms. 36834/1).
2. Записка из ГАП (Feb. 15, 1971, ms. 36834/1). См. также: Йоханнес Хорниг, глава отдела науки Центрального комитета партии, к Хагеру (Feb. 22, 1971, ms. 36834/1).

манипулировать писателем в своих целях. Хагер разъяснил их тактику в 1983 году в письме к Рагвитц, где приказывал не допускать постановки четвертой пьесы, «Dmitri» («Дмитрий»):

> Я считают, что при текущих обстоятельствах пьеса «Dmitri» не может быть поставлена ни в одном из наших театров, так как она, несомненно, может быть понята неправильно в том, что касается советских товарищей, равно как и поляков… Имея это в виду, нужно отметить, что пьеса также доказывает выдающийся талант Фолькера Брауна и тот факт, что за ним стоит внимательно приглядывать товарищам из «Berliner Ensemble», а также из министерства и всем остальным, кто близко общается с ним[1].

Проблемы партии с Брауном достигли пика в 1976–1977 годах из-за истории с Бирманом и запрета на постановку «Guevara», а также публикацию дополненной версии «Unvollendete Geschichte» («Незаконченная история»), рассказа, который Браун напечатал в «Sinn und Form», литературном журнале Академии искусств ГДР. Эта работа произвела неизгладимое впечатление. В рассказе шла речь о несчастной любви, напоминающей как о «Страданиях юного Вертера», так и о реальных событиях в Магдебурге, и повествование разоблачало мелочность аппаратчиков и владевшее жителями Восточной Германии разочарование в несбывшихся обещаниях социализма. 7 января 1976 года Рагвитц, Хёпке, Хагер и еще пять партийных лидеров собрались на своеобразный военный совет, чтобы решить, что делать с Брауном и как подавить растущее своеволие писателей ГДР, которое воплощали собой «Unvollendete Geschichte» и ранняя версия «Guevara». Рапорт об этой дискуссии подчеркивал опасность представлений Брауна о литературе. В нем утверждалось, что писатель считает ее

1. Хагер к Рагвитц (Nov. 2, 1983, ms. 36834/1).

заменой подконтрольной государству прессы и силой, которая может вдохновить рабочий класс захватить власть. С его точки зрения, пролетарии после войны осуществили в Восточной Германии социалистическую революцию, но власть осталась в руках аппаратчиков. Так что, заострив восприятие читателей на особенностях «реального социализма», литература могла завершить революционный процесс. В рапорте отмечалось, что власти легко могли бы заставить Брауна замолчать. Но они не хотели превращать его в диссидента. Вместо этого они собирались «приковать его к себе» с помощью тщательно продуманной стратегии. Следовало запретить любые обсуждения его работ в прессе, убедить писателя высказать позицию по основным вопросам, сделать ему соблазнительное предложение от издательства, издать сборник избранных пьес, пообещать помощь в постановке «Guevara» и отправить в поездку в Западную Германию в компании проверенного члена партии, чтобы Браун мог собрать материал для окончательной версии пьесы[1].

С одобрения Хагера Рагвитц начала осуществлять эти действия уже через два дня. Согласно рапорту, который она подала Хагеру, Рагвитц приняла Брауна в кабинете своего коллеги Манфреда Векверта. Неуверенный в себе и опасающийся за свое положение в глазах партии, как она объясняла, писатель попросил о встрече. Все было сделано согласно оговоренному сценарию. Векверт напал на Брауна, как только тот пришел, и угрожающе сообщил, что ему следует задуматься, может ли он оставаться членом партии, а потом вышел из кабинета. В течение следующего часа Рагвитц распекала Брауна. Она предупредила, что его последние работы являются нападками на партию и правительство, они снабжают аргументами антикоммунистические силы

1. Записка о встрече в отделе культуры Центрального комитета партии (Jan. 7, 1976); приведена в письме Рагвитц к Хагеру (Jan. 9, 1976, ms. 36834/2).

противников ГДР. Если Браун не хочет заслужить клеймо диссидента, ему стоит заявить о своей преданности партии и возместить урон в будущих работах. Браун казался пораженным. Он сказал, что в ужасе от того, как враги государства извратили «Unvollendete Geschichte». Браун предложил переписать рассказ, но он не мог отказаться от убеждения, что задачей писателя при социализме является критика общественного порядка. Рагвитц ответила, что поправки в тексте ему не помогут. Нужно было изменить подход и все поведение в целом. Тогда Браун признался в том, что он беспокоится, не сочтут ли его маоистом и не будут ли сравнивать с Бирманом. Он слышал, что у Хагера появились сомнения в его идеологической верности, что очень тревожило писателя, так как Хагер был для него «кем-то вроде кумира». На этом они закончили разговор, пообещав сохранить его в тайне и продолжить во время следующей встречи, потому что Браун попросил о регулярных контактах с *Kultur* и с Рагвитц в особенности. Описывая реакцию писателя, Рагвитц подчеркивала, что он выглядел наивным и неуверенным в себе, но с изворотливостью отказывался признать ошибочными свои взгляды на социализм. Хотя странно было бы ожидать немедленного изменения поведения, писателя следует держать на коротком поводке, угрожая исключением из партии и обещая поездку на Кубу[1].

1. Рагвитц к Хагеру, рапорт о разговоре с товарищем Фолькером Брауном от 9/1/1976 (ms. 36834/2). В этом рапорте приведено удивительно подробное описание того, как отношения между писателями и партией воспринимались ЦК. Рагвитц замечает: «Я спросила товарища Брауна, как его последние работы, „Gedächtnisprotokoll“ и „Unvollendete Geschichte“, сочетаются с положением члена нашей партии, и сообщила, что таким вопросом задаются многие товарищи в партии, расстроенные и до определенной степени возмущенные его поведением. Это происходит в равной степени из-за критики политики партии и правительства, содержащейся в поэме и рассказе, и из-за реакции противника. Фолькер Браун предоставил [противнику] материал для антикоммунистической пропаганды,

Браун отправился на Кубу в феврале 1976 года, но это не помогло партии получить беспроблемную версию «Guevara». Как и ранние работы писателя, пьесу можно было интерпретировать как осуждение и описание окостенения революционного духа, так как ее главным героем был Эрнесто Че Гевара, продолжающий распространять революцию вместе с повстанцами в Боливии, пока Кастро возглавлял бюрократическую систему на родине. Превращать историю в литературу и представлять на сцене священные фигуры нужно было со всей деликатностью, как Браун убедился на своей неудачной попытке описать смерть Ленина в «Lenins Tod», что было рискованной затеей, навлекшей на его голову гнев Союза писателей в 1971 году[1]. Обозначая отход от

и в то же время его — Ф. Б. — записали в так называемые диссиденты. Я дала Б. понять, что ему придется ясно объяснить свою позицию. Поэтому ему нужно будет публично заявить о своем отношении к партии правдоподобно и так, чтобы пресечь спекуляции противника. Естественно, в его будущих произведениях тоже должны быть ясно видны его убеждения. Тон моих заявлений был спокойным, профессиональным, но бескомпромиссным. Ф. Б. ответил, что пребывает в ужасе от того, как противник использовал его, что совсем не хотел этого и жаждет публично защитить свое имя. Мне стало ясно, что он обладает совершенно фантастическими и неясными представлениями о нашей жизни и роли писателя. Он выразил много идей, которые были непоследовательными или подогнанными под его личные взгляды. Мне кажется, важно заметить, что, согласно его представлениям, критическая функция литературы одновременно является конструктивной. Он заявил, что чем более критично автор описывает общество, тем более существенным будет вклад в его изменение. Это, на его взгляд, может быть достигнуто только через пересказ случаев, правдивых историй. Я постаралась в подробностях объяснить ему разницу между обстоятельствами, случаями, которые действительно произошли, и авторским взглядом и оценкой, то есть его положением и ответственностью за обобщения в литературе».

1. Арно Хохмут к Хагеру (Jan. 20, 1971, ms. 36834/1). Двумя единственными писателями, которые защищали Брауна на встречах в Союзе писателей 12 и 20 января 1971 года, были Штефан

строгого исторического повествования, Браун начал пьесу «Guevara» со смерти героя в Боливии, потом вернулся во времени к его действиям вместе с Кастро и закончил сценой, где Че оставляет сложившийся на Кубе порядок и отправляется на новый фронт революции. Пробное выступление в Университете Лейпцига в 1976 году прошло неудачно. Некоторые студенты из Кубы и Боливии пришли в ужас от такого изображения Кастро и донесли на пьесу в посольство Кубы. Они, кроме того, не одобрили второстепенный полностью выдуманный сюжет, который говорил о романтических отношениях между Геварой и Тамарой Бунке, более известной как Таня, дочерью родителей из Восточной Германии и Польши, но рожденной в Аргентине и сражавшейся вместе с повстанцами в Боливии в 1966–1967 годах. Вскоре после этого Хагер получил доклад, предлагающий запретить пьесу, если Браун не внесет существенные изменения[1].

Браун провел следующие девять месяцев, торгуясь с властями и пытаясь переписать пьесу. На встрече в июле Хагер предупредил его о необходимости изменить персонажей и сюжет, чтобы решить «тьму идеологических проблем»[2]. В конце концов Браун пересмотрел

Хайм и Криста Вольф. Похожим образом на Брауна нападали четыре года спустя за «Gedächtnisprotokoll», поэму, напечатанную в литературном журнале ГДР «Kürbiskern». См. доклад Конрада Наумана Хонеккеру (May 12, 1975, ms. 36834/2). В свою защиту Браун сказал, что не хочет быть связан с позицией Вольфа Бирмана: «Что будет для него самым ужасным развитием событий, ведь он не разделяет эту позицию».

1. Zu Volker Brauns «Che Guevara»–Ergebnisse einer Diskussion, неподписанная записка к Хагеру (July 15, 1976), вместе с неподписанным «Aktennotiz», датированным тем же числом (ms. 36834/1).
2. Записка о встрече Брауна и Хагера (July 5, 1977, ms. 36834/1). Хагер велел Брауну переработать текст так, чтобы роль Че Гевары нельзя было воспринять как критику партии, и заметил: «Истина объективно находится в передаче марксистско-ленинской теории революции, что должно быть очевидно из действий и характера персонажей».

роль Кастро, снизил внимание к любовной истории, убрал высказывания, нелестно говорящие о коммунистической партии, и превратил Че в Дон Кихота, умершего от астмы, а не в бою[1]. С согласия партийных лидеров Рагвитц и *Kultur* дали разрешение поставить пьесу в Deutsches Theater во время весеннего сезона 1977 года, а текст позволили напечатать в книге[2]. Немедленно начались репетиции. Но за тринадцать дней до премьеры кубинский посол начал неистово протестовать, жалуясь на то, что, помимо множества исторических неточностей, пьеса выставляла Че противником Кастро и «Троцким кубинской революции»[3]. В то же время Надя Бунке, мать Тамары из Польши, теперь жившая в ГДР (как и Че, Тамара погибла в Боливии), ворвалась в *Deutsches Theater*, заявляя, что пьеса позорит память ее дочери, а директива из Министерства иностранных дел предупреждала, что текст противоречит «международной линии нашей партии»[4]. К этому времени политическое и институциональное давление достигло такой высокой точки, что пришлось вмешаться Хонеккеру. Он получил полный отчет из отдела культуры ЦК партии, подчеркнул ключевые места в документах своим зеленым фломастером (им Хонеккер обычно обозначал прочитанные бумаги, делая пометку

1. Изменения описаны в двух докладах отдела культуры ЦК партии, адресованных Хонеккеру, который пометил их как прочитанные. Первый, озаглавленный «Information», датирован 22 марта 1977 года, второй, «Zu Volker Brauns „Guevara“» — 23 марта 1977-го.
2. Неподписанная записка из отдела культуры Центрального комитета партии (Dec. 15, 1976, ms. 36834/1).
3. Неподписанный доклад, датированный 28 марта 1988 года, о встрече Хагера с кубинским послом Николаэ Родригесом (March 25, 1977, ms. 36834/1).
4. Записка Хонеккеру от Пауля Марковски, главы отдела международных отношений Центрального комитета партии (March 4, 1977). Больше деталей об этом кризисе можно найти в рапорте Эрики Хинкель о встрече в бюро Хагера 2 апреля 1977 года (ms. 36834/1).

в верхнем правом углу), а 23 марта принял решение, что постановка будет отменена на неопределенный срок[1].

Браун в тот же день написал письмо Хонеккеру:

> Уважаемый товарищ Хонеккер.
>
> Я обращаюсь к вам в минуты, которые могут перевернуть мою жизнь. Я говорю это со всей серьезностью.
>
> Отмена репетиций «Guevara» в *Deutsches Theater* и *Staatstheater Dresden* — акт деспотии, который ставит под сомнение всю работу, которую я сделал для партии...
>
> Я молчал об изъятии моих произведений из театров, происходящем в течение многих лет (дюжина лучших режиссеров подтвердит это). Я молчал о запрете «Lenins Tod» (и борьбе с собственной совестью, происходившей в моей душе). Я не могу принять отмену «Guevara», не чувствуя себя с корнем оторванным от общества, в котором пишу. Я считаю своим долгом сообщить об этом партии. Если человек не чувствует земли под ногами, как он может стоять? Даже найди я силы не думать о положительном влиянии моих работ на Германию и коммунистическое движение по всему миру, я все равно не готов разделить ответственность за отрицательные последствия этого запрета (для труппы и зрителей)[2].

Хонеккер перепоручил решение вопроса Хагеру, который встретился с Брауном на следующий день, а после отчитался государству о состоянии души драматурга. Оно никуда не годилось. Браун сожалел о «резком и непочтительном» тоне своего письма (Хонеккер подчеркнул эти слова в рапорте), но оно отражало его отчаяние. Если международные отношения будут определять, какие пьесы ставить, а какие — нет, культура потеряет опору, искусство разлучат с партией, литературе придется отказаться от своей миссии выстраивать

1. Записка «Zu Volker Brauns „Guevara“» (March 23, 1977, ms. 36834/2) и записка, озаглавленная «Information» (March 22, 1977, ms. 36834/2).
2. Браун к Хонеккеру (March 23, 1977, ms. 36834/2).

критический диалог с властью, а самому Брауну придется оставить это поприще. «Он боится, что его работа станет бессмысленной» (фраза, подчеркнутая Хонеккером). А отказавшись от литературы, он будет вынужден перейти на другой уровень существования, стать «неличностью»[1].

За этим последовали новые встречи и новые доклады. Хагер и его помощница Эрика Хинкель выслушивали непрекращающиеся сетования Брауна[2]. Кубинский посол, который не оценил объяснения брехтовской драматургии от Хагера, продолжал строчить протесты об искажении истории на сцене. Актеры из «Berliner Ensemble», до мозга костей преданные духу Брехта, оплакивали потерю времени и денег, а западная пресса, хорошо информированная о ситуации, смаковала этот политический, дипломатический и культурный

1. «Gespräche mit Volker Braun am 24/3/77», доклад Хонеккеру от Хагера (March 25, 1977, ms. 36834/2).
2. Наиболее подробным документом, созданным после отмены постановки пьесы, являетя «Notiz» о встрече Брауна и Хагера 31 марта 1977 года, набросанный Хинкель и датированный 5 апреля 1977 года (ms. 36834/1). Согласно изложению беседы, Хагер подчеркивал необходимость защищать кубинскую революцию как победу в борьбе с империализмом и событие огромного значения в глазах общественного мнения по всей Латинской Америке. Изображение Кастро Брауном подрывало эти цели. Более того, его пьеса была похожа на ультралевую критику «реального социализма», а значит, была неприемлема в ГДР. Браун, со своей стороны, защищал «право автора показывать разницу между революционным идеалом (эндшпилем) и тем, что есть сейчас, [представленными] через персонажей». Хагер отверг этот аргумент, заявив, что «Гевара» Брауна передает «псевдореволюционную безответственную болтовню», а ее автор прибегает к «ультралевым аргументам (а-ля Бирман)». Браун ответил, что готов переписать текст еще раз, но тогда столкнется с моральной дилеммой, если пьесу продолжат запрещать: «В таком случае он не сможет (как автор, чьи работы не ставят) продолжать работать в „Deutsches Theater“ и получать ежемесячную зарплату, но должен будет удалиться от общества, неспособный больше отвечать на подобные вопросы».

провал. Но шоу не продолжилось. «Guevara» последовал за «Lenins Tod», а Браун, как только оправился от потрясения, переключил внимание на другие работы, в первую очередь на «Hinze-Kunze-Roman», оказавшийся еще более спорным[1].

1. Наиболее важными документами, связанными с запретом пьесы, помимо уже приведенных, являются письмо Брауна к Хагеру, недатированное, но написанное после встречи 31 марта 1977 года, где сообщается, что он чувствует больший оптимизм, имея возможность продолжить работу, «Notiz», написанный Эрикой Хинкель о встрече в кабинете Хагера 4 апреля, на которой присутствовали сотрудники «Deutsches Theater», работники отдела культуры ЦК партии и чиновники из Министерства культуры, и доклады Хинкель Хагеру 1 и 24 июня 1977 года о телефонных звонках Брауна касательно будущего пьесы. Все они рассеяны среди документов, касающихся пьесы, в ms. 36834/1.

Роман: публикация и уничтожение

История публикации «Hinze-Kunze-Roman» позволяет пронаблюдать, как на каждом уровне работала цензура в последние годы ГДР, даже нагляднее, чем борьба за «Guevara»[1]. Сам текст прошел долгий путь от пьесы «Hans Faust», которая была исполнена в Веймаре в 1968 году[2], до романа, который окончательно оформился в 1981-м и представил кульминацию темы, пронизывающей почти все произведения Брауна. Демонстрируя разницу между Кунце, высокопоставленным аппаратчиком, и Хинце, его шофером, роман подчеркивал дистанцию, отделяющую жизнь привилегированной партийной элиты от нелегкой жизни простых людей. Кунце жил в роскошно обставленном доме (там даже было убежище на случай ядерного удара) и проводил большую часть времени, участвуя в закрытых заседаниях и представляя партию на официальных церемониях, хотя его главным увлечением были женщины. Хинце жил в разбитой квартире и помогал начальнику преследовать девушек на казенной «Татре», следуя указаниям Кунце с заднего сиденья. Низменное

1. Это описание основано в первую очередь на архивах бюро Хагера и отдела культуры ЦК партии, особенно в: mss. 34377, 36834/1, 36834/2, 38787 и 38788, но во многом опирается и на блестящее издание документов «MDV»: Ein «Oberkunze darf nicht vorkommen»: Materialien zur Publikationsgeschichte und Zensur des *Hinze-Kunze-Romans* von Volker Braun, ed. York-Gothart Mix (Wiesbaden, 1993), в дальнейшем называемое «Oberkunze».
2. *Köhler*. Volker Brauns *Hinze-Kunze-Texte*, главы 2 и 3.

вожделение, а не революционная страсть толкала Кунце на эту охоту. Как его верный слуга, Хинце принимал участие в злоупотреблении властью и даже дошел до того, что был готов разделить с начальником свою жену Лизу. Она позволила использовать себя, но в конце вышла победительницей над обоими мужчинами благодаря покровительству партии, предоставленному Кунце, и яростному желанию вернуть контроль над собственной жизнью.

В таком сжатом пересказе сюжет кажется очевидным памфлетом, направленным против монополии коммунистической партии (СЕПГ) на власть. Но Браун отвлекал читателя от таких прямолинейных выводов, используя изощренные стилистические приемы: нестандартную пунктуацию и структуру предложений, изменение стиля повествования и появление самого автора, который становился персонажем книги и в этой роли обращался к читателю, чтобы снять с себя ответственность за то, что в ней происходит. «Я этого не понимаю, я это описываю», — настаивал он на протяжении повествования, постоянно повторяя, что все случившееся служит «на благо общества». Чтобы еще больше усложнить дело, Браун скрывает действия за литературными аллюзиями. Отношения хозяина и слуги повторяют мотивы из «Дон Кихота», «Дона Джованни» и особенно «Жака-фаталиста» Дидро, в нескольких местах об этом говорится открыто. Подражая Дидро, Браун называет свою работу «Galantroman», философско-эротической фантазией. Более того, Кунце и Хинце можно воспринять как разные аспекты одного человека, так же как Муа и Луи в «Племяннике Рамо». Само сочетание означает на немецком любых усредненных людей, как «Том, Дик и Гарри» в английском. А взаимозаменяемость в этой паре не дает свести их отношения к простому взаимодействию слуги и хозяина.

Таким образом, Браун мог заявить, что было бы ошибкой считать его роман политической сатирой на режим

Восточной Германии. Он сочинил его, следуя принципам «реального социализма», прогрессивной литературы, посвященной описанию жизни обычных людей и способной на критические замечания, но, конечно, только «на благо общества». Модернистский литературный стиль тоже был прогрессивным решением. Он позволял литературе ГДР вступить в диалог с серьезными писателями по всему миру. Оставаться в рамках устаревших представлений о соцреализме значило бы обречь культуру Восточной Германии на медленное затухание. Этот аргумент мог защитить (и защитил) Брауна от нападок консервативных тугодумов из партии. Но он не смог скрыть три эпизода, выступающие из риторического тумана, скрывающего крамольную издевку повествования. В первом Кунце был изображен на задании в Западной Германии (в ранних версиях в Гамбурге). Одержимый своей страстью, он немедленно отправился в бордель, где осознал, что у капитализма есть свои преимущества, потому что он дает возможность получить секс напрямую — за деньги[1]. Второй эпизод описывал фантазию Кунце, сидящего за спинами членов Политбюро на трибуне во время демонстрации СЕПГ в честь Розы Люксембург и Карла Либкнехта. Он представлял себе внезапное восстание масс под руководством призраков «Карла и Розы» и всех революционеров героического прошлого, направленное против дряхлых аппаратчиков, сидящих рядом с ним, как против окостенения революционного духа[2]. А третьим проколом стал диалог между Хинце и Кунце о гонке вооружений и миротворческом движении, который ставил под сомнение военную и международную политику ГДР. Когда Кунце попытался оправдать траты на вооружение как необходимую меру для сдерживания агрессии США, которые недавно разместили ракеты

1. Hinze-Kunze-Roman (Leipzig, 1990; 1-е изд.: Halle, 1981), 58–61.
2. Ibid., 36–39.

средней дальности на территории Западной Европы, Хинце ответил, что перенаправление ресурсов в оружие как способ поддержания «мира» катастрофически затратно: «Оно жрет прогресс и срет на процветание»[1]. Эти три сцены в книге показались цензорам наиболее предосудительными, а Браун наиболее упрямо отказывался их убирать. Тем временем рукопись отправилась по каналам системы от издательства к Политбюро.

Текст прошел через все инстанции, надзиравшие за литературой ГДР, и через руки всех персонажей, в них состоящих: автора, редактора, издателя, рецензентов, цензоров из ГАП, стражей идеологии из ЦК партии, членов Союза писателей, обозревателей литературных журналов и даже главы государства. На все это ушло четыре года. Книга трижды становилась предметом переговоров: в издательстве, в ГАП и среди высших чинов партии. Фолькер Браун участвовал во всех, хотя большая часть маневров совершалась за его спиной людьми, которые в первую очередь хотели защитить себя, а не запретить роман.

Браун сдал рукопись в «MDV» в Халле 16 июля 1981-го. В течение года директор Эберхард Гюнтер и разные редакторы договаривались с ним насчет правок, а сам писатель продолжал работать над текстом, опираясь на критику доверенных друзей, в первую очередь двух литературоведов, Дитера и Сильвии Шленштедт, и двух выдающихся писателей, Франца Фумана и Кристы Вольф. В июле 1982 года редакторы написали два доклада для внутреннего пользования о переписанной версии. Они выражали глубокое уважение к Брауну, который к тому времени заслужил репутацию одного из самых талантливых литераторов ГДР, но рукопись сочли проблематичной. Редакторы настаивали на том, что даже со скидкой на сложный стиль повествования, скрывавший сатиру за неясностями, такое описание «жизни ГДР»

1. Ibid., 119.

неприемлемо[1]. Тем не менее они убедили Брауна избавиться от нескольких «политически и идеологически... недопустимых» отрывков[2] и к декабрю получили рукопись, которую сочли вполне разумным заявить на включение в план на 1984 год, хотя она еще не была должным образом вычищена для отправки в ГАП на получение окончательного разрешения. Основной редактор Брауна Хиннерк Айнхорн дал характеристику ситуации в отзыве от издательства, который был уклончиво положительным, но предупреждал, что книга «слишком слабо выражает социалистическую партийность»[3].

Эту слабость следовало исправить, если рукопись пройдет проверку цензоров ГАП. Поэтому Айнхорн постарался выжать из Брауна новые уступки во время ряда встреч, растянувшихся с января по октябрь 1983-го. Тот согласился внести некоторые стилистические правки, но отказывался вырезать что-то существенное, в первую очередь три описанных выше эпизода, которые Айнхорн счел недопустимыми. Казалось, что это безвыходная ситуация, пока в нее не вмешались двое друзей Брауна, Дитер Шленштедт и Ганс Кауфман. Они были выдающимися исследователями литературы и высоко оценили первую версию романа, но и понимали требования издательства. 10 октября на встрече в квартире Брауна они пришли к компромиссу. Писатель согласился урезать сцену в борделе и изменить несколько фрагментов текста, а «MDV» в лице директора Эберхарда Гюнтера, главного редактора Хельги Дути и Айнхорна позволило ему оставить два других эпизода. Они обещали принять переработанный вариант текста, а чтобы сделать его более приемлемым для ГАП

1. *Holger J. Schubert*. Gutachten. July 12, 1982 // Oberkunze, 41. Другой отзыв рецензента: *Harald Korall*. July 22, 1982, находится там же на с. 42–44.
2. Записка о «Hinze-Kunze-Roman» (Хоффман к Хагеру, Sept. 2, 1985, ms. 38788).
3. *Hinnerk Einhorn*. Gutachten. Dec. 1982 // Oberkunze, 52.

и защитить себя от неодобрения партии, попросили Шленштедта и Кауфмана написать еще два отзыва.

Друзья Брауна предоставили ровно то, что было нужно издательству. Продумав стратегию заранее, они обосновывали публикацию таким образом, который подкреплял мнение редакторов и помогал опровергнуть возможные претензии цензоров ГАП. Кроме того, они придумали мастерскую интерпретацию «Hinze-Kunze-Roman» как литературного произведения, отдавая честь писательскому таланту Брауна и предлагая именно столько поправок и такого рода, с которыми автор мог смириться, чтобы роман получился таким, как он задумывал. Шленштедт так хорошо показал себя в этой задаче, что они с Брауном договорились использовать переработанную версию его отзыва в качестве предисловия к тексту. Это бы направило восприятие книги в нужном направлении, служа «подспорьем», помогающим читателю понять, что сложный художественный стиль Брауна призван поддержать социализм, обличая отступления и перегибы[1].

Цензура в том виде, в котором она существовала в Восточной Германии, не могла обойтись без такого рода маневров, когда сталкивалась со сложными случаями. Она подразумевала скорее сделки за закрытыми дверями, чем следование официальному протоколу в кабинетах чиновников. Более того, «Hinze-Kunze-Roman» смог добраться до этой стадии только благодаря тайному соглашению, к которому Браун и Хёпке пришли годом раньше. Во время частной встречи в квартире Шленштедта Хёпке согласился способствовать публи-

1. Дитер Шленштедт к Эберхарду Гюнтеру, без даты (Oct. 1983); *Dieter Schlenstedt*. Arbeitsgutachten. Oct. 1983, и *Hans Kaufmann*. Gutachten. Nov. 4, 1983 // Oberkunze, 62–80. Шленштедт переписал свой отзыв в виде выдуманных писем, которые были опубликованы как «Lesehilfe» в конце романа (изд. 1985 года, с. 197–223) и якобы предназначались для издательства, читателя, Брауна и критика из Союза писателей.

кации книги, а Браун взамен пообещал «обезопасить» самые колкие высказывания, хотя в последующие месяцы он не проявил достаточных способностей к самоцензуре, чтобы удовлетворить Айнхорна и других защитников идеологии в «MDV»[1]. Сделка, заключенная 10 октября, устраняла это последнее препятствие, и в январе 1984-го Хельга Дути покончила с формальностями, требовавшимися от издательства, и отправила «Hinze-Kunze-Roman» на следующий уровень — на одобрение цензорами в ГАП.

Составленное ею досье соответствовало стандартному формату. В дополнение к переработанному тексту оно включало четыре отзыва от рецензентов и обобщающий отчет издательства, который Дути написала так, чтобы подчеркнуть «долгую и тяжелую борьбу с автором»[2], проведенную редакторами. Она объясняла, что они уговорили писателя внести множество правок, но не смогли убедить избавиться от проблемных отрывков, которые были подробно процитированы. Таким образом, непримиримость Брауна поставила их перед нелегким решением. Это был один из самых выдающихся авторов ГДР, за чьей работой пристально следили за границей, и издательство не могло уговорить его на большие уступки. Тем не менее, опираясь на убедительные аргументы Шленштедта и Кауфмана и «несмотря на все еще существующие возражения», в «MDV» осторожно рекомендовали книгу к публикации[3]. Оборонительный характер отчета ясно передавал сообщение: сотрудники издательства выполнили свою задачу с блестящим профессионализмом, и с этого момента «Hinze-Kunze-Roman» был проблемой ГАП.

Ведение этого дела в ГАП было поручено Клаусу Зелбигу, главе отдела беллетристики. Он получил письмо

1. Интервью с Дитером Шленштедтом, взятое после распада ГДР // Oberkunze, 229.
2. *Helga Duty*. Verlagsgutachten. Jan. 13, 1984 // Oberkunze, 83.
3. Ibid., 84.

от Гюнтера, предупреждающее, что «MDV» не берет на себя ответственности за те трудности, которые могут возникнуть с книгой[1], а после того, как он сдал рукопись нескольким коллегам-цензорам, Зелбиг отправил похожее сообщение Хёпке. Прочитав текст и интерпретации текста, составленные их предшественниками, цензоры поняли, что он ставит ГАП перед сложным «политическим и культурно-политическим» решением[2]. Это было слишком важной задачей для простых цензоров из отдела беллетристики. Решение должен был принять Хёпке.

К этому времени, как он и обещал Брауну, Хёпке был намерен опубликовать книгу. Аргументы в пользу ее выхода в печать казались оправданными, ведь критики ГДР с Запада были готовы ухватиться за любые признаки репрессий, а в «Suhrkamp» готовились выпустить в ФРГ издание без правок, что только подлило бы масла в огонь, если бы книгу запретили в Восточной Германии. Более того, унижение после стольких предшествующих конфликтов могло разрушить отношения с Брауном и талантливыми молодыми писателями, которые ориентировались на него. Но пока все более нетерпеливый Браун давил на Хёпке, чтобы получить разрешение на печать книги, ЦК партии выпустил приказ запретить публикацию любых противоречивых материалов в «юбилейном» 1984 году. Пока жители Восточной Германии праздновали тридцатипятилетие основания ГДР, не следовало поощрять диссидентство. «Hinze-Kunze-Roman» предварительно предполагалось включить в план именно на этот год. Поэтому Хёпке

1. Эберхард Гюнтер к Клаусу Зелбигу (Jan. 13, 1984 Oberkunze, 85–87).
2. Клаус Зелбиг к Клаусу Хёпке (Jan. 28, 1984 // Oberkunze, 91). Письмо Зелбига показывает тонкое понимание текста Брауна и литературы в целом, которое, как мне кажется, было свойственно цензорам ГАП. Например, в ходе подробного анализа содержания рукописи он цитирует Мишеля Бютора и его трактовку «Жака-фаталиста».

задержал его одобрение ГАП, запросив еще один отзыв от стороннего рецензента, на этот раз от убежденного партийца Вернера Нойберта, литературного эксперта из Академии государственного управления и юриспруденции. Хотя Хёпке, возможно, старался защитить себя, обратившись к консервативному крылу партии, он скорее просчитался, потому что Нойберт в своем отзыве осудил книгу настолько яростно, что ее участь стала казаться еще менее определенной. Несмотря на изощренную экзегетику Шленштедта и Кауфмана, писал он, нельзя не заметить явный изъян книги — недостаточную преданность «социалистической партийности»[1].

Когда отзыв Нойберта был получен ГАП, Зелбиг счел его столь опасным, что посоветовал Хёпке отказаться от публикации книги. Но тот решил использовать это мнение, чтобы добиться от Брауна новых уступок, действуя через Гюнтера и Айхорна в «MDV». Рукопись вернулась обратно для новых изменений, Браун и Айхорн снова начали бороться за спорные эпизоды, и снова Браун отказался вносить новые правки. В конце концов между ним и Хёпке во время личной встречи было заключено еще одно соглашение. Браун согласился сделать некоторые дополнительные изменения, а Хёпке обещал предоставить разрешение на печать, которое в итоге было дано 4 января 1985 года, предоставляя возможность опубликовать книгу летом. Редактор, сотрудники издательства и цензоры тщательно документировали каждый шаг, и все документы передают одни и те же мысли: нельзя разрушать отношения с Брауном, следует избегать скандала, и, самое главное, никто внутри системы не должен подвергнуться обвинениям в отступлении от линии партии. Как Хельга Дути подчеркивала еще в одном отчете от издательства: «Несмотря на долгую и тяжелую борьбу, мы не смогли

1. *Werner Neubert*. Gutachten. July 13, 1984 // Oberkunze, 93–96; цитата на с. 94.

заставить автора внести необходимые, на наш взгляд, дополнительные изменения»[1].

Оставалось неясным, убедит ли такая защита самых могущественных людей в партии, потому что на этом этапе история «Hinze-Kunze-Roman» приняла сугубо политический оборот. Первые экземпляры книги 22 июля прибыли в общий центр распространения всех издательств ГДР (*Leipziger Kommissions- und Grossbuchhandels*), расположенный неподалеку от Лейпцига, и через пару недель они начали появляться в магазинах. Хёпке постарался приглушить скандал, опубликовав эссе о книге в двух частях 13 и 20 августа в «Die Weltbühne». Как и в «подспорье к чтению» Шленштедта, он старался управлять восприятием текста, подчеркивая его литературные достоинства и отвлекая внимание от социальной критики[2]. Партийные консерваторы остались недовольны. Некоторые из них отправили осуждающие книгу письма Гюнтеру Миттагу, могущественному секретарю по вопросам экономики ЦК. Одна жалоба, датированная 21 августа, пришла от Курта Тидке, ректора партийной школы (*Parteihochschule Karl Marx*), бастиона традиционного коммунизма. В ней роман описывался как низкопробное и бесстыдное извращение политики партии и осуждалось решение разрешить его к печати[3]. Кроме этого, Миттагу пришли еще три обличительных письма, и другие члены Политбюро тоже получили ряд

1. *Helga Duty*. Verlagsgutachten. Dec. 11, 1984 // Oberkunze, 100–104; цитата со с. 103. Об этих улучшениях см.: Зелбиг к Хёпке (July 13, 1984); Зелбиг к Брауну (July 17, 1984); Гюнтер к Хёпке (Dec. 11, 1984); записка из ГАП (January 9, 1985 // Oberkunze, 97–114).
2. *Höpcke*. Ein komischer Essay Volker Brauns // Oberkunze, 117–25. В довольно напряженной дискуссии Хёпке заявлял, что социальную критику Брауна следует воспринимать в контексте недавних успехов плановой экономики ГДР и прогрессивного управления; см., например, с. 119.
3. Тидке к Миттагу (Aug. 21, 1985, ms. 34377); Тидке отправил точно такое же неприятельское письмо Хагеру 9 сентября 1985 года (ms. 38788).

подобных протестов[1]. Все это могло быть частью продуманной кампании, потому что в сообщениях одни и те же аргументы излагались почти одними и теми же словами.

В сообщениях разбиралась каждая деталь текста и цитировались наиболее спорные отрывки, трактовавшиеся с точки зрения партии. Они ставили вопрос, как следует воспринимать эту книгу. И отвечали: не как легкомысленную сатиру, вдохновленную Дидро, а как открытую критику партии и ее политики. Браун использовал сложные литературные приемы, чтобы замаскировать основной посыл романа, но, изобразив Кунце аморальным аппаратчиком, он ясно дал понять: «Таковы люди, которые правят нами»[2]. Все в этой книге: описание убогого быта, бессмысленность жизни и всепроникающий пессимизм — дополняло осуждение социализма в том виде, в котором он существовал в ГДР. Сатирические выпады Брауна нельзя было счесть невинными шутками. Как, например, читатель воспринял бы следующую насмешку над мышлением и привилегиями партийной элиты: «Они думали за всех остальных, так что им стоило думать и о себе. Они были лучшими из лучших, почему бы им не иметь лучшее?»[3] Это не было поводом для смеха. Это была клевета. Похожие замечания, разбросанные по тексту, наводили на мысль о том, что в ГДР было классовое общество — партийная верхушка эксплуатировала рабочий класс. При правильном прочтении книга давала понять, что Восточная Германия предала свое революционное наследие: «В целом Браун говорит

1. Это описание основано на архивах бюро Миттага (ms. 34377). Доклады не подписаны и, очевидно, адресованы Миттагу, который пометил каждый своими инициалами, предположительно показывая, что он получил их и прочитал.
2. Неподписанная записка (Sept. 25, 1985, ms. 34377).
3. Неподписанная записка «Zu dem *Hinze-Kunze-Roman* von Volker Braun» (Sept. 3, 1985, ms. 34377).

об ощущении, что социалистическая революция исчерпала себя и в настоящем ничего не значит»[1]. Это правильное прочтение противоречило защите Брауна, организованной Шленштедтом и Хёпке. Его также можно было использовать против других писателей, таких как Франц Фюман, Гюнтер де Бройн и Криста Вольф, которые пользовались вседозволенностью, свойственной позднебуржуазной литературе, чтобы оспаривать традиции партии, как это сделал Браун[2]. «Hinze-Kunze-Roman» был симптомом более широкой проблемы, не сводящейся к особенностям конкретного романа, признаком борьбы за смыслы, которая шла в самом сосредоточии идеологического фундамента ГДР. Доклады из ЦК предупреждали лидеров партии, что эта борьба являлась в конечном итоге вопросом власти. Чтобы выиграть ее, им следовало перевести спор с герменевтики в политику и принять политические меры.

Перед надвигающимся штормом цензоры старались изо всех сил, чтобы обезопасить себя. «MDV» выпустило длинный доклад, чтобы продемонстрировать свою преданность, описывая четырехлетнюю борьбу редакторов над очищением текста Брауна. Там говорилось, что благодаря их усилиям социальная критика в «Hinze-Kunze-Roman» являлась по сути своей конструктивной, то есть, в марксистских терминах, ограниченной «невраждебными возражениями», и потому в конечном итоге *parteilich*, то есть верной принципам партии[3]. Клаус Зелбиг написал похожий доклад (в нем даже дословно повторяется несколько фраз), чтобы защитить своих коллег из ГАП. Они очистили книгу от

1. Неподписанная записка (Sept. 25, 1985, ms. 34377).
2. Доклад, датированный 25 сентября 1985 года, называет этих трех авторов и заявляет, что они принадлежат к «фронту солидарности с другими, разделяющими их убеждения [*Solidaritätsfront Gleichgesinnter*]».
3. Недатированная записка из «MDV» «Zum *Hinze-Kunze-Roman* von Volker Braun» (Aug. 1985) // Oberkunze, 128–31.

множества «спорных и неприемлемых политидеологических» фрагментов, но Браун отказался последовать их требованиям[1]. После долгих колебаний цензоры сочли, что лучше опубликовать книгу в таком несовершенном виде, чем отказать в публикации, так как это, весьма вероятно, нанесло бы урон будущему творчеству Брауна и привело к нелицеприятным отзывам о культурной политике ГДР на Западе. Эта записка отправилась к Хагеру и Хоффману. Но одновременно с этим Хагер получил сведения из другого источника, возможно от Миттага, где приводились другие аргументы: «Это отвратительная низкопробная книжонка, где вся политика нашей партии и нашего государства переворачивается с ног на голову и критикуется в самых разных областях»[2]. Все эти документы попали в кабинет Хагера в первую неделю сентября, и тогда же он должен был принять решение. Он давно считал Брауна «великим писателем», которого следует поощрять и опекать покровителям из партии[3]. И все же постоянный конфликт из-за недопустимых эпизодов в его романе дал Хагеру понять, что Браун нередко преступал границы дозволенного[4]. «Hinze-Kunze-Roman» выходил далеко за эти границы и разозлил нескольких влиятельных членов ЦК партии. Что можно было предпринять?

9 сентября Хагер распорядился приостановить распространение книги. Все экземпляры (4295 штук),

1. Записка Зелбига (Aug. 28, 1985); включена в письмо Хоффмана к Хагеру (Sept. 2, 1985, ms. 38788).
2. Неподписанная записка «Zu dem *Hinze-Kunze-Roman* von Volker Braun» от 3 сентября 1985 года, помеченная как полученная Хагером (ms. 38788). Документ подчеркивает, что в Кунце можно узнать представителя высших чинов партийного аппарата. Например, упоминание того, где Хинце паркует «Татру», связывает Кунце с министерством внутренних дел и ЦК СЕПГ.
3. Хагер к Рагвитц (Feb. 11, 1983, ms. 36834/1).
4. Хагер к Рагвитц (July 7, 1982, ms. 36834/1). Хагер отметил, что публикации Брауна демонстрируют, что «он не имеет представления о сложных концепциях экономики и других проблемах. Кроме того, переходит границы сатиры и юмора».

остававшиеся на складе в Лейпциге, были опечатаны, а те, что уже разошлись по книжным магазинам (6670 штук), — изъяты с полок[1]. К этому моменту уже было продано 3700 экземпляров, из них 250 было подготовлено для продажи во время презентации книги 26 сентября, на которой Брауну позволено было сделать несколько осторожных замечаний перед зрителями, состоящими по большей части из «молодых интеллектуалов»[2]. Власти разрешили провести это мероприятие и заявили, что тираж был распродан, чтобы не признавать, что они запретили продажу романа. Скорее всего, все конфискованные копии были уничтожены, как обычно поступали, когда запрещали уже напечатанную книгу. Но в Западной Германии вышло издание «Suhrkamp», как и было оговорено — с согласия ГАП. Это делало невозможными попытки отрицать или скрыть преследование книги, несмотря на очевидную выдумку о распроданном тираже. И как только продажи были остановлены, лидеры партии должны были решить, как действовать дальше.

9 сентября, когда вышло постановление остановить продажи, Урсула Рагвитц послала Хагеру очередной доклад. Как там говорилось, она со своими коллегами из *Kultur* внимательно рассмотрела текст. Они не были обмануты сложной словесной игрой. Браун отказывался признавать главенствующую роль партии, прогрессивную политику государства и легитимность социализма в том виде, в каком он существует в ГДР. Некоторые сцены — особенно фантазия насчет народного восстания

1. Рагвитц сообщила Хагеру о мерах, принятых для ограничения распространения книги в докладе 9 сентября 1985 года (ms. 38788). Более подробный отчет о пресечении продаж предоставил Х.-Г. Харвич, директор отдела ГАП по распределению книг, 12 сентября (Oberkunze, 131–32).
2. Доклад Ингрид Мейер из отдела ГАП по распределению книг 27 сентября 1985 года и доклад Хинерка Айнхорна 27 сентября 1985 года об устроенном со всей осторожностью чтении Брауна днем ранее (Oberkunze, 140–43).

во имя Люксембург и Либкнехта и диалог о гонке вооружений и движении за мир — для преданных партии граждан были подобны кости в горле. Уже давно сталкиваясь со склонностью Брауна к отступлению от линии партии, Рагвитц видела в «Hinze-Kunze-Roman» кульминацию осуждения аппаратчиков, которое пронизывает все работы писателя. Его следовало вызвать на ковер и заставить объясниться перед избранными представителями Союза писателей и берлинского ответвления СЕПГ. Они могли бы рекомендовать исключить его из партии, а дополнительные дисциплинарные меры стоит поручить Гансу-Йоакиму Хоффману, министру культуры. Одновременно с этим стоило запретить любые отзывы о романе в ежедневных изданиях и подготовить полномасштабные обличительные статьи о нем в двух влиятельных журналах, «Neue Deutsche Literatur» и «Weimarer Beiträge»[1].

Согласно этому докладу, поведение Хёпке было более непростительным, чем поступки Брауна, потому что на нем лежала ответственность за обеспечение масс правильной литературой. В обсуждении плана с *Kultur* на 1985 год они предупреждали его о возражениях против публикации книги. Но Хёпке исключил роман из плана и выписал разрешение по собственному усмотрению, не проконсультировавшись с *Kultur* или Министерством культуры. В качестве обоснования этого неправомерного действия Хёпке цитировал отзывы рецензентов Шленштедта и Кауфмана, но проигнорировал мнение

1. Рагвитц к Хагеру (Sept. 9, 1985, ms. 38788). Порицая Брауна, Рагвитц прибегала к языку, типичному для ее заявлений по делам партии: «Для него централизованная власть и плановая экономика, главенствующая роль партии и государственного аппарата, очевидно, являются основным препятствием для достижения подлинной демократии и коммунизма. Его невнятный утопический образ коммунизма, исходя из которого он критикует настоящее, загораживает путь к мировоззрению, которое привело бы его к истинной диалектике развитого социализма».

Нойберта и даже сам встал на защиту Брауна (хотя на самом деле он защищал собственные интересы) в статье, опубликованной в «Die Weltbühne», которая тоже не была одобрена *Kultur*. Все эти действия привели к «серьезной политической ошибке», которая «опорочила реальный социализм и предоставила нашим врагам оружие в их действиях против нас»[1]. Такое дурное поведение нельзя было проигнорировать. Партии следовало решить, как именно наказывать за него.

16 сентября Хагер вызвал Хёпке для объяснений на встречу, на которой кроме него присутствовали Хоффман и Франц Хентшель, заместитель Рагвитц из *Kultur*. Хагер спросил, как Хёпке может оправдать разрешение к печати этой клеветнической работы, особенно в то время, когда все готовятся к XII съезду партии. Хёпке ответил долгим перечислением попыток заставить Брауна изменить текст. После последних переговоров, приведших к нескольким существенным поправкам, он вынужден был принять важное решение: либо разорвать отношения с Брауном и столкнуться со всеми плачевными последствиями, либо опубликовать книгу и приготовиться к критике. Хагер отверг этот аргумент, процитировав множество отрывков из романа, которые демонстрировали враждебность Брауна по отношению к социализму, существующему в ГДР. Он настаивал, что основной темой произведения является критика партийной элиты, которую автор высмеивает за наслаждение привилегиями на верхушке общества, пока бессильное население страдает в его низах. Это была не приемлемая социальная сатира, а прямое оскорбление государства. Рапорт о встрече заканчивается рядом

1. Ibid. В другом докладе Хагеру, датированном 11 сентября 1985 года (ms. 38788), его ассистентка Эрика Хинкель подтверждает предложение Рагвитц, что Хёпке убрал «Hinze-Kunze-Roman» из плана на 1985 год потому, что надеялся добиться от Брауна больших уступок, и потому выписал разрешение на печать от собственного имени.

резолюций, которые требовали крупномасштабной кампании по осуждению «Hinze-Kunze-Roman» в прессе, а также мер для обострения бдительности ГАП и усиления партийной дисциплины в вопросах культуры[1]. Хагер послал отчет Хонеккеру, который подчеркнул ключевые фрагменты и отложил, возможно, чтобы использовать во время следующего заседания Политбюро[2]. За следующие несколько дней Хёпке получил выговор от партии (что могло нанести серьезный урон карьере аппаратчика), Зелбиг был уволен из ГАП, а Брауну пришлось предстать перед критиками из Союза писателей. Но «Hinze-Kunze-Roman» формально не был запрещен, и сам Браун избежал публичного наказания, предположительно потому, что власти хотели избежать большего скандала.

Оправдание Брауна перед Союзом писателей проходило на двух заседаниях исполнительного комитета, на которые собиралось множество воинственно настроенных литераторов. 26 сентября сам Хагер выступил перед восемьюдесятью членами союза и сделал общий доклад о критическом состоянии литературы ГДР. Он ссылался на «Hinze-Kunze-Roman» как на пример проблем, которые нужно решить, в особенности отношений авторов с партией в контексте правильной культурной политики. Большинство присутствующих еще не читали роман, но несколько представителей союза выступили со словами о важности укрепления соцреализма и осуждением «безразличия и пессимизма», проникающих в недавно вышедшие работы. Будучи мишенью этих обвинений, Браун ответил, что он постоянно сверялся с мнением властей и отказывается признать утверждение некоторых из критиков, что его роман

1. Протокол о встрече 16 сентября 1985 года (ms. 36834/1).
2. Хагер к Хонеккеру (Sept. 17, 1985); оригинальная копия помечена Хонеккером как «E. H. 18.9.85» (ms. 38788). Я не нашел записей дальнейшего обсуждения этого дела на уровне Хонеккера и Политбюро, хотя оно наверняка имело место.

доходит до отрицания социализма. Хагер суммировал детали встречи в докладе на имя Хонеккера, который заканчивался выводом о том, что они добьются большего эффекта в ослаблении влияния «Hinze-Kunze-Roman», обнажив его «политические отклонения»[1]. 12 декабря Браун предстал перед еще более враждебным собранием из пятидесяти четырех членов союза. Двадцать докладчиков, включая Клауса Ярматца, консервативного партийца, обрушились на роман, но на этот раз Браун сидел молча, пропуская брань мимо ушей. Когда еще один несгибаемый приверженец партии, Герман Кант, бывший председателем собрания, потребовал от него ответа, Браун не стал опровергать критику и сказал в свое оправдание только то, что сотрудничал с издательством и Министерством культуры. Очевидно, он намеревался избежать полемики и переждать осуждение, не стихающее в прессе ГДР[2]. Оставалась вероятность, что ГАП разрешит новое издание, когда страсти улягутся. Так уже случалось с предыдущими литературными скандалами: это имели в виду цензоры, когда рассказывали мне, что после публикации «опасного» произведения они выжидали время, «чтобы выросла новая трава», то есть до тех пор, пока новое издание не сможет без проблем получить одобрение.

Пока споры утихали, Браун тщательно избегал любых провокационных высказываний. Он прочитал

1. Хагер к Хонеккеру (Sept. 27, 1985, ms. 36828). Хонеккер подчеркнул важные отрывки и пометил документ своими инициалами в обычной манере. Другой рапорт — неподписанный, датированный 30 сентября 1985 года и находящийся среди документов бюро Хагера (ms. 42277/1) — показывает, что собрание не было однозначно враждебно к Брауну. Там приводятся его слова, что вмешательство Хагера ободрило его и вдохновило на продолжение работы.
2. Отчет, датированный 13 декабря 1985 года в: Рагвитц к Хагеру (Dec. 17, 1985, ms. 38788). Некоторые из рецензий, напечатанных для очернения «Hinze-Kunze-Roman» в восточногерманской прессе, приведены в: Oberkunze, 149–200.

лекцию в Академии искусств, не вызывая скандала, и с согласия властей ГДР несколько раз выступил в Западной Германии, где пресса пыталась представить «Hinze-Kunze-Roman» как «немецко-немецкую бомбу» (*eine deutsch-deutsche Bombe*)[1]. Браун держал дистанцию с журналистами во время чтений на франкфуртской книжной ярмарке и в Кёльне. Хагер и, несомненно, тайная полиция получали доклады обо всех его публичных выступлениях[2]. Все указывало на то, что власти Восточной Германии успешно минимизировали ущерб от «бомбы». Воздержавшись от наказания Брауна и позволив ему выезжать в Западную Германию, они как бы продемонстрировали свою готовность терпеть противоречия. В конце концов «Hinze-Kunze-Roman» так и не был запрещен, его просто старались заглушить. Это было сделано втайне, и, пока, все шло успешно, даже зашла речь о разрешении нового издания.

1. Записки к Хагеру (Sept. 13, Oct. 15, Nov. 20, 1985, ms. 38788).
2. Ibid.; Хагер к Гюнтеру Шабовски (Oct. 4, 1985); Шабовски к Хагеру (Oct. 2, 1985, ms. 36834/1).

Каким был конец цензуры

Пока участь «Hinze-Kunze-Roman» оставалась неизвестной, мир начал меняться. В марте 1985 года Михаил Горбачев возглавил Коммунистическую партию СССР, начал перестройку и ввел политику гласности. В 1986-м, после XXVII съезда партии и чернобыльской катастрофы гласность (амбивалентный термин, поначалу обозначавший только открытое обсуждение общественных вопросов) породила движение за свободу информации. В июне 1988 года партия перестала играть решающую роль в политической жизни СССР. Движение «Солидарность» в Польше превратилась во властную структуру, повсюду распространялся самиздат, и советская империя начала разваливаться. Но ГДР все еще оставалась скованной диктатом партии, наследующим сталинской системе управления.

Произошло столько разных событий, что, когда 27 января 1988 года было выпущено разрешение на второе издание «Hinze-Kunze-Roman» (довольно маленьким тиражом в 10 000 копий), это уже никого не волновало[1]. Хагер разрешил печать, получив рекомендацию от Хёпке, который, в свою очередь, получил запрос из «MDV». Когда книга наконец появилась на прилавках магазинов, партийный аппарат не дрогнул от волнения и никто не уделил этому большого внимания[2]. В то же время другие произведения, особенно «Horns Ende»

1. Lizenzurkunde. Jan. 27, 1988 // Oberkunze, 146.
2. Записка от Хильды Шмидт к Хагеру (Jan. 20, 1988, ms. 42321/2). Разрешение было дано в довольно обыденной манере, как заметил Хагер в записке, нацарапанной в конце этого доклада.

(«Гибель Хорна») Кристофа Хайна и «Neue Herrlichkeit» («Новое господство») Гюнтера де Бройна, вызывали похожие скандалы. История их издания развивалась одинаково, это было сражение с цензорами на каждом этапе производства и распространения[1]. К концу 1987-го борьба затронула цензуру в целом.

В течение трех дней, с 24 по 26 ноября, большое собрание литераторов обсуждало все вопросы, связанные с их профессией, на съезде Союза писателей в Берлине. Это было важное событие. На вступительной сессии присутствовали Хонеккер, шесть членов Политбюро и представители тридцати стран. Несмотря на присутствие Хагера, Хёпке, Рагвитц и множества наблюдателей из Штази, все пошло не так. 25 ноября де Бройн воспользовался своим временем для выступления, чтобы зачитать письмо Кристы Вольф, остававшейся в уединении в Мекленбурге. Оно напоминало членам Союза об истории Бирмана, исключении диссидентов, эмиграции самых талантливых авторов и ограничениях, накладываемых на тех, кто остается в ГДР. От своего лица де Бройн выступил против самого главного из них — цензуры. Так как ГДР не признавала ее существования, он сказал, что не видит смысла вступать в бесплодную дискуссию о терминологии, и использовал выражение «практика выдачи разрешения на печать» (*Druckgenehmigungspraxis*)[2]. Он потребовал ее отмены, если не немедленно, то в течение пары лет. Судьба книг больше не должна была зависеть от решений за закрытыми дверями. Ответственность за произведения

В письме к Хагеру 14 июля 1987 года Хоффман спрашивал, можно ли дать разрешение на новое издание, как запросили из «MDV» (Zenzur in der DDR, 161).

1. Некоторые важные документы относительно «Neue Herrlichkeit» опубликованы в: Zenzur in der DDR, 143–51.
2. Речь Гюнтера де Бройна в: X. Schriftstellerkongress der Deutschen Demokratischen Republik: Plenum (Berlin and Weimar, 1987), 128.

должна полностью возлагаться на автора и издательство. Литература должна стать открытой.

На другой сессии, ранее в тот же день, Кристоф Хайн прочитал еще более вызывающую речь:

> Процедура выдачи разрешения на печать, надзор государства и, говоря грубо, но от этого не менее правдиво, цензура, влияющая на издательства и книги, авторов и редакторов, являются устаревшими, бессмысленными, неэффективными, разрушительными для человечества и человека, незаконными и заслуживающими наказания практиками[1].

Хайн призвал к немедленной отмене цензуры и созданию новых институтов: отделенных от государства издательств, честных книжных обозревателей, свободных театров, независимой ежедневной прессы и неограниченного выезда за границу. Он не требовал ввести такую же систему книжного дела, как на Западе, потому что считал ее подчиненной монополистической власти рынка, которая поощряла дешевую бульварную литературу. Хайн выразил свое уважение ГДР как «стране чтения» (*Leseland*), в первую очередь чтения книг (*Buchleseland*), где литература служила высокой культурной цели[2]. ГДР, с его точки зрения, следовало оставаться верной социалистическим принципам и поддерживать свои культурные институты, но они должны оставаться свободными от власти государства.

Еще никогда интеллектуалы Восточной Германии не говорили так открыто. Разумеется, одно дело было прочитать речь, другое — изменить систему. Институты, управлявшие литературой в ГДР, остались нетронутыми после завершения съезда. Берлинская стена, или «антифашистская защитная стена» (*antifaschistischer Schutzwall*), как ее все еще называли в официальных

1. *Christoph Hein*. X. Schriftstellerkongress der Deutschen Demokratischen Republik: Arbeitsgruppen, 228.
2. Ibid., 233.

документах[1], была так же прочна и наглядно отмечала разрыв между двумя враждебными лагерями в холодной войне, которой не было видно конца. Но общественное мнение уже изменилось, отчасти благодаря свежему ветру из Москвы, и лидеры партии поняли, что стоит провести некоторые изменения.

Хёпке и Хагер встретились 18 февраля 1988 года, чтобы решить, какие меры следует принять. Они пришли к заключению, что основную ответственность за проверку рукописей действительно стоит передать из ГАП издательствам, но это могло вызывать проблемы. Общее производство должно было по-прежнему определяться годовым планом, который бы включал в себя ежегодные планы от каждого издательства. ГАП должна была продолжать контролировать его составление, а также распределять бумагу и станки. Все это нужно было организовать так, чтобы избежать «неподъемной… бюрократической работы». Но как? Хёпке и Хагер договорились только о том, что все должно осуществляться постепенно, ведь, согласно их подсчетам, 99% предлагаемых публикаций не представляли угрозы. Проблемные ситуации можно было, как правило, решить на уровне издательств, сочли они, а их сотрудникам следовало указать пристально следить за некоторыми авторами, избегая слухов о «цензуре». Разумеется, некоторых писателей пришлось бы устранить из системы. Например, никаким произведениям Лутца Ратенова или Моники Марон нельзя было позволить появиться в печати. И, несмотря на сравнительную свободу издательств, окончательное решение о выходе книги должно было оставаться за ГАП[2].

Протокол встречи создает впечатление, будто люди, стоящие во главе системы, одновременно признавали

1. Встреча исполнительного комитета Союза писателей (June 24, 1987, ms. 42277/1).
2. Записка о встрече Хагера и Хёпке 18 февраля 1988 года (ms. 4235).

необходимость измениться и отвергали ее. Они продолжали отрицать существование цензуры на словах и осуществлять ее на деле. Но прежде всего они не могли понять, насколько они сами управляли ситуацией. Неспособность разрешить эти противоречия видна и в протоколе встречи, произошедшей девять месяцев спустя. Хагер сказал Хёпке, что нельзя позволять никакой «либерализации»:

> Государство не должно отказываться от своих прав, а директор издательства отвечает перед государством. Это его обязанность — обращаться с соответствующими проблемами в ГАП, точно так же [и ГАП] может потребовать рукопись у издательства. Культурно-политическая линия [партии] обеспечивается долгосрочными планами и бдительностью работников издательств и редакторов. Каждое издательство должно приготовиться к высоким требованиям, выполнения которых будут от него ожидать, и возрастающей ответственности. С помощью такого подхода мы сможем вести более демократическую политику и избежать излишней либерализации[1].

Хёпке, как мог, трактовал эти директивы. На встрече с Союзом писателей 28 июня 1988 года он сделал доклад о плане на 1989 год, подчеркнув введение новой процедуры получения разрешения на печать. Окончательное решение оставалось за ГАП, но оно должно было приниматься быстро, и от издательства больше не требовалось предоставления полного досье с рукописью и отзывами рецензентов. Правильно составленного запроса теперь было достаточно. Некоторые члены союза выразили обеспокоенность передачей слишком большой власти в руки издательств, но Фолькер Браун, бывший председателем собрания, одобрил новую политику

1. Записка о встрече Хагера и Хёпке 14 ноября 1988 года (ms. 4235).

как «выдающийся пример распределения власти… социал-демократический по духу»[1].

К этому времени Браун преуспевал в переговорах с властями, хотя конфликты насчет черновиков и постановки пьес не закончились с кризисом вокруг «Hinze-Kunze-Roman». Они достигли пика в 1987 году, когда Браун стал настаивать на публикации сравнительно лишенной правок версии «Langsamer knirschender Morgen» («Медленное скрипучее завтра»), сборника стихотворений, в котором было достаточно спорного материала, чтобы занять редакторов в «MDV» и цензоров в ГАП на четыре года. Разрешение на печать было выдано, но потом отменено из-за «политического аспекта» рукописи, как выразился Браун в своем письме протеста к Хагеру. Когда писатель пригрозил опубликовать версию без правок в «Suhrkamp» в Западной Германии, Хагер наконец сдался[2]. Кроме того, Браун предъявлял претензии Хагеру, когда власти запретили постановку его пьесы «Nibelungen» («Нибелунги») с участием восточногерманской труппы на территории Западной Германии в мае 1987 года. В этом случае Хагер не протестовал, но постановка должна была быть отменена, потому что актеры из Национального театра Веймара не были *Reisekader*, то есть лично допущенными к путешествиям за пределы ГДР, а государство делало все возможное, чтобы его граждане не сбежали на Запад[3]. В феврале

1. Записка о встрече исполнительного комитета Союза писателей с Хёпке 28 июня 1989 года (ms. 42277/1).
2. Браун к Хагеру (July 17, 1987, ms. 42321/2). Дальнейшие детали можно найти в докладе Хагеру Хильды Шмит 31 марта 1987 года о телефонном разговоре между Брауном и Хёпке и докладе о телефонном разговоре между Брауном и Хагером 17 июля 1987 года, оба в: ms. 42321/2. См. также документы, опубликованные в: Zenzur in der DDR, 161–65.
3. Браун к Хагеру (March 28, 1987, ms. 42321/2). Браун описывал отказ как «необдуманный деспотический поступок [*gedankenlosen Willkürakt*]». Проблема «Reisekader» становится очевидна в письме Хофмана к Хагеру от 27 марта 1987 года (ibid.).

1988-го роли поменялись: Браун был недоволен первым спектаклем по его другой пьесе «Transit Europa» («Европейский транзит») и требовал отмены дальнейших выступлений. В этот раз Хагер выступал против запрещения. Почему? В докладе своему коллеге из Политбюро Гюнтеру Шабовски он писал, что не хочет давать врагам на Западе возможность воспользоваться этой отменой и представить ее как еще один случай репрессий в области культуры. Хагер позвонил Брауну по телефону и уговорил потерпеть еще несколько спектаклей[1].

Подобные случаи, какими бы незначительными они ни казались, демонстрируют новый мотив, проникающий во взаимоотношения авторов и властей, хотя цензура и продолжалась, а структура власти оставалась прежней. Письма Брауна оставались уважительными, но стали звучать довольно неофициально, и писатель, обращаясь в Хагеру, перешел с формального «Вы» на дружеское «ты». Это было бесконечно далеко от того почтительного стиля, который он использовал, когда впервые попросил защиты у «глубокоуважаемого товарища профессора Хагера»[2]. Однако к 1988 году письма других писателей стали выглядеть почти нахально. Райнер Крендль, ведущий член Союза писателей, долго и с трудом торговался с издательством и ГАП насчет приключенческого романа о Ближнем Востоке «Eine gemischte Gesellschaft» («Сомнительное общество»). В конце концов ему было отказано в разрешении на печать, потому что текст не соответствовал линии партии в международных отношениях. Тогда Крендль отправил Хагеру дерзкое письмо: «Мне хотелось бы знать, почему я должен пожертвовать работой, отнявшей у меня многие месяцы, только потому, что какой-то служащий

1. Хагер к Шабовски (Feb. 4, 1988); Браун к Хагеру (Feb. 8, 1988, ms. 42321/2).
2. Браун к Хагеру (Jan. 22, 1971, ms. 36834/1). Использование обращения на «ты» не было принято среди товарищей по коммунистической партии, см.: *Janka*. Schwierigkeiten, 18.

в каком-то специальном департаменте взял на себя право решать, что люди в этой стране должны или не должны читать»[1]. Ганс Шнайдер, мастер по части романов о войне, точно так же протестовал, когда Министерство обороны запретило второе издание «Der Fall Tessnow» («Дело Теснова»), потому что в книге была сцена с пограничником из ГДР, неприемлемая по «политидеологическим» соображениям. Шнайдер спрашивал Хагера в письме, какое право имел чиновник мешать публикации книги, на которую у него ушло два года работы. «Эта жестокая несправедливость» привела писателя в ярость, он требовал лично встретиться со своим противником, который взял на себя роль «цензора»[2]. Еще десять лет назад нельзя было себе представить автора, протестующего против цензуры, которой официально не существовало, в письме к члену Политбюро. К концу 1980-х положение дел в ГДР изменилось. Эти изменения происходили незаметно, в неформальной сфере личных взаимоотношений, определявшей порядок вещей, пока старая система институтов оставалась у власти. Цензура не была отменена, но и авторы, и цензоры ожидали торжества новой свободы.

На встрече 1 марта 1989 года ПЕН-центр ГДР выпустил резолюцию с протестом против тюремного заключения Вацлава Гавела в Чехословакии. Клаус Хёпке присутствовал на встрече и подписал резолюцию. Через пять дней его вызвали на ковер старые противники из отдела культуры ЦК партии. Согласно отчету об этой встрече, который Урсула Рагвитц передала Хагеру, Хёпке настаивал на правильности своего поступка

1. Райнер Керндль к Хагеру, без даты, но с отметкой о получении (Jan. 7, 1988, ms. 42313). Похожий пример напористости автора, в данном случае Петера Хакса, протестующего против внесения изменений в текст эссе, написанного им для «Sinn und Form», см. в: Записка от Хильды Шмидт к Хагеру от 4 октября 1988 года (ms. 42322).
2. Шнайдер к Хагеру (Jan. 15, 1988, ms. 42313).

и предлагал объясниться с чешским послом. Но, настаивала Рагвитц, он, без сомнения, вмешался во внутренние дела братской социалистической державы, а его участие в протесте ПЕН-центра могло быть использовано для пропаганды их общими врагами[1]. Хёпке должен был ожидать какого-то наказания. Как он признался позже, у него был свой информатор среди коллег Рагвитц из *Kultur*[2]. Но наложенные на него санкции были довольно легкими, возможно, потому, что он принял ответственность за свой поступок в прямом письме Эриху Хонеккеру. Он говорил, что протест против жестокого обращения с Гавелом абсолютно оправдан и, поддерживая его, он не сделал ничего противоречащего способу

1. Рагвитц к Хагеру (March 6, 1989, ms. 42322/2); с запиской об этой встрече.
2. Замечание Хёпке на семинаре в Берлинском научном колледже 6 июля 1994 года по записям, которые я делал во время семинара. Хёпке говорил, что информатор Ульрих Франц передавал ему, что Рагвитц и ее коллеги говорят о нем за его спиной. Он также сообщил, что у них были свои секретные источники информации об авторах и книгах. Таким образом, его встречи с *Kultur* носили характер взаимного недоверия и были сложными, но вежливыми и корректными. Рагвитц всегда придерживалась спокойного тона во время этих встреч, и не стоит считать ее «ведьмой» (*Hexe*). Единственным человеком на вершине партийной иерархии, к которому у Хёпке были серьезные претензии, был Гюнтер Миттаг. По его словам, это был человек, грубо обращавшийся с другими и мечтавший разрушить карьеру Хёпке, не будь на его пути юридических процедур, защищающих номенклатуру. Разумеется, Хёпке, как и многие другие выдающиеся фигуры ГДР, мог стараться защитить себя от обвинений в злоупотреблении властью. Хотя он подвергся серьезной критике после коллапса режима, ему удавалось отстаивать свою точку зрения. См.: *Wolfgang Kohrt*. Als ob die Seele eine Mauer hat: Klaus Höpcke, einst stellvertretender DDR-Kultur minister: Eine deutsche Karriere // Süddeutsche Zeitung, Nov. 27–28, 1993, 11; описание Хёпке его работы см. в: «Glanz und Elend der DDR-„Kultur“» — текст лекции, который он раздал на коллоквиуме в Магдебурге 14 ноября 1992 года и который отправил мне в письме от 14 июля 1994 года.

обращения с писателями в ГДР. В конце концов Хёпке был отстранен от должности всего на несколько недель, как объясняли в Политбюро, по болезни[1].

Означала ли новая атмосфера вседозволенности исчезновение фактической цензуры в ГДР? Нет: власти продолжали запрещать выход книг по «политидеологическим» соображениям, как они часто выражались в письмах и докладах[2]. В апреле 1987 года Хагер и Хонеккер не дали напечатать «Mir fehlte Spanien» («Я скучаю по Испании»), мемуары Долорес Ибаррури, известной как *La Pasionaria*, потому что, по их словам, они были заражены еврокоммунизмом правого толка[3]. В мае Хагер и Хёпке остановили распространение 4100 экземпляров «Widerstand 1939 bis 1945» («Сопротивление с 1939-го по 1945-й») Клауса Мамаха, потому что цензоры из ГАП проглядели крамольные высказывания о коммунистическом сопротивлении нацистам во время Второй мировой войны[4]. В июле 1989 года ГАП отказалась выдать разрешение на печать книги «Schreibt die Menschheit ihr letztes Kapitel?» («Не пишет ли человечество свою последнюю главу?») Эриха Ханке не потому, что она была недостаточно марксистской, а потому, что в духе догматичного марксизма настолько преувеличивала империалистическую и милитаристическую природу сил

1. Рагвитц к Хагеру (March 3, 1989); Рагвитц к Хагеру (March 6, 1989); Хёпке к Хонеккеру (March 3, 1989, ms. 42322/2).
2. Хёпке к Хагеру (July 20, 1989, ms. 42313).
3. Хагер к Хонеккеру (April 1, 1987, ms. 42313). Хонеккер написал «согласен» [*einverstanden*] на докладе, в котором Хагер рекомендовал запретить работу.
4. Хагер к Хонеккеру (May 13, 1987); Хёпке к Хагеру (May 14, 1987, ms. 42313). ГАП дала разрешение на печать, основываясь на рекомендации издателя и двух отзывах рецензентов, но одна из цензоров, Герда Барц, призналась, что не прочитала текст из-за перегруженности работой за два дня до отпуска. После публикации книги Институт марксизма-ленинизма выразил Хагеру протест по поводу публикации ложных исторических фактов, и книга была запрещена: доклад Герды Барц от 14 мая 1987 года (ibid.).

НАТО, что противоречила установке партии на мирное сосуществование[1]. «Зубр» Даниила Гранина свободно распространялся в Советском Союзе с момента публикации в 1987 году, хотя и рассказывал о судьбе русского генетика Николая Тимофеева-Ресовского, нелестным образом изображая взаимодействия между наукой и политикой в советской системе. Но то, что было терпимо в СССР, оказалось чрезмерным для властей ГДР. Книга получила разрешение на печать и вышла тиражом 15 000 копий, но потом, в июне 1988-го, ее распространение было остановлено, а экземпляры пылились на складе в Лейпциге до середины 1989-го, когда роман наконец выпустили[2].

Цензура не прекращалась даже в относительно свободные последние годы ГДР: авторы продолжали жаловаться на то, что их рукописи отвергают по «политидеологическим» соображениям, издательства все еще не хотели идти на риск, принимая «опасные» работы, ГАП отказывала в разрешениях на печать, а лидеры партии запрещали выход произведений, которые отклонялись от линии партии, даже когда она начала терять власть. Переговоры, правки, сопротивление и компромиссы продолжались на всех уровнях, как и годами раньше, и казалось, так будет всегда. Что же в итоге положило конец цензуре в Восточной Германии? Падение Стены. Вскоре после того, как 9 ноября 1989 года Стена была проломлена, правительство распалось, партия раскололась, государство разрушилось и от всей системы цензуры ничего не осталось, кроме самих цензоров. Они сидели за своими столами, не зная, чем заняться, пытаясь понять происходящее и объяснить свою жизнь наивному чужаку, когда в 1989 году я появился в их кабинете на Клара-Цеткин-штрассе.

1. Хёпке к Хагеру от 20 июля 1989 года с запиской из ГАП, датированной 17 июля 1989 года (ms. 42313).
2. Хёпке к Хагеру (Dec. 16, 1988); Э. Штрнад к Хагеру (March 4, 1989, ms. 42313).

Заключение

Изучив цензуру при трех авторитарных режимах, мы можем вернуться к вопросу, который в начале книги оставили без ответа. Что такое цензура? Вопрос оправдан, но относится к категории смысловых ловушек, которые на французском называют *questions mal posées* — неправильно заданными вопросами, концентрирующими поиск ответов в неверном направлении. Если дать цензуре слишком четкое определение, ее можно воспринять как самостоятельное явление, которое везде происходит одинаково, несмотря на контекст. В этом случае перед историком возникает искушение рассматривать ее как вещь в себе и пытаться вычленить и отследить внутри общей политики, как путь радиоактивного изотопа по кровеносным сосудам. Этнографический подход позволяет избежать этой крайности и препятствует обесцениванию понятия цензуры через ее связь с ограничениями любого рода.

Обесценивание понятия цензуры противоречит опыту тех людей, которые от нее пострадали. Авторам, издателям, книготорговцам и их посредникам отрезали носы, отрывали уши и обрубали руки, их заключали в колодки и клеймили каленым железом, приговаривали к многолетнему труду на галерах, расстреливали, вешали, отрубали им головы и сжигали на кострах[1].

1. Самым известным примером, наверное, является Уильям Принн, которому отрезали уши по обвинению в мятежной клевете в 1634 году. См.: *Annabel Patterson*. Censorship and Interpretation: The Conditions of Writing and Reading in Early Modern England (Madison, Wisc., 1984), 52–127. Кошмарное с современной

С большей частью этой жестокости люди книги сталкивались в раннее Новое время. Ничего похожего мы не находим в материалах, которые использовались для этого исследования. Однако примеры, описанные выше, показывают, что и более легкие наказания могут причинять серьезные страдания: мадемуазель Бонафон, тринадцать лет заключения за сочинение политической сказки («Tanastès»), Макунда Лал Дас, три года «строгого заключения» за исполнение насмешливой песни («Песни белой крысы»), Вальтер Янка, пять лет одиночного заключения за публикацию автора, который вышел из фавора (Лукача). Эти приговоры можно считать ограничениями и присовокупить ко всем остальным трудностям и препятствиям, сдерживающим самовыражение. Но ограничение через заключение в тюрьму действует не так, как законы рынка. Оно осуществляется государством, имеющим монополию на власть. Если один издатель отказывается печатать мою рукопись, я могу пойти к другому. Мне может снова не повезти, и я почувствую себя ограниченным давлением капитализма, но авторитарные государства не дают такого выбора. Из Бастилии, душных тюрем Мандалея или лагерей нельзя было подать апелляцию.

Конечно, не все страны осуществляли ограничения одинаково. Их действия могли быть деспотическими, но их облачали в формы и процедуры, несущие отпечаток законности. Одним из самых удивительных качеств документов из Бастилии является то усердие, с которым полицейские старались отыскать улики и установить вину в течение долгих допросов, несмотря на то что у заключенных не было никакой юридической защиты.

точки зрения дело Принна слушалось в суде, на котором приводились аргументы в его защиту, и оно не казалось вызывающим его современникам, чьи взгляды были сформированы правлением Тюдоров-Стюартов. См.: *Mark Kishlansky*. A Whipper Whipped: The Sedition of William Prynne // Historical Journal 56, no. 3 (Sept. 2013), 603–27.

Под давлением обстоятельств суды в Британской Индии выносили ожидаемые вердикты, но там работали сложные церемонии, призванные показать главенство британских законов и укрепить иллюзию свободы печати. Осуждение Янки в Берлине было спектаклем другого рода: показательным процессом в духе сталинизма, который должен был начать чистку рядов и показать поворот линии партии. Эта линия определяла законность в системе, где не было места гражданским правам. Цензоры Восточной Германии вынуждены были придерживаться ее, изучая рукописи. Однако, действуя таким образом, они должны были сами интерпретировать и линию партии, и текст, и соответствия между ними. Когда они спорили с авторами или друг с другом о конкретных отрывках, то вынужденно входили в область герменевтики. Во всех трех системах цензура была борьбой за смысл. Она могла подразумевать расшифровку романа с ключом, углубление в грамматику санскрита или чтение между строк плутовского романа, но всегда требовала споров об интерпретации.

А они не могли пройти без учета возможной реакции читателя, любимой темы современных теоретиков литературы и практической проблемы цензоров всех времен[1]. Чтение было ключевым аспектом цензуры, не только при редактировании текстов, что часто вело к противоречивым толкованиям, но и во внутренней работе государства, потому что враждебная литература могла стать почвой для борьбы за власть, нередко приводящей к публичным скандалам, как в случае с трактатом «Об уме», мелодрамой «Nil Durpan» и «Hinze-Kunze-Roman». Такие истории возникали достаточно часто, чтобы властям приходилось постоянно

1. Обзор критики на основании реакции читателей см.: The Reader in the Text: Essays on Audience and Interpretation / Ed. Susan R. Suleiman and Inge Crosman (Princeton, 1980); Reader-Response Criticism: From Formalism to Post-Structuralism / Ed. Jane P. Tompkins (Baltimnore, 1980).

просчитывать эффект, который та или иная книга может произвести, попавшись на глаза обществу, будь то утонченные придворные, плантаторы или студенты из Пренцлауэрберга. В архивах содержатся отчеты о том, как книги влияли на среду вокруг себя и как реагировали читатели, обсуждая, декламируя и разыгрывая разные произведения. Некоторые документы раскрывают, как прочтения изменялись в разных секторах государственного аппарата и как накладывались друг на друга, например, когда Курт Хагер читал описание Урсулой Рагвитц своего видения прочтения Клаусом Хёпке «Hinze-Kunze-Roman» Дитера Шленштедта.

В одном из самых знаковых исследований цензуры Лео Штраус, беженец из нацистской Германии, выдающийся философ и исследователь литературы, заявил, что цензоры по природе своей глупы, потому что не обладают способностью замечать потайные сообщения, спрятанные между строк спорного текста[1]. Исследования, проведенные для этой книги, доказывают обратное. Цензоры не только обращали внимание на все нюансы скрытого смысла, они учитывали и то, как напечатанный текст повлияет на общество. Их образованность не удивляет в случае ГДР, где цензурой занимались писатели, ученые и критики. Но выдающиеся авторы работали в этой сфере и во Франции XVIII века, а в Индии за местной литературой наблюдали знающие библиотекари и государственные чиновники, пристально следящие за обычаями туземцев. Было бы неправильно считать цензуру грубым подавлением свободы невежественными бюрократами. Хотя она существенно отличалась в разных местах и временах, обычно это был сложный процесс, который требовал таланта и опыта и глубоко проникал в общественный порядок.

1. *Leo Strauss*. Persecution and the Art of Writing (Glencoe, Ill., 1952). Штраус прямо отвергает тот тип «историзма», который я защищаю в этой книге.

Цензура могла быть и позитивной. Апробации французских цензоров подтверждали отличное качество книги, оказавшейся достойной королевской привилегии. Они часто напоминали издательскую рекламную аннотацию, которую сейчас печатают сзади обложки. Данные из столбца 16 в тайных «каталогах» Индийской гражданской службы похожи на современные рецензии и нередко высоко оценивают находящиеся под наблюдением произведения. Хотя они выполняли работу цензоров, редакторы в Восточной Германии упорно работали, чтобы улучшить качество исправляемого ими текста. Так же поступали эксперты, писавшие рецензии, и официальные цензоры из ГАП, защищавшие ежегодный план от аппаратчиков из отдела культуры ЦК партии, которых презирали за ханжество. Несмотря на свою идеологическую функцию, переработка текста чем-то напоминала профессиональную редактуру в свободных обществах.

Цензура также приводила к сотрудничеству между авторами и цензорами, которое нередко оказывалось ближе, чем отношения между писателем и редактором в наши дни в издательствах Лондона, Парижа и Нью-Йорка. Некоторые французские цензоры так плотно работали со своими подопечными, что оказывались практически их соавторами. Тексты их апробаций, напечатанные в книгах, нельзя разлучить с телом рекомендованных текстов. Апробации, привилегии и посвящения тщательно отслеживались администрацией, заведовавшей книгами, и появлялись в изданиях вместе, как одно целое. Пристально наблюдая за местной литературой, чиновники из Индийской гражданской службы иногда поощряли ее, выдавая субсидии и премии писателям, которые, на их взгляд, могли когда-нибудь создать что-то похожее на европейский роман[1].

1. В 1870-е годы М. Кемпсон, чиновник в северо-западных провинциях (примерно теперешних Уттар-Прадеше и Уттаранчале), рекомендовал рукописи для издательских субсидий

От первой строчки до последней книги в ГДР несут следы вмешательства цензоров. Они являются результатом совместных усилий, написания и переписывания до такой степени, что некоторые цензоры жаловались, что им пришлось сделать большую часть работы.

Взаимодействие осуществлялось через переговоры. В авторитарных системах авторы понимали, что живут в реальном мире, где агенты государства имеют возможность контролировать и запрещать любые публикации. Большая часть внимания уделялась газетам и другим СМИ, а не книгам, которые мы рассматриваем в этой работе. Но и книги часто угрожали нарушить монополию на власть, и государство относилось к этому со всей серьезностью, даже на самом высоком уровне, включая министров в Версале, Лондоне и Берлине. Переговоры осуществлялись на всех стадиях процесса, особенно на первоначальном этапе, когда текст только начинал формироваться. Этого не происходило в Британской Индии, где цензура сводилась к реакции на уже опубликованные работы, и это не влияло на ту литературу, которая распространялась вне государственной системы во Франции XVIII века. Но даже Вольтер, когда публиковал легальные или полулегальные произведения, был вынужден договариваться с цензорами, их начальством, влиятельными посредниками и полицией. Он хорошо знал устройство государственного аппарата и блестяще умел использовать его для собственной выгоды[1]. Для писателей из Восточной Германии вроде Фолькера Брауна и Эриха Лёста переговоры были настолько важны, что их почти невозможно отделить

и премий, несмотря на его личное мнение, что туземная литература малочисленна, как «лесосечные делянки в джунглях». *Robert Darnton*. Book Production in British India, 1850–1900 // Book History 5 (2002), 247.

1. *Nicholas Cronk*. Voltaire and the Uses of Censorship: The Example of the Lettres philosophiques // An American Voltaire: Essays in Memory of J. Patrick Lee / Ed. E. Joe Johnson and Byron R. Wells (Newcastle-upon-Tyne, 2009).

от процесса публикации. Они часто тратили больше времени, обсуждая те или иные отрывки, чем уходило на их написание. Люди по обе стороны баррикад осознавали необходимость компромисса. Они разделяли ощущение, что играют в одну игру, принимали ее правила и испытывали уважение к противнику.

Писатели не всегда были беспомощными жертвами, некоторые из них имели возможность диктовать свои условия. Во Франции XVIII века они заручались поддержкой могущественных покровителей, чтобы оказать влияние на главного директора по книжной торговле. Если им не удавалось получить хотя бы молчаливого согласия, они посылали свои рукописи в типографии Голландии и Швейцарии, к досаде французских властей, подсчитывающих убытки экономике страны из-за заграничной конкуренции. У индийских писателей не было такой отдушины, но они могли обратиться за поддержкой к «заднескамеечникам» в парламенте или министру по делам Индии в Лондоне, которые часто скрещивали копья с вице-королем в Калькутте. Авторы из Восточной Германии обращались к похожей тактике, особенно если привлекали достаточно внимания, чтобы считаться диссидентами. Они могли пригрозить опубликовать книгу в Западной Германии и вызвать достаточно противоречий, чтобы разоблачить притворную приверженность ГДР прогрессивной культуре, свободной от гонений и цензуры. И все же не следует переоценивать враждебность в отношениях между автором и цензором. Противники часто становились друзьями. В ходе переговоров они оказывались связаны с большим количество других людей и погружались в систему отношений, существующую внутри официальных институтов. Это был мир человеческих взаимодействий, смягчавших жесткость цензуры как прямого выражения воли государства. Лазейки в законах Франции, помощь сочувствующих вроде Джеймса Лонга в Индии, «Spielraum», или пространство для маневров в Восточной

Германии (включая пустые строки в ежегодных планах), в разных соотношениях помогали цензуре работать.

Поскольку в отношениях между писателями и цензорами преобладали компромиссы, переговоры и сотрудничество, по крайней в мере в трех рассмотренных нами системах, было бы неправильно определять цензуру просто как конфликт между творчеством и угнетением. Изнутри, особенно с точки зрения цензоров, их работа казалась неотъемлемой частью литературы. Они верили, что помогают ей существовать. Вместо того чтобы подвергать сомнению это убеждение, более эффективно было бы считать его частью системы. Ни один режим не может существовать на чистом принуждении, даже современная Северная Корея, или Советский Союз в 1930-е годы, или Англия на пике тирании Генриха VIII. Всем им нужны искренние последователи. Подрывая их веру, авторитарные режимы разрушают сами себя: это тоже часть исторического процесса, который в случае Советского Союза можно проследить по растущему цинизму среди интеллигенции. Я был крайне удивлен, когда узнал, что цензоры из ГДР оставались верны ее принципам даже после распада страны. Цензоры при Старом режиме во Франции, безусловно, разделяли его ценности, в первую очередь принцип привилегий, даже когда сами им не соответствовали, например в случае с Кребийоном-сыном, который писал такие романы, которые никогда бы не одобрил сам в качестве уважаемого *censeur royal*. С точки зрения судей Британской Индии и библиотекарей, составлявших ее каталоги, либерализм нисколько не противоречил империализму. Способность видеть сочетаемость противоречивых элементов культурной системы, я думаю, доказывала силу ее власти над туземцами. Можно заметить, что религии опираются на свою способность находить противоречия и осмыслять их, например, помогая своим приверженцам сочетать веру в благого творца с опытом страданий и существованием зла.

Не преуменьшая разочарование и апатию, которые развивались при авторитарных режимах, мне кажется, важно осознать, что авторы и цензоры часто разделяли взгляды на литературу, которую вместе создавали. А она, в трех рассмотренных в книге примерах, не сводилась к созданию изобретательного вымысла. В нее входили любого рода книги и всевозможные люди, играющие роль в создании, распространении и потреблении книг. Авторы были лишь одними из них, первой ступенью процесса (авторы писали текст, редакторы, художники и типографы делали книги), а читатели ждали результата у последней. Между ними находились разного рода посредники, каждый со своими связями вне системы, например с кучерами («Tanastès» в каретах контрабандой вывозили из Версаля, чтобы доставить читателям в Париже), или окружными офицерами (они предоставляли информацию, включавшуюся в отчеты о книгах в Индии), или редакторами периодических изданий (которые публиковали рецензии, чтобы повлиять на восприятие «Hinze-Kunze-Roman»). А помимо них, литературу определял более широкий контекст: космополитизм Просвещения и французская культура в XVIII веке, имперское правление и выступающие против нее националистические движения в XIX веке, борьба за власть по обе стороны фронта холодной войны во второй половине XX века. В каждом случае характер литературы определяется окружающей культурной средой. Она всегда остается частью социальных систем с уникальными качествами и ключевыми принципами, вокруг которых они складываются: привилегиями во Франции Бурбонов, надзором в Британской Индии и плановой экономикой в коммунистической Восточной Германии.

Эти условные описания вряд ли могут отразить злоупотребления властью при этих трех режимах. При каждом власть принимала разные формы, вторгалась во все аспекты литературной жизни и делала ее подсистемой

общественного порядка. Должны ли мы в таком случае дойти, как некоторые постструктуралистские теоретики, до того, чтобы называть цензурой любое проявление власти и ограничений, включая рыночную экономику в восприятии марксистов и подсознательное в исследованиях фрейдистов? Не думаю. Если понятие цензуры включает все подряд, оно лишается значения. Не стоит его упрощать. Хотя я согласен с тем, что власть осуществляется разными способами, мне кажется, важно провести границу между той властью, которая является монополией государства (или других уполномоченных организаций, например религиозных), и властью, которая распространена в других сферах общества. Цензура, в моем понимании, всегда связана с политикой, и ею распоряжается государство[1].

Таким образом, дойдя до опасной близости с релятивизмом, я отступлю от него, как делают этнографы во время полевых исследований, сталкиваясь с местными обычаями, которые противоречат их собственным ценностям. Может ли антропологический подход к цензуре сочетаться с приверженностью культурно далеким от нее категориям вроде свободы слова, закрепленной Первой поправкой к Конституции США? Антропологи часто чувствуют, что разрываются между двумя стремлениями, как две собаки, которые в польском анекдоте встречаются на польско-чешской границе. «Зачем

1. В этом отношении я бы вспомнил свидетельство Дж.М. Кутзее, чье понимание цензуры дополняет опыт жизни при ней в Южной Африке. См.: *John Maxwell Coetzee*. Giving Offense: Essays on Censorship (Chicago, 1996), особенно с. ix–x, 9, 18–19 и 185–203. Некоторые недавние работы сочетают догадки постструктуралистских теорий с тщательными эмпирическими исследованиями. См., например: *Peter McDonald*. The Literature Police: Apaertheid Censorship and Its Cultural Consequences (Oxford, 2009); *Deborah Shuger*. Censorship and Cultural Sensibility: The Regulation of Language in Tudor-Stuart England (Philadelphia, 2006); *Jonathan Bolton*. Worlds of Dissent: Charter 77, The Plastic People of the Universe, and Czech Culture under Communism (Cambridge, Mass., 2012).

тебе в Чехословакию?» — спрашивает чешская собака. «Я хочу есть, — отвечает польская. — А зачем тебе в Польшу?». «Я хочу лаять», — отвечает собака из Чехословакии. Свобода слова должна давать место для противоречащих друг другу мнений, включая необходимость выживать в этом жестоком мире и при этом противостоять жестокости.

За помощью в решении этой проблемы можно обратиться к свидетельствам писателей, которые подвергались цензуре при авторитарной власти сравнительно недавно. Более старые воспоминания вроде известного «Дневника» А. В. Никитина середины XIX века или документы, просочившиеся из коммунистических стран, например «Czarna księga cenzury PRL» («Черная книга цензуры ПНР»), дают дополнительную информацию[1], но мемуары известных авторов предоставляют доступ к личному опыту столкновения с цензурой, особенно в психологическом измерении, которое труднее всего уловить, — опыту самоцензуры.

Возьмем описание Александра Солженицына в книге «Бодался теленок с дубом», опубликованной в 1975 году, после высылки писателя из Советского Союза. Открывая ее, ожидаешь услышать глас пророка, вопиющего в пустыне, и не остаешься разочарованным, потому что Солженицын говорит, как Иеремия. Тем не менее он описывает свой опыт в удивительной манере: это резкие, точные, ироничные и много говорящие об обществе наблюдения о том, как делалась литература в структуре власти сталинистского государства.

1. *Aleksandr Nikitenko*. The Diary of a Russian Censor (Amherst, 1975). Одна из главных тем работы Никитенко — преданность литературе и сотрудничество с талантливыми писателями. Его описания полезно сравнить с научным исследованием предмета в: *I. P. Foote*. Counter-Censorship: Authors v. Censors in Nineteenth-Century Russia // Oxford Slavonic Papers, n.s., 27 (1994), 62–105. «Черная книга польской цензуры» (New York, 1984) менее познавательна, но содержит примеры терминов и тем, бывших табу для цензоров в Польше в 1970-х и 1980-х годах.

Впервые мы видим его в лагере. Проработав в таких местах восемь лет, Солженицын пишет об окружающих его несчастьях и продолжает писать после освобождения, ведя нищенскую жизнь учителя. Он пишет с полной свободой, потому что знает, что все равно не сможет ничего опубликовать. Его слова не прочитают до его смерти, а может, и после. При этом писатель вынужден держать свои произведения в тайне. Он запоминает их наизусть, записывает, когда предоставляется возможность, на обрывках бумаги, сворачивает их в трубочки, а трубочки помещает в бутылки, которые закапывает в землю. Рукопись следует за рукописью, а Солженицын продолжает прятать их в самых безопасных и неожиданных местах. Потом, к его радости, Хрущев обвиняет Сталина в излишней жестокости во время XXII съезда партии в 1961 году, и Александр Твардовский, редактор «Нового мира», самого влиятельного литературного журнала в СССР, объявляет о своей готовности печатать более смелые работы. Солженицын решает рискнуть. Он переписывает в более мягкой форме работу, которая в какой-то момент пробьет стену молчания об ужасах лагерей, под названием «Один день Ивана Денисовича», и посылает ее в «Новый мир».

С этого момент рассказ Солженицына приобретает социологический характер. Он описывает всех редакторов журнала, их соперничество друг с другом, хитрости и попытки обезвредить бомбу, которую он им подбросил. Александр Дементьев, интеллигент, двуличный агент ЦК партии, расставляет капканы и возводит баррикады во время заседания редколлегии, но Твардовский сомневается. Как талантливый поэт с крестьянскими корнями, «он предан был русской литературе, ее святому подходу к жизни». И все же он верил в «более важную истину — партийную»[1].

1. *Aleksandr Solzhenitsyn*. The Oak and the Calf: Sketches of Literary Life in the Soviet Union (New York, 1980; 1-е изд.: 1975), 29.

В итоге Твардовский преодолел свои сомнения и сомневающихся подчиненных и вместе с Солженицыным прошелся по его произведению от строчки к строчке, обсуждая возможные изменения. Тот до определенной степени был готов их внести, так как понимал, что текст должен быть изменен достаточно, чтобы пройти через тернистый путь, составлявший литературный процесс. Сам этот путь описан в книге — чтение рукописи известными литераторами, приглушенные дискуссии в коридорах власти, выступление перед Хрущевым на его даче и одобрение президиума Политбюро. Официальные цензоры, скрывающиеся во мраке, пришли в ужас, когда увидели черновики. Но хвалили книгу, когда она отправилась в печать, в последнюю минуту узнав, что ее одобрили в ЦК. Работа произвела фурор, и за ней могли последовать другие книги, которые Солженицын уже подготовил, но он удерживал их, не желая вносить необходимые правки. Позже он понял, что это была стратегическая ошибка, потому что окно возможностей закрылось, когда Хрущева в 1964-м сменил Брежнев и новая волна сталинизации задушила искреннюю литературу, отправляя теперь скандально известного Солженицына в изгнание. Несмотря на все яркие детали, подкрепленные большим количеством документов, «Бодался теленок с дубом» не выглядит как журналистское расследование. Нет там и западного взгляда на свободу слова. Используя русскую идиому, она пророчески провозглашает литературу двигателем правды[1].

Милан Кундера пишет в другом стиле, ироническом, изощренном, осознанно погруженном в историю европейской литературы. Он тоже бросил вызов цензуре в тот момент, когда сталинизм рассеялся достаточно, чтобы обнажить линии разлома, а потом снова сгустился, в итоге вынудив писателя покинуть родину.

1. Ibid., 10.

Литература и другие виды искусства, особенно кинематограф, в 1960-е годы в Чехословакии вернулись к жизни, несмотря на тяжеловесность коммунистического режима. В самой партии с января 1968-го, после того как первым секретарем стал Александр Дубчек, стали преобладать реформаторы, желающие построить «социализм с человеческим лицом». Цензура была отменена во время череды реформ, известных как Пражская весна, и восстановлена вскоре после советского вторжения в августе. Годом раньше, в июне 1967-го, Союз писателей провел съезд, который в ретроспективе выглядит прелюдией к Пражской весне. Кундера и другие писатели использовали его как повод потребовать большей свободы. В обращении к съезду Кундера назвал литературу жизненной силой, подпитывающей «само существование народа», «ответом на вопрос о смысле существования народа» и, процитировав Вольтера, осудил цензуру, взывая к естественным правам:

> Потому что правды можно добиться только в диалоге между свободными равноправными идеями. Любое посягательство на свободу мысли и слова, какими бы аккуратными ни были эти механизмы и терминология цензуры, в наше время является немыслимым и напоминает цепь, сковывающую национальную литературу и не дающую ей двигаться вперед[1].

Могло ли такое заявление появиться в печати? «Literární noviny», чешский эквивалент «Нового мира», собирался опубликовать его вместе с протоколом съезда, включая намерение отменить цензуру. Для Центрального управления печати, напоминающего ГАП в Восточной Германии, это было уже слишком. Оно отказалось пропускать материал и вызвало главного

1. Это описание основано на: *Dusan Hamsik*. Writers against Rulers (London, 1971), куда включена речь Кундеры. Цитаты со с. 176 и 174–75.

редактора «Literární noviny» Душана Гамшика и членов редколлегии на встречу с представителями управления и Франтишеком Хавличеком, главой идеологического департамента ЦК, чешского аналога *Kultur* из ЦК ГДР. Согласно пересказу Гамшика, встреча превратилась в кровавую битву за каждую статью в номере, в первую очередь за расшифровку речи Кундеры. Сам Кундера тоже присутствовал и пререкался с Хавличеком строчка за строчкой за каждое выражение и каждую запятую. Он не мог просто отказаться от переговоров, потому что писатели хотели увидеть свой манифест напечатанным и поддержать общественное сопротивление сталинизму. В чем-то Кундере удалось отстоять свою точку зрения, в чем-то нет, при этом он продолжал настаивать на «абсурдности цензурирования текста, протестующего против цензуры»[1]. В конце концов ему удалось отостоять почти все написанное. Но, выйдя со встречи, Кундера чувствовал себя глубоко несчастным. «Почему я прогнулся? — спрашивал он у Гамшика. — Я позволил выставить себя полным идиотом... Любой компромисс — это гнусный компромисс»[2]. Вскоре из ЦК партии позвонили и сообщили, что они все-таки к компромиссу не готовы. Протоколы так и не были опубликованы. И Кундера почувствовал невероятное облегчение.

Описывая эту сцену, Гамшик называет Кундеру «трудным пациентом»[3], писателем со столь несгибаемой преданностью своей работе, что его тошнило от любой уступки властям. Однако, когда наступил критический момент, он, как и Солженицын, был готов редактировать свои произведения, чтобы ослабить контроль партии над литературой. Кундера тоже считал ее силой, создающей национальную идентичность, хотя более смело ассоциировал с триумфом европейской

1. Ibid., 90.
2. Ibid., 93.
3. Ibid., 86.

цивилизации[1]. Литература обладала для него таким трансцендентным значением, что он не мог вынести переговоры и уступки, определяющие писательскую жизнь при всех сталинистских режимах. Делая его соучастником своих преступлений, несмотря на его сопротивление, государство било по самолюбию Кундеры.

Чувство уязвленного достоинства легко заметить и в описании Норманом Маней столкновения с цензорами в 1980-е годы в коммунистической Румынии, когда Николай Чаушеску установил тоталитарный режим вне сферы влияния Советского Союза. Маня говорит о «человеческих реалиях»[2] по обе стороны баррикад. Осторожные и коррумпированные чиновники преследовали свои цели, а амбициозные авторы пытались продвинуться вперед в системе, полностью подчиненной партии. Как один из авторов, Маня хотел совершить прорыв со своим романом «Черный пакет», содержащим тщательно завуалированную критику окружающего тоталитаризма. Из-за видимости отмены цензуры писатель не получил отзыва на книгу, только копию текста, в которую были внесены правки. Около 80% материала было без каких-либо дополнительных пояснений отмечено как подлежащее удалению или пересмотру. Маня постарался угадать возникшие претензии и тщательно переписал текст, а потом снова отнес его в издательство. Переработанная версия была отвергнута, опять же без объяснений. Казалось, что из этого положения нет выхода, пока глава издательства не решил рискнуть. Он отправил текст рецензенту, ушедшему на покой ветерану цензуры, которого знал благодаря своим контактам в сети человеческих взаимоотношений, где за фасадами официальных учреждений реально решались дела. Эту рецензию можно было бы показать Мане, ведь ее автор больше

1. Ibid., 173.
2. *Norman Manea*. On Clowns: The Dictator and the Artist (New York, 1992), ix.

не числился цензором. В ней содержался тщательный и разумный разбор рукописи и предлагались существенные поправки. Как бы это ни было болезненно, Маня принял рекомендации своего «проницательного наставника-цензора»[1], ведь это была единственная надежда на продолжение существования в мире литературы. Стратегия сработала, тираж был распродан, и на волне успеха книги Маня был вынужден бежать из страны. В 1988 году он переехал в Америку, где познал «свободу» — не мир без всяких ограничений, а сложную систему, требующую своих компромиссов, включая те, что навязывались «суровым законом рынка»[2]. Признавая непростые реалии свободной жизни при демократии, Маня настаивал на существенном различии между ней и тем, что он испытывал в Румынии. Когда он вспоминал о правках, внесенных в роман, он сожалел не столько об удаленных из текста фрагментах, сколько о самой необходимости компромисса и уступок и о той цене, которой они давались. В конце концов, заключил Маня, «цензоры выиграли»[3].

Данило Киш пережил нечто подобное в коммунистической Югославии, хотя там сталинизм принимал более мягкие формы, чем в Восточной Германии, Чехословакии или Румынии. Рассуждая о попытках ужиться с цензурой, он подчеркивает ее незримую природу — неформальное давление, оказываемое издательствами и редакторами, которые служили цензорами, продолжая выполнять свои профессиональные задачи, и в первую очередь всепроникающую власть самоцензуры. Внутренний самим тобой назначенный цензор, писал Киш, является двойником писателя, «двойником, который смотрит через плечо и правит текст *in statu nascendi*, удерживая от совершения идеологической ошибки. Невозможно победить этого цензора-двойника.

1. Ibid., 87.
2. Ibid., 89.
3. Ibid., 88.

Подобно Богу, он видит все и слышит все, потому что порожден твоим мозгом, твоими страхами, твоими кошмарами»[1].

Чеслав Милош развивает эту тему, описывая, как интеллектуалы в Польше осуществляли цензуру над собой через «невольный личный контроль»[2], то есть внутреннее принятие коммунистической доктрины, навязанное не силой, но необходимостью осмыслить последствия Второй мировой войны и завоевание их страны старым врагом, Россией, с помощью нового оружия — сталинистской диалектики. Они на собственном опыте испытали ужасы истории, и это подорвало их ощущение реальности. Как человек, который видел жестокое убийство своих друзей и превращенную в руины Варшаву, мог сохранить ощущение осмысленности пререканий литературного авангарда до войны или разделить радостный послевоенный взгляд на мир, распространившийся в некоторых странах Запада, например запечатленный в рисунках Нормана Роквелла для обложек «Saturday Evening Post»? Диалектический материализм в советской трактовке утверждал, что исторические механизмы изменяют реальность большими волнами, которые уже захлестнули Центральную Европу, вскоре поглотят Париж и Лондон, а потом достигнут и лицемеров в Америке. Авторы вроде «Альфы», как и Милош странствующие по литературным кругам в 1930-х и 1940-х, находили психологическое удовлетворение и материальную поддержку, принимая официальные установки. Милош описывает траекторию их внутренней и внешней жизни, используя выдуманные имена, чтобы объяснить их подчинение полному контролю государства. Для них, как и для него, поворотной точкой стало внедрение соцреализма, которое Милош воспринимает не просто как эстетическую директи-

1. *Danilo Kis*. Homo Poeticus (New York, 1992), 91–92.
2. *Czeslaw Milosz*. The Captive Mind (New York, 1953), 14.

ву, но как всеохватывающую доктрину, относящуюся к верованиям, лежащим в основе человеческого существования. В области литературы он запрещал то, что в каждую эпоху было главной задачей писателя: воспринимать мир со своей независимой точки зрения, говорить правду в своем понимании, бдительно следить и защищать интересы всего общества[1].

Милош посвятил себя этому пониманию литературы в 1951 году, на пике сталинизма, когда вынужден был покинуть родину. Его решение отказаться от собственной страны и культуры было, по его словам, продиктовано не столько философией, сколько нутром, «восстанием желудка». И все же оно выражало намерение «сохранить в живых свободу мысли»[2].

Когда беглецы из советской системы используют слова «свобода» и «истина», они не призывают к защите Первой поправки и не философствуют. Эти слова они выбирают, чтобы описать личный опыт столкновения с цензурой как с силой, действующей в определенных обстоятельствах, силой, определявшей природу литературы в авторитарной политической системе. «Свобода слова» служит стандартом, позволяющим измерить угнетение. Она не подразумевает свободу от любых ограничений, хотя в жизни писателей их было множество. Для них свобода была принципом, которому придавал смысл опыт притеснения. Разумеется, этот опыт был разным, и различия делают бессмысленным поиск общего определения, которое описало бы их все, включая те, которые были досконально изучены вроде цензуры при апартеиде в Южной Африке[3]. Даже внутри советской системы некоторые авторы переписывали, сокращали и расширяли собственные воспоминания,

1. Ibid., xii.
2. Ibid., x.
3. См.: *Coetzee*. Giving Offense: Essays on Censorship; *McDonald*. The Literature Police.

включая подневольный труд в лагерях Сибири, под чутким руководством цензоров, и делали это добровольно, убежденные в способности партии направлять[1].

Слова вроде «свобода» и «истина» могут показаться не подходящими для обсуждения хитросплетений цензуры в советской империи. Используя эти абстракции, беженцы из системы не преуменьшают исторические обстоятельства, царившие вокруг них. Наоборот, они описывают постоянную необходимость договариваться и идти на уступки в зависимости от того, что указывала линия партии, и переменчивость мнения писателей, которые пытались пробраться через преграды сурового мира литературы. Также для них не было секретом, что литература в «свободном мире», как говорят на Западе, не лишена собственных ограничений. Отличается ли их опыт от релятивистского понимания свободы?

Вопреки Гегелю, я не думаю, что в истории есть место абсолютным категориям. Все события происходят в конкретном контексте, и все действия встречают те или иные ограничения. Однако такое восприятие свидетельства писателей, которых заставляли молчать или которые молчали добровольно при сталинистских режимах, не означает приравнивания их опыта к ощущениям любого человека, столкнувшегося с трудностями, стараясь опубликовать книгу. И не требует объединения способов контроля над текстом в XX веке с использующимися в других местах и временах. У историков

1. См.: *Thomas Lahusen*. How Life Writes the Book (Ithaca, 1997). Это выдающееся исследование создания и распространения романа «Далеко от Москвы» Василия Ажаева, эпического повествования о строительстве трубопровода на советском Дальнем Востоке. Хотя он сам был отправлен в лагерь за контрреволюционную деятельность, Ажаев стал преданным приверженцем сталинизма и тесно сотрудничал с цензорами, которые велели ему вырезать 300 страниц и переписать 200 страниц из его рукописи в 1000 страниц. Книга пользовалась большим успехом у советских читателей. Прославленная как классика соцреализма, она получила Сталинскую премию в 1949 году.

нет никакой шкалы, чтобы измерять степень бесправия в разные прошедшие эпохи. Но мы не можем избежать оценочных характеристик и должны понимать, каким образом наши ценности влияют на наше понимание, так же как мы признаем набор концепций, его формирующий. Описывая подходы к истории цензуры, мы можем использовать противоположности — нормативность и относительность, эмпирику и теоретику, либерализм и постструктурализм, но ничто из этого не позволит полностью описать сложный характер человеческого опыта. Вместо использования противопоставлений я предпочту перевести дискуссию на другую почву.

Этнографический подход к цензуре понимает ее холистически, как систему контроля, которая пронизывает институты, окрашивает человеческие отношения и достигает тайных движений души. Принимая столь широкий угол обзора, этнографическая история может отдать должное разным способам, которыми цензура осуществлялась в разных обществах. Она позволяет избежать конкретизации понятия цензуры или ее превращения в четкую формулу, включая даже нарушение деклараций прав. Не оспаривая верность этих деклараций, этнографическая история рассматривает их как части культурной системы. При этом она не уничтожает любую почву для дискуссий, стараясь уравнять условия научных исследований.

Антропологи давно поняли: чтобы понять чуждые взгляды, приходится вступать в диалог с местным населением, и это обостряет осознание собственной точки зрения[1]. Работа в архивах заставляет историка столкнуться с ужасными примерами подавления

1. Пример дискуссии между антропологами о проблемах понимания точки зрения «местных жителей» см. в: *Gananath Obeyesekere*. The Apotheosis of Captain Cook: European Mythmaking in the Pacific (Princeton, 1997); *Marshall Sahlins*. How «Natives» Think: About Captain Cook, for Example (Chicago, 1995).

свободы. Описав некоторые из них, эта книга призвана объяснить, как цензоры выполняли свою работу, как осуществлялась цензура и как она была устроена при авторитарных режимах. Изучая ее механизмы, я стал больше ценить принципы, которые разделяю с другими гражданами нашей причудливой части мира и в наше время. Я понимаю, что Первая поправка не имеет силы вне юрисдикции Конституции США, но верю в свободу слова с тем же пылом, что и мои соотечественники, несмотря на презрение изощренных интеллектуалов, смеющихся над «одержимостью Первой поправкой»[1]. Пытаясь понять других, человек должен держаться за свои идеалы, особенно сейчас, когда государство может следить за каждым его шагом.

1. *Stanley Fish*. There's No Such Thing as Free Speech, and It's a Good Thing, Too (New York, 1994), 110.

БЛАГОДАРНОСТИ

Эта книга представляет собой сильно расширенную версию паниццианских лекций, которые я читал в Британской библиотеке в январе 2014 года и посвятил первому паниццианскому лектору Д. Ф. Маккензи. Я хотел бы поблагодарить Фонд Паницци и сотрудников Британской библиотеки за приглашение. Я всегда буду в неоплатном долгу перед библиотекарями и другим сотрудниками Библиотеки Арсенала и Национальной библиотеки Франции, которые помогали мне искать следы цензоров, авторов и полицейских агентов в хранящихся там собраниях рукописей с 1960-х годов. Берлинский научный колледж дал мне стипендию в 1989–1990-х годах и еще одну в 1992–1993 годах. Я бесконечно благодарен колледжу, его ректору Вольфу Лепенису и его сотрудникам. Сольвейг Нестер помогла мне не потеряться в запутанном лабиринте бумаг ЦК коммунистической, или Социалистической единой партии Германии в Восточном Берлине. А Грэхэм Шоу стал проводником по архивам Индийской гражданской службы в Британской библиотеке в Лондоне. Я благодарен им, Стивену Форману, моему блестящему и доброжелательному редактору в «W. W. Norton», и Жану-Франсуа Сенэ, который улучшил мой текст, переведя его на французский язык для издательства «Gallimard». Французское издание включает обсуждение некоторых теоретических вопросов, которые не вошли в английский вариант. В нем можно также увидеть оригинальные французские цитаты из рукописных источников, а в немецком издании — оригинальные цитаты на немецком. Все переводы на английский язык сделаны мной.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Ил. 1. Титульный лист «Nouveau voyage aux isles de l'Amérique» (1722). Частная копия

Ил. 2. Апробации и привилегия «Nouveau voyage aux isles de l'Amérique» (1722). Частная копия

Ил. 3. *Billet de censure* (1751). Bibliothèque nationale de France

Ил. 4. *Feuille des jugements* (1786). Bibliothèque nationale de France

Ил. 5. The British Library. Титульный лист «Nil Durpan». © The British Library Board, 11779, с. 94

Ил. 6. The British Library. Страницы 10–11 Бенгальского библиотечного католога книг за второй квартал, оканчивающийся 30 июня 1879 года. © The British Library Board, ORW 1986.b.149/3 (June 30, 1879), p. 10–11

Ил. 7. Диаграмма учреждений, контролирующих цензуру в ГДР. Частная копия

Ил. 8. План по восточногерманской литературе на 1990 год. Частная копия

Ил. 9. Идеологический отчет о плане по литературе в 1989 году. Частная копия

Ил. 10. Страница 110 восточнонемецкого издания романа Кристины Вольф «Кассандра». Частная копия

ИМЕННОЙ И ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Abwesenheit (Хильбиг) 248
Académie des dames, L', ou les entretiens galants d'Aloysia 106
Almanach de la librairie 81
Almanach royal 40, 41, 42, 51
Alternative, Die (Баро) 284
Aryua Jati 164
Assamya Larar Ditya Shikhya 155
Aufbau-Verlag 261, 276, 277, 278–279

Bande Mataram Sangit 198
Bangadarshan 159
Bedrohung, Die (Шёберг) 219
Bekentnisse eines Einfältigen (Рёмер) 267
Berliner Ensemble 290, 292, 299
Bharat Kahini 165
Bharathe Jaban 164
Bharatuddhara, athaba chariana matra 168
Bhasha Tattva 160
Bhubudeb Puddhuti 156
Bibliothèque amusante 69
bienséances 52, 57
billets de censure 46, 47, 48, 53, 54
bouquinistes 95, 99, 106, 114, 115
brevet de libraire 81
Bréviaire des chanoines de Rouen 98
Brief, Der (Хильбиг) 251, 252
Buhoobibahu Rahityarahityu Neernuyu 155
Buna: Roman eines Kunststoffes (Кюнне) 268–269
Bureau de la librairie 37, 45
Buridans Esel (де Бройн) 280

Chakar Darpan Natak 162
chambres syndicales 80
Chinta Lahari 154
Christiade, La (де ла Бом) 55
Christianisme dévoilé 103

Chronologie historique militaire 54
Colporteur, Le, histoire morale et critique 106
Compère Mathieu, Le, ou les bigarrures de l'esprit humain 105
Cours de chimie (Барон) 56
Czarna księga 341

Daiva-lata 146, 165
Dasatwa-shrinkhala 163
De la Philosophie de la nature (Делиль) 79
De Lorm, M. 65
Dekhila-hansi-paya 146
Depasse 65, 69
Derniers soupirs du soi-disant parlement 106
Descriptive Catalogue of Vernacular Books and Pamphlets (Лонг) 123
Deser Gan 203
Deshiya prakriti o chikitsa 155
Deutsches Theater 239, 297, 298, 299, 300
Dialogues et fables allégoriques 58
Dmitri (Браун) 292

Ecole des filles, L' 104–105
Ek Hindu pratye Mahan Tolstoy no Kagal (Толстой) 181
Errinerung an eine Milchglasscheibe (Меншинг) 270–271
Es geht seinen Gang (Лёст) 281
Esho Ma Polli-Rani 187
Exhortations sur l'Eucharistie 66
Exposition des vérités chrétiennes et de moeurs de ce siècle 66

Fall Tessnow, Der (Шнайдер) 327
Fille de joie, La 110–111
Fischer, издательство 248, 251
Flugasche (Марон) 242
Flugversuche (Арндт) 264
Flüstern eines Kleides, Das (Корт) 219
Frankfurter Allgemeine Zeitung 282

Gajimiyar Bastani 160
Gazette de Cythère, La, ou histoire secrete de Mme la comtesse du Barry 106, 111
Gedächtnisprotokoll (Браун) 285
Gemischte Gesellschaft, Eine (Керндл) 284, 326
Grigri, histoire véritable traduite du japonais 106
Guevara, oder Der Sonnenstaat (Браун) 291, 292–293, 295–296, 297, 298, 300
Gyananjan 154
Gyandipika 164

Hans Faust (Braun) 290–291, 301
Haquenettes ou étrennes au seigneur de Maupeou 105
Haute messe célébrée par l'abbé Perchel, conseiller-clerc du ci-devant soi-disant conseil supérieur de Rouen 106

Heinrich Schlaghands Höllenfahrt (Кирш) 245
High Education in India 165
Hind Swaraj 181
Hindoo Patriot 135
Hinstorff, издательство 231
Hinze-Kunze-Roman (Браун) 229, 253, 260, 290, 300, 301–319, 320, 325, 333–334, 339
Histoire de Dom B..., portier des Chartreux 103, 105, 106, 111
Histoire de la Rochelle (Аркер) 57
Histoire de l'Opéra 57
Hoch-Zeit am Honigsee (Рейновски) 267
Holzwurm und der König, Der 266
Horns Ende (Хайн) 320

Irgendwo in Europa (Кроеберг) 217

Jagannather Rath-arohana-o-Kamini-ranjana 147
Jel Darpan Natak 162
Journal historique de la révolution opérée dans la constitution de la monarchie françoise par M. de Maupeou 111

Kajer Khatam 168
Kali, the Mother (Нобль) 174
Kassandra (Вольф) 286–288
Kesari 174, 184
Krishna Bhakti Sar 155
Kultur:
    восприятие «Hinze-Kunze-Roman» в 315, 316
    запрет книг от 224
    идеологические директивы от 225, 240, 250
    культурная критика от 257, 258
    одобрение плана в 219, 221, 223, 224, 237, 304, 333
    отношения Брауна с 294, 297
    отношения с ГАПом у 223, 224, 225, 237, 259, 270, 273, 328
    отношения с министерством культуры у 240
    расследование об «Антологии» в 254
    стилистические стандарты, принятые в 250, 257–258
    см. также Рагвитц, Урсула
Kürbiskern 296

Langsamer knirschender Morgen (Браун) 325
Last der Nähe (Пашке) 215–217
Le Mot et la chose 72
Leben Gudrun, Das (Новак) 271
Lenins Tod (Браун) 291, 295, 298
Lettre à un duc et pair 96
Lettre au R.-P. Berthier sur le matérialisme (Койер) 76
Lettre de M. l'abbé Terray à M. Turgot 97, 99, 100, 102
Lettre du sieur de Sorhouet au sieur de Maupeou 96
Lettre sur les peintures d'Herculanum 14

Lettres philosophiques par M. de Voltaire 105
Lettres semi-philosophiques du chevalier de *** au comte de *** (Паскаль) 105
Literární noviny 344
livre sur la librairie 47
Luftschaukel (Брюнс) 266

«Mahajana Sabha» 174
Manihara-phani Barat janani 164
Margot la ravaudeuse 105
Matri Puja 195, 199, 202
Matri Puja Gan 203
«Mauer, Die» (Браун) 253
Maupeouana 110
Mémoires authentiques de la vie de Mme. du Barry 96
Mémoires pour servir à l'histoire du Parlement de Paris (Бомарше) 110
Mémoires secrets d'une femme publique (Моранд) 110
Mémoires sur la librairie (Мальзерб) 34, 56, 61, 74, 78, 80
Mir fehlte Spanien (Ибаррури) 329
Mitteldeutscher Verlag («MDV») 260–261, 263, 266–267, 271–272, 279–282, 291, 301, 304–305, 307–309, 312, 320, 325
Mystères de l'hymen, ou la bergère de velours cramoisy 69

Nachdenken über Christa T (Вольф) 280
«Nachtgedanken» (Меншинг) 271
Negative Erfolg, Der (Бранштнер) 265
Neue Deutsche Literatur 247, 256, 315
Neue Herrlichkeit (де Бройн) 229, 263, 321
Neues Deutschland 280
Neues Leben, издательство 264
«Nibelungen» (Браун) 325
Nibhrita Nivas Kavya 155–156
Nil Durpan (Митра) 132–139, 162, 170
Nonnes éclairées 113
Nouveau voyage aux isles de l'Amérique (Лаба) 23, 26

Oeuvres diverses (Монкриф) 54
Oraison funèbre des conseils supérieurs 106, 113

Pallichitra 186
Pensées philosophiques (Дидро) 76
Pensées théologiques 110
permissions de police 35
Philosophie du bon sens, La (Бойер) 76
Picus et Canente 58
Plan général d'institution publique pour la jeunesse du ressort du parlement de Bourgogne 54

Power in Print (Гош) 121
Procès instruit extraordinairement contre M. de Caradeuc, Le 108
Projet des embellissements de la ville et des faubourgs (Понсэ) 38
Punjabee 174
Putain errante, La 105
Pyrrhonisme du sage (Бособр) 76

Rahasya-pratibha 147
Rajatgiri Nandini Natak 157
Reclam, издательство 236, 244, 250, 251
Réflexions impartiales sur l'Evangile 105
Réfutation d'un livre publié par feu M. l'évêque de Mirepoix sous le titre de Défense de la grâce efficace par ellemême 65
Religion naturelle, poème, La (Вольтер) 76
Reporter des Glanzes (Черни) 265

Samya 146
Sankhya Darsan (Видьясагар) 159
Sarat-Sashi 167
Sarbbagyan Gyanmanjari 157
Satik Pauchali 164
Saturday Evening Post 348
Schattenboxen (Лёст) 281
Schreibt die Menschheit ihr letztes Kapitel? (Ханке) 329
Schwierigkeiten mit der Wahrheit (Янка) 276, 277
Seid ein Gespräch wir sind (Цибулька) 266
Shishubodh (Чандра) 129
simples tolérances 35
Sinn und Form 240, 292, 327
So war es: Lebensgeschichten zwischen 1900–1980 (Херцберг) 269
Société typographique de Neuchâtel 81, 82, 108–109, 110, 112
Sog, Der (Флигер) 265
soirées du Roi de Prusse, Les 96
Sonntag 278
Späte Post (Гюнтер) 217
Stille, Die (Якобс) 264
Stimme, Stimme (Хильбиг) 248–250
Suhrkamp, издательство 291, 308, 314, 325
Sukhamukur Kavya 168
Sura-sanmilana 166
Surendra-Binodini Natak 152
Swarajya Sapan 192
Swarnalata (Тагор) 158
Système de la nature 107

Tablettes dramatiques (Mouhy) 36
Tanastès 84–87, 90–92, 332, 339
Tangospieler, Der (Хайн) 229

Tamponnet, M. 66
Thakur-Jhi 158
Theater der Zeit 245
Théologie curieuse, ou questions recherchées extraites des Saintes Ecritures 66
Thérèse philosophe 83
Tinka (Браун) 291
Traité des erreurs populaires 105
Transit Europa (Браун) 326
Trennungszeichen (Новак) 217
Trois imposteurs 110

Udvaha Chandraloka 160
Unterm Neomond (Хильбиг) 248
Unvollendete Geschichte (Браун) 292, 294

Vana-Vihangini 145
Vérités des mystères de la religion 113
Videa Sundar (Чандра) 129
Vie de Clément XI, 68
Vie de Madame la comtesse du Barry 99, 101, 102, 103, 106
Volupteux hors de combat, Le 98

Weimarer Beiträge 315
Weltbühne, Die 310, 316
Widerstand 1939 bis 1945 (Мамах) 329
Wir Flüchtlingskinder (Хёнтч-Харендт) 267
Wir und nicht sie (Браун) 291, 253

Yugantar (периодическое издание) 178
Yugantar (Шастри) 174, 178

Zeit, Die 244
Zorn des Schafes, Der (Лёст) 262, 275, 279, 284

Авиньон, Франция 60
авторское право 28
агентство Франс-Пресс 283
Агентство национальной безопасности, цифровая слежка 7
Ажаев, Василий 350
Азия, националистические движения в 174
Айнхорн, Хиннерк 305–307, 314
Академия государственного управления и юриспруденции (Восточная Германия) 309
Академия искусств (Восточная Германия) 239, 251, 253, 319
Академия наук (Франция) 59
Академия социальных исследований (Восточная Германия) 257
Аксен, Герман 247
акт о газетах 1908 года 185

акт о клевете 1792 года 132, 133
акт о местной прессе 1878 года 173
акт о печати и регистрации книг 1867 года 143, 144
акт о предательстве и мятежных поступках 1795 года 132
акт о призыве 1856 года 142
акт о театральных представлениях 1876 года 185
«Альфа» 348
Амстердам, Нидерланды 60, 64, 110, 114
Англия:
авторское право в 28
движение за реформы в Индии в 135, 179, 337
либеральные принципы в 121
наказания за клевету в 132, 133
отказ от цензуры в 14, 133
Андресон, Александр «Саша» 255–256
антропология 340, 351
Анушилан самити 178
апробация 25–28, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 64, 75, 76, 335
влияние 56
написание 47
«Ареопагитика», Милтон 14, 15
арийцы 145–146, 168
Аристотель 180
Арндт, Вальтрауд 264

Бальзак, Оноре де 94
Банде матарам 175, 199, 201, 202
Баро, Рудольф 284
Барон, М. 56
Барри, мадам дю 96
Барц, Герда 329
Бастилия:
архивы 17, 91, 94, 332
книготорговцы в 84, 85, 88, 91, 96, 98, 101, 103, 104, 106, 108, 114, 115, 332
конфискованные книги в 83
Баттерфилд, Герберт 15
Баутцен 278, 279, 281
Бекер, Юрек 284
Бель-Иль, маршал де 37, 54
Бенгалия:
ее воссоединение 177
ее раздел 173–175, 184
«молодой бенгалец» 166, 167
бенгальская литература:
британский надзор за 123, 125–131, 140–160, 177, 334, 335
«бульварная литература» в 156–157, 169–170
в каталогах 143–145, 149–160, 161–172, 173, 195, 198

бенгальская литература (*продолжение*):
герменевтические споры вокруг 186–191, 195–200, 333
драматургия в 128, 135, 138, 157, 162, 166, 195–205
ее преследование 178, 195–205
ее развитие 148–149, 158, 192–193
ее распространение по провинции 128, 131, 156–157, 158, 195–205, 206
ее устный аспект 131, 139, 158, 203
календари 127, 156–157
культурное влияние 149, 155, 158, 159, 160, 165, 167
мнение общественных служащих о 143–145, 149–151, 155, 156, 158, 161–172, 334
мятежные высказывания в 149, 161–172, 173, 186, 187, 188, 195–205
национализм в 175, 178, 186, 199, 201, 202
некаталогизированная 169–170
песни в 128–129, 157, 186, 202, 203, 204, 333
полицейские действия против 178
последние события в 128, 129, 135, 138, 157, 165, 166, 169, 187, 195, 199–200, 206
судебные действия против 186–191, 195–205
тема угнетения в 162, 165, 166, 167
тема упадка в 166
эротика в 129, 137, 146–147, 158
см. также индийская литература
бенгальские интеллектуалы 135, 136, 174, 190
«Бенгальские пословицы» (Лонг) 123
Бенгальское Возрождение 149, 159, 174
Бентинк, Уильям 147
Берлинская стена 209, 213–214, 227, 253, 279, 322, 330
Берлинский научный колледж 17, 210
Бергер, Кристель 286
Бехер, Йоханнес Р. 277, 278
Бёлль, Генрих 232
Библия, важность для ранней истории Америки 10
Бирма 142
Бирман, Вольф 242, 247, 250, 283, 284, 285, 292
Блох, Марк 9
Блох, Эрнст 279
«Бодался теленок с дубом» (Солженицын) 341–343
Бойер, Дж.Б. Де 76
Бомарше, Пьер 110
Бонафон, Мари-Мадлен 84–91, 92, 117
Бос, Бидху Бусан 186
Бос, Чандер Натх 152–153
Бособр, Луи де 76
Брайан, Уильям Дженнингс 181
Бранштерн, Герхард 265
Браун, Фолькер 214, 223, 229, 244, 248, 260, 283, 290–300, 302–303, 304–307, 309, 311, 313, 314, 317–319, 324, 325, 326, 336

брахмоизм 158
Брахмосамадж 149
Брежнев, Леонид 343
Бретонский случай 108
Брехт, Бертольд 257
Британская библиотека, отделение Индии 18
Британская Индия 87–143
«бабу» в, *см.* Индийские общественные служащие
библиотекари в 104, 110, 111, 113–114, 137, 144, 149, 154, 155, 156, 199, 231, 234, 267, 334, 335, 338
библиотеки в 144, 177
бюрократия в 124, 135–136, 143, 148, 175
вопрос о вторичном браке вдов в 125, 142
Восстание сипаев в 123, 126, 133, 140, 141, 142–143
газеты в 126, 140, 174, 177, 184, 191, 200
движение за реформы в 99, 107, 121, 124, 136, 147–148, 175, 178, 233, 338
дело Бароды в 162
законодательство о подстрекательстве к мятежу в 183, 332
индийские «осведомители» в 141
индийские юристы в 184
как культурный конструкт 149, 154, 160
крестьяне в 125, 126–127, 133, 135, 136, 137, 138, 148, 162, 192, 195, 200
либеральные принципы в 122, 125, 139, 140, 142, 147–148, 173, 175, 178, 179, 183, 206, 338
мусульмане в 142, 155, 176, 177
мятежные настроения в 126, 135, 137, 148, 154, 160, 163, 164, 165
националистическое движение в 168, 173–178, 179, 180, 184, 196, 200, 202, 203, 206
неграмотность в 126, 133, 192, 203
образование в 126, 148
плантаторы индиго в 127, 129, 132, 135, 136, 137
подсчеты в 143
политическая структура в 161
положительный взгляд на 137, 145, 163–164, 165
противоречия в 122, 148, 149, 155, 166, 173, 177, 176, 178, 183, 206, 338
райоты в 126–127, 135, 136, 137, 148, 162
расизм в 142, 148
свадеши 175, 198, 201, 202, 203, 204
Синий мятеж в 133, 135
столкновения между индуистами и мусульманами в 176
судебная система в 133, 148, 162, 183–191, 195, 333
терроризм в 76–177, 193
утилитаризм в 148
христианские миссионеры в 127, 142, 163
см. также Индия, Индийская гражданская служба (ИГС), индийская литература
Брюнс, Марианна 266

Брюссель, Бельгия 60
Буало, Николя 33
Бунке, Надя 297
Бунке, Тамара 296
Бхагаватгита 184
бюрократия:
в Британской Индии 124, 135–136, 143, 148, 175
в Восточной Германии 211, 212, 213, 227, 238, 297, 304, 323
во Франции при Бурбонах 44, 45, 47, 51
Бюре, аббат 51

Валль, М. 102, 104, 106, 112
Вангенхайм, Инге 256
Вебер, Макс 44
Веды 155
Везенер, Ганс-Юрген 210, 211, 213–215, 219, 220, 221–224, 226, 228, 230
Векверт, Манвред 293
Венгрия, антисоветское восстание в 275, 276, 277
Версаль, «плохие книги» создаются в 84, 89, 92
Вигель, Хелена 277, 290
Видьязагар, Ишварчандра 159
Виктория, королева Англии 138, 164
винтовка Энфилда 141
власть государства 8, 18, 332
взгляды просветителей на 22
злоупотребление ей 339
преданность функционеров ей 338
Война за австрийское наследство 67, 91
Вольтер 21, 53, 55, 64, 68, 76, 83, 336, 344
Вольф, Герхард 284
Вольф, Конрад 239
Вольф, Криста 223, 231, 240, 252, 275, 280, 284, 285, 286–288, 296, 304, 312, 321
Восстание сипаев 123, 140, 141, 142
Восточная Германия:
антиконсьюмеризм в 214, 219
берлинские волнения в 274, 275
Бюро по авторским правам 242, 261, 282, 283
бюрократия в 211, 212, 213, 227, 238, 297, 304, 323
вопрос гонки вооружений в 238, 243, 287, 303, 315
диссиденты в 214, 227, 242, 248, 252, 275, 321, 323, 337
ее конституция 211
ее развал 210, 214, 320–330
загрязнение окружающей среды 225, 227, 254
концепция «Leseland» в 214, 322
министерство культуры в, *см.* министерство культуры Восточной Германии
нехватка бумаги в 228, 237, 323

нишевое общество в 217
ограничения на выезд из 241, 251, 252, 259, 291, 293, 294, 319
отношения с Западной Германией 217, 244, 250, 256, 308, 319, 325
перебежчики из 217, 242, 252, 262, 279, 321, 325
проблемы трудоустройства в 281
революционный дух в 303, 314
слежка в 274, 279, 290, 319
социал-демократическая партия в 213
социалистическая власть в 220
сталинизм в 210, 225, 227, 241, 275, 277, 279, 289, 320, 333
сцена Пенцлауэрберга 242, 256
тайная полиция в, *см.* Штази
театр в 239, 290–300
см. также коммунистическая партия Восточной Германии, восточногерманские цензоры, восточногерманская литература
восточногерманская литература:
«Bitterfelder Weg» в 248, 250
антиимпериализм в 218, 237
антифашизм в 218, 220, 237, 268, 270, 329
важность языка для 253, 282
влияние Hinze-Kunze-Roman на 319
группа «Антологии» в 253–255, 257
детективы в 219, 237, 167, 279
драматургия в 290–300
ее бюрократическое обозрение 212, 227, 239, 297, 304, 323
ее преследование 229, 231, 237, 251, 258, 274–289, 301–319, 329
ее систематическая цензура 259, 274, 280, 286, 297, 304, 323, 336, 337
ее центр распространения 310, 313–314, 330
ее экономические стороны 222
жанры в 214
журналы в 213, 241, 244, 256, 315
заявляемая роль ГАПа в 211
изображение капитализма в 217, 219, 279, 303
иностранные книги в 224, 225, 227
исторические события в 237, 267, 294
китч в 266
контроль коммунистов над 213, 224, 226, 227, 228, 229, 232, 237, 239, 241, 244, 255, 258, 274, 301–319
криминальные драмы в 265, 279
линия партии в 221, 222, 224, 237, 239, 240, 258, 277, 325, 329, 333
любовные романы в 264
научная фантастика в 219, 234, 237, 264
«опасные» книги в 225–226, 228, 237, 297, 329
«позднебуржуазный» стиль в 231, 250, 255, 257, 270, 297, 303, 304, 305, 312
полицейский надзор за 268

восточногерманская литература (*продолжение*):
пролетарские темы в 237
разрешение на печать для 227, 228, 229, 256, 266, 270, 304, 310, 313, 315, 320, 321, 323, 325, 329
рецензии в прессе на 229, 251, 257, 310, 315, 318, 319, 339
самиздат в 286, 320
сбор отзывов до публикации в 227, 228, 261, 297, 329
семейные драмы в 219
социальные исследования в 268
соцреализм в 219, 220, 224, 237, 248, 250, 258, 270, 272, 280, 293, 303, 305, 308, 312, 315, 318, 319
спрос на 266
типографические «ошибки» в 228, 281
читательские отзывы на 248, 258, 268, 270, 271, 273, 305, 307, 309, 315, 334, 335
щекотливые темы в 227
см. также писатели, восточногерманские, ГАП, план, издатели, восточногерманские.
восточногерманские цензоры:
«Spielraum» для 223, 225, 323
беспокойство насчет языка у 253, 282
их неофициальные действия 239, 305, 308, 327, 337
отрицание их существования 320–330
поддержка системы для 260, 274, 280, 286, 297, 304, 323, 336, 337
представления у 211, 338
ранги среди 213, 307
свидетельства из первых рук от 12, 17, 210–231
штаб 210
см. также ГАП, Kultur
Врийер, герцог де Ла 115
Всемирная декларация прав человека 15
Всемусульманская индийская лига 176
Вторая мировая война 329

Гаага, Нидерланды 110
Гавел, Вацлав 230, 327
Гамильтон, Р. К. 186
Гамшик, Душан 345
Гангули, Кунджа Бехари 200, 201, 203
Ганди, М. К. 181
Ганеша 193
ГАП:
Hinze-Kunze-Roman и 304, 305, 307–310, 313, 315, 318, 319, 320
администраторы в 213
бюрократическая направленность в 213
взаимодействие Брауна с 229, 290, 291
влияние автора на 286
документация в 227, 310
его архивы 31

его заявляемая задача 211
заявки на книги в 222, 223, 258, 268, 270, 271
методы цензуры в 224
надзор ЦК за 228, 229, 237
отделы в 221
отношения Kultur с 223, 225, 227, 237, 239, 260, 270, 273, 327
отношения издательств с 273, 383, 329
правка текстов в 227, 228, 270, 271, 273, 282, 305, 307–310, 318, 323, 329, 333, 336
предложение группы «Антологии» в 253–254
предложение реформ в 323, 329
процедурные «страховки» в 228, 229, 310, 313
разрешение на печать от 227, 228, 229, 256, 271, 304, 310, 313, 315, 320, 323, 325, 329
составление плана в 222, 224–228, 237, 239, 270, 336
споры внутри 232
стилистические стандарты, принятые в 250
Гельвеций, Клод-Адриан 74, 76, 78
Гельвеций, мадам 75
Генеральная ассамблея духовенства Франции 75, 79
Георг V, король Англии 195
Германия, объединение 209
Германская демократическая республика (ГДР), *см.* Восточная Германия
гласность 320
Глэдстон, Уильям 173
Говиус, М. 108
Голдсмит, Оливер 189
Горбачев, Михаил 227, 320
Гофман, Эрвинг 25
Гранин, Даниил 330
Грант, Дж. П. 138
Гузман, Луи-Валентин 110
Гупиль, Пьер-Огуст 96, 97, 98, 100, 101–104, 106, 114, 115, 116
«Гэльский Американец» 181
Гюнтер, Лотар 217
Гюнтер, Эберхард 189–190, 196–197, 211, 212, 213, 214, 271, 280–283, 304, 305, 306, 307–308, 309

Д'Аламбер, Жан ле Ронд 55
«Далеко от Москвы» (Ажаев) 350
Дамьен,Робер-Франсуа 77
Данэ, Герхард 232
Дас, Рамани Мохан 198
Датт, Асвини Кумар 201, 202
Дворец правосудия 95, 100
де Боз, М. 46
де Бройн, Гюнтер 229, 263, 312, 321

Де, Харинатх 153
деизм 64
Дефо, Даниель 132
де Ла Бом, аббат 55
де Ла Вий, аббат 52
Дели, Индия 177
Делиль де Сале 79
Деменьтьев, Александр 342
Десож-отец 101, 102, 104, 113
Десож-сын 101, 104
Джетекар, М. А, 171
Джойс, Джеймс 249–250
Дидро, Дэни 14, 76, 78, 302, 311
дирекция по книжной торговле 29, 30, 34, 35, 49, 53, 61, 63
Дисраэли, Бенджамин 173
«Дневник» (Никитенко) 341
«Доктор Живаго» (Пастернак) 224
Доусон, В. 195
Дубчек, Александр 344
Дути, Хельга 266, 268, 271, 272, 280, 281, 282, 305, 307, 309
д'Эмери, Жозеф 82, 102, 107, 108, 115
Дюбюиссон, М. 84, 87, 88, 89, 92

Европа, националистические движения в 180
епископы, французские 73

«Жак-фаталист» (Дидро) 302, 308
Женева, Швейцария 64, 106, 110, 111, 114, 172
«Женитьба Фигаро», (Бомарше) 43
женщины, во французской торговле книгами 92, 93, 117
«Жизнь и труды Джузеппе Мадзини» 180
Жируа, аббат 71
Жиффар, Пьер-Франсуа 23, 26

Закс, Ганс 283
Западная Германия:
восточногерманские авторы, опубликованные в 224, 242, 244, 248, 251, 253, 261, 280, 285, 286, 291, 308, 314, 319, 329, 337
изображение в восточногерманской литературе 264, 303
контрабанда книг из 224, 286
отношения Восточной Германии с 219, 244, 250, 256, 308, 319, 325
перебежчики в 219, 262, 279, 325
СМИ в 244, 250, 256, 258, 294
Зегерс, Анна 276, 277
Зейпель, Йоахим 263
Зелбиг, Клаус 308, 309, 312, 317
«Зубр» (Гранин) 227

Ибаррури, Долорес 329
издатели, восточногерманские:
в ГАПе 213
в составлении плана 225, 239
идеи книг от 261
исправление текста в 251, 260, 323, 336
как члены партии 224, 261, 273, 276, 277, 282
наблюдение за 224
обращение коммунистической партии с 275–278, 282, 283
отзывы до публикации от 227, 228, 261, 268, 270, 304, 307, 310
отношения авторов с 224, 227, 237, 244, 251, 260, 279–281, 281, 291, 304–308, 329, 337
отношения ГАПа с 273, 283, 329
предложение реформ для 323, 329
стилистические соображения у 266, 267, 268, 335
тиражи у 237–238
уголовное наказание для 276, 333
издатели, индийские:
в тюремном заключении 178, 183, 186, 204, 205
наблюдение британцев за 124, 125–130, 132, 143, 169, 178, 181–182
незарегестрированные работы у 170–171
обвинения в подстрекательстве к мятежу против 153, 178, 182, 183, 186, 203–204, 205
правила для 184–185
рост их числа 124, 170
см. также индийская литература
издатели, французские, *см.* книготорговцы, французские
империализм:
британский подход к 139, 145, 148, 173, 179, 183, 205, 338
восточногерманский взгляд на 219, 237
герменевтические споры о 186
литературный взгляд на 165
империя Моголов 141, 164, 166, 174
Индийская гражданская служба (ИГС):
ее архивы 17–18
индийские гражданские служащие 136, 148
катологизирующая книги 152, 154, 155–160, 186, 203, 335, 338
критика 165, 166, 195, 206
литератруные отзывы в 145–147, 149, 153, 154, 155–160, 335
наблюдение за издательской индустрией в 124, 125–130, 132, 143–145, 149–154, 161–173, 178, 179, 181–182, 195, 334, 335, 339
наблюдения за ятра в 201–202, 204–205
положительные оценки в 138, 164
расследование националистического движения в 195, 202, 203, 205
филологические соображения у 153, 156
индийская литература:
британский надзор за 124, 125–130, 132, 143–145, 149–154, 161–173, 178, 179, 181–182, 195, 334, 335, 339

индийская литература (*продолжение*):
в каталогах 143–145, 149–154, 161–173, 178, 179, 181–182, 186, 195, 203, 335, 338
герменевтические споры о 183–191, 193–195, 196–201, 333
драматургия в 185, 192, 195–205
ее распространение по провинции 192–205
песни в 192, 192–195, 202, 204, 205, 333
призыв к мятежу в 153, 161–173, 176–178, 183, 186, 188, 189, 193–204
полицейские меры против 179–180
религиозное содержание в 10, 126, 131, 154, 155, 157, 188–189, 193, 195, 201
репресии по отношению к 173–182, 337
суды, связанные с 112, 132, 138, 149, 183–191, 333
устный аспект у 192–205
см. также писатели, индийские, бенгальская литература, издатели, индийские
Индийский акт о прессе 1910 года 185
Индийский национальный конгресс 173, 175, 176
Индийский свод наказаний 1860 года 183
Индия:
в британском понимании 124, 125, 139, 143, 145, 146, 147–148, 149, 153, 155, 161, 185, 202
исторический взгляд на 165
печать в 124, 130, 145
провинция Уд 169
языки в 141
см. Британская Индия
индуизм, индуисты 125, 126, 128, 142, 149, 155, 156, 159, 163, 164, 166, 168, 174, 176, 181, 184, 187, 188, 189, 193, 194
инспектора по книжной торговле (inspecteurs de la librairie) 83
в подпольной торговле книгами 116
выезжающие в провинцию 102–108
допросы с участием 86–93, 98–100, 101
ограничения для 95
преследующие мелких торговцев 84–85, 94, 95, 96–102
институт Браджа Мохан 202–203
Институт марксизма-ленинизма 233
Интернет:
гражданские права и 15
цензура в 7, 18
история:
«вигов» 15
сравнительная 9

Йогананд, Свами Шиванад Гуру 192–194

Кавалье-отец 26
Кавалье-сын 26
Кали 155, 166, 177, 201

Калькутта, Индия:
«бульварная литература» в 146–147
бхадралоки из 174, 175
книжная индустрия в 124, 126, 128, 130, 156, 169
мусульманское население в 176
националистическое движение в 174, 177–178
преступность в 147, 158
Синий мятеж в 133, 135
слушание по делу Nil Durpan в 138
театр в 128, 135, 156, 195
«упадочная» культура в 166
Кан, Франция, книготорговцы из 103, 107
Кант, Герман 250, 318
канцлер Франции 45
Карадёк де ла Шалотэ, Луи-Рене де 108
Карлайл, Томас 146
Кастро, Фидель 295, 296–297, 299
католическая Церковь 57, 64, 74
Каупер, Уильям 189
Кауфман, Ганс 305–305, 307, 309, 315
Керзон, лорд 174, 175, 200
Керзон-Уилли, Уильям 177
Керндль, Райнер 326, 327
Кирш, Райнер 245–246, 247
Кирш, Сара 247, 284
Китай, цензура Интернета в 7
Киш, Данило 347
клевета 132, 136, 139
книги:
история книги 22
либеральный взгляд на 140–141
преследования книг 7, 21; *см. также* цензура, последующая
см. также литература
Книгоиздательская компания, Англия 14
книготорговцы, восточногерманские:
в создании плана 225, 239
запасы Hinze-Kunze-Roman у 310, 313–314, 320
наблюдение за 224
книготорговцы, французские:
в перечне 1764 года 81
в провинции 80–81, 89, 91–118
в тюремном заключении 83, 89, 92, 96, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 106, 108, 114, 116
и их легальные обязательства 23, 26, 27, 49
и их хитрости 115
и незаконная торговля 61, 68, 82–118
как гильдия 25, 26, 27, 28, 80–81
мелкие 94–102, 115, 116
правила с 1770 года для 81

кодекс Мишо 74
Койер, Ж.-Б. 76
Колбэ, Увэ 242, 255, 259
Кольбер, Жан-Батист 27
комиссия по индиго 135, 137
коммуникации:
  их ограничение 8
  их сила 10
коммунистическая партия Восточной Германии 210
  аппаратчики из 213, 225, 229, 261, 277, 293, 297, 304, 307, 312, 315, 318, 336
  выговоры от 228, 282, 318
  ее архивы 12, 231–240, 262, 274, 275, 277, 280, 290
  ее бюрократическая риторика 253
  ее бюрократия 211, 212, 213, 227, 239
  ее контроль за литературой 213, 224, 227, 228, 229, 232, 235, 237, 239, 240, 244, 255, 258, 261, 264, 274, 301–319
  ее обращение с издателями 275–278, 281, 282
  ее обращение с писателями 232, 241, 273, 277, 280–289, 301–319, 321, 323, 329
  ее реперссивная тактика 274, 275–279
  линия партии 222, 224, 236, 237, 239, 258, 277, 325, 329, 333
  партийная школа при 310
  реформаторы в 213
  см. также Центральный Комитет партии, Kultur, Политбюро
Кондильяк, Этьен Боннот де 41
Константин, принц де 90
Конституция США, Первая Поправка к 13, 16, 340, 352
Королевский совет 75, 76, 77
Корт, Вольфганг 219
Коттере, М. 66
Коттон, Генри 179, 180
Крамер, Габриель 64, 114
Кребийон-сын 41, 58, 338
Кронон, Уильям 15
Кроэбер, Вольфганг 217
Кундера, Милан 343–346
Кунерт, Гюнтер 284
Кутзее, Дж. М. 340
Кьеркегор, Сорен 231
Кэннинг, лорд 138
Кюннє, Манфред 269

Ла Марш 94, 95–100, 101, 102, 114, 115, 116
Лаба, Ф. Ж.-Б. 26
Лавор, М. 69
Ланге, Арно 235
Ланге, Катя 259
ле Гра, Теодор 26

Ле Руж, аббат 66
Ленуар, Жан-Шарль-Пьер 97, 98, 100, 101, 104, 114, 115, 116
Лёст, Эрих 231, 262, 274, 275, 279–283, 284, 336
либерализм 15
    в Британской Индии 121, 125, 127, 140, 148, 173, 175, 180, 183, 206
Либкнехт, Карл 303, 315
литература:
    вмешательство государства в 12
    давление западного рынка на 214, 321, 347, 350
    ее общественное значение 238, 341, 344, 350
    ее элементы 338
    реакция читателя на 334
    сатирическая 138
    см. также восточногерманская литература, французская литература, индийская литература
Литературный институт Йоханеса Р. Бехера 276
литография 144
Литтон, лорд 166–167
лицензионный акт 14
Локк, Джон 14, 15
Лонг, Джеймс 122, 123–131, 132, 133, 135, 138, 139, 140, 157
Лондон, Англия, торговля Франции книгами с 69, 106, 110
Лоулер, Уильям 145–147, 152, 154, 157
Лувр 95, 101
Лука, Абраам 103, 106
Лукач, Георг 277, 278, 332
Люксембург, Роза 303, 315
Льеж, Бельгия 60
л'Экорше, вдова 102, 104
Людовик XV, король Франции 34, 67, 77, 91, 111
Людовик XVI, король Франции 97, 105, 113

Мазелин, М. 84, 86–90, 92
Мазумдар, Бхабаранджан 203
Май, Карл 236
Майер, Ганс 279
Майяр, М. 89, 90, 92
Маканда Лал Дас 195–204, 332
Маколай, Томас Бабингтон 148
Маласси, Жан-Закари 108
Мальзерб, К. Ж. де Ламуаньон де 29, 30, 34, 44, 45, 47, 62, 76, 78, 80, 82
    аудиенции у 37, 45
    его мемуары 34, 56, 61, 74, 78, 80
    назначающий цензоров 51, 54, 55, 57
    отношения писателей с 53, 63, 78, 79
    переписка цензоров с 48, 56
    связи при дворе у 71
Мамах, Клаус 329
Манишель, Луиза, *см.* Ла Марш

Манн, Генрих 276
Манури, Жакоб 102, 103–113
Маня, Норман 346–347
Марвий, Клод-Анри Фейдо де 85–91
Мариньи, маркиз де 38–39
Маркаунд, Ганс 251
Марон, Моника 242, 323
«Махабхарата» 131, 147
Машо д'Арнувиль, Жан-Батист 68
Мекюиньон, жена 100, 101
Меншинг, Штеффан 270
Милль, Джеймс 125, 148
Милль, Джон Стюарт 146, 148
Милош, Чеслав 348–349
Мильтон, Джон 14, 15, 186
министерство культуры, Восточная Германия:
в деле «Guevara» 300
в создании плана 223
взаимоотношения с «Kultur» 240
предожения для авторов «Антологии» 258
см. также ГАП
Мине 86
Минто, лорд 175, 176, 177, 179, 180
Митра, Динабандху 135–136, 138
Миттаг, Гюнтер 310, 313, 328
Мишоль, М. 54
модернизм, *см.* восточногерманская литература, «позднебуржуазный» стиль в
«молодой бенгалец» 166, 167
молчаливое согласие 34, 35, 40, 46, 48, 53, 58, 61, 64, 65, 68, 69, 71, 78, 337
Монкриф, Ф.-О. Паради де 37, 38, 39, 40, 54, 55, 57, 58, 67
Монтобан, принцесса де 84, 85
Мопо, Рене-Николя-Шарль-Огустин де 96, 97, 105, 106, 109, 113
Моранд, Шарль Тево де 110
Морлей, Джон 125, 148, 175, 179, 180, 193
Муи, шевалье де 36–38, 51
Мукерджи, Бабу Киран Чандра 197
Мукерджи, Харишчандра 135
Мулин, монастырь в 91
мусульмане, в Британской Индии 142, 155, 175, 176, 184
Мюллер, Айнер 278

«Над пропастью во ржи» (Селинджер) 227
Надь, Имре 277
НАТО, 237
национализм 174, 177, 339
см. также Британская Индия, националистическое движение в

Национальная библиотека Франции 17, 29, 40, 353
Невий, Ле Камю де 29
Невшатель, Швейария 79, 82, 110
Несль, маркиз де 91
Нестлер, Сольвейг 234
Никитенко, Александр 341
Ницше, Фридрих 231
Нобль, Маргарет Э. 174
Новак, Клаус 271
Новак, Курт 217
«Новая Элоиза» (Руссо) 53
«Новый мир» 342
Нойберт, Вернер 309, 316
Нойман, Герт 231

«О свободе» (Милл) 148
«О уме» (Гельвеций) 74–75, 78, 333
Обер, М. 54
Общество трактатов в Калькутте 127
«Один день Ивана Денисовича» (Солженицын) 342
«Опустевшая деревня» (Голдсмит) 189
Орлеанский, герцог 71, 85
Ост-Индская компания 124, 143, 147, 148, 149, 182
Оттоманская Порта 70

палата податей 45
Пале-Рояль 94, 95, 97, 99, 101, 114, 115
«Панта» (Мукерджи) 275
панчали 128
парижский парламент 68, 75, 76, 78
Парижский университет 73
см. также Сорбонна
Паскаль, Ж.-Б, 76
Пашке, Эрика 215
ПЕН-центр 327, 328
Первая мировая война 177
«Песня белой крысы» 195, 197–198, 201, 202, 203, 205, 332
Питрак, Рихард 231
писатели, восточногерманские:
в роли информаторов 256, 275
во «внутренней имиграции» 284
диссиденты 213, 242, 248, 253, 275, 321, 323, 337
и их способы обмануть цензуру 254, 258
из группы «Антологии» 253–254, 258
критика цензуры со стороны 321, 325, 329
наблюдение за 274, 279, 290, 319
обращение коммунистической партии с 232, 241, 273, 277–289, 301–319, 321, 323, 329

писатели, восточногерманские (*продолжение*):
опубликованные в Западной Германии 224, 242, 244, 248, 251, 254, 261, 283, 285, 286, 291, 308, 314, 319, 329, 337
отношения издательств с 224, 227, 236, 244, 251, 260–273, 279, 283, 291, 304–308, 329, 337
подвергшиеся уголовному наказанию 259, 282, 279, 283
поездки и 241, 251, 254, 259, 282, 291, 293, 294, 319
самоцензура и 227, 228, 251, 260, 262, 263, 267, 270, 271, 274, 282, 291, 294, 295, 304, 305, 307, 310, 314, 318
система покровительства для 244, 245
писатели, индийские:
анонимные работы 134, 136
в тюремном заключении 178, 186, 204, 206, 333
и Бенгальское Возрождение 149, 159
и их просьбы отменить цензуру 337
обвинения в подсрекательстве к мятежу против 153, 178, 183, 186, 203–204, 206
рост числа 129, 130
см. также индийская литература
писатели, французские:
в роли цензоров 40–41, 334
в тюремном заключении 83, 88, 333
и их легальный статус 23, 28, 49
отношения цензоров с 53–62, 78, 79, 335, 337
«плохих книг» 83–92
слуги в качестве 83–92, 117
письма «Юниуса» 132
план:
вторичные издания в 224
группы, работающие над 223, 238
его действие 223, 236, 238, 270, 338
его секретность 223
его утверждение 221, 222, 223, 224, 227, 236, 239, 308, 316, 336
идеологические рапорты о 221, 222, 223, 238
на 1982 год 236
на 1984 год 237, 305, 308
на 1985 год 235, 316
на 1989 год 218, 222, 330
на 1990 год 215, 216, 217
предложение реформ о 323, 329
«Племянник Рамо» (Дидро) 302
Пленцендорф, Ульрих 284
Плесси, Шевалье Дю 59
Политбюро 150, 167, 198, 221, 226, 213, 236, 238, 247, 283, 304, 310, 321, 343
отдел идеологии в 156, 169, 221, 238
«Политика» (Аристотель) 180

Польша:
антисоветские волнения в 275, 278
движение «Солидарность» в 320
цензура в 341, 348
Помпадур, мадам де 39, 76, 92
Пон, шевалье де 36
Понсэ де ла Грав, Гийом 38–40
поправки к Индийскому своду наказаний 1898 года 184
поправки к Индийскому своду наказаний 1908 года 185
постмодернизм 16
Пражская весна 280, 344
При, маркиз де 89
привилегии 25, 26, 27, 30, 33, 79, 81, 117, 335, 338
альтернатива им 34
бюрократический процесс за 44, 45, 47, 51
их выдача 32–33, 35
их отчуждение 78, 79
их создание 75
Принн, Уильям 331
«Принципы естественного права» (Формэ) 257
«Пробуждение Японии» 180
просветители 21, 29, 40, 55, 63, 70, 77, 79, 80, 83
Просвещение:
дихотомия в 21
ключевые работы для 63, 73–76
концепция «полиции» в 83–84
литературные репресси при 21
современные ценности, опирающиеся на 21
протестантизм 61, 64, 65, 74
Пруссия 67
Пруст, Марсель 249
пуритане 10

Равинэ, М, 102
Рагвитц, Урсула 223, 224, 227, 232, 236, 239, 242, 273, 320, 321
в делах Брауна 291, 293, 295, 316, 334
в деле «Антологии» 255, 258
в деле Вангенхайма 256, 257
в деле Хильбига 248, 251
иделогические взгляды у 247, 250
отношения Хагера с 238–239
«Рамаяна» 131, 146, 156, 157, 186
«Рассуждения о науках и искусствах» (Руссо) 63
Ратенов, Люц 242, 274, 323
Рей, Марк-Мишель 64, 114
Рейновски, Вернер 267

религия:
в индийской литературе 10, 126, 131, 154, 155, 157, 188–189, 193, 195, 201
противоречия в 338
французские неканонические тексты о 64, 78, 83, 103, 106
реннский парламент 108
Реньер, М. де ла 37
Реньо, Габриель 109, 110, 111, 112
Рембо, Артур 249
Реформация 74
Рёмер, Йоаким 267
Рильке, Райнер Мария 249
Рипон, Лорд 173
Рой, Рам Мохан 149
Роквелл. Норман 348
Россбах, битва при 77
Рудра, Манматха Натха 199
Румыния, цензура в 346–347
Руселе М. 65, 72
Русско-японская война 174
Руссо, Жан-Жак 21, 53, 63, 114

санскрит 127, 129, 130, 138, 141, 153, 159, 160, 195, 196, 197, 198, 205, 333
Сартин, Антуан де 29, 60, 81, 82
сати 142, 147
Сатья Пир 155
Сачеверелл, Генри 132
свобода печати:
английские судебные ограничения над 132–133
аргументы Мильтона в пользу 14
позиция Британской Индии насчет 122, 125, 138, 139, 148, 173, 179, 183–191, 206, 333
см. также свобода слова
свобода слова 13–15, 340, 341, 347, 350, 352
влияние Просвещения на 63
восприятие ее в Британской Индии 112, 179
гарантированная конституцией Восточной Германии 211
как демократический идеал 13–15
подход европейских философов к 14
постмодернистский взгляд на 16
суды в Британской Индии и 112, 132, 138, 148, 183–191, 333
см. также свобода печати
Секус, М. 54
Семилетняя война 67, 75, 77
семья Ламуаньон 45
семья Ноай 70
Сенак, Жан-Батист 56
Сетон-Карр, У. С. 135
сила слова 10

Сингх, Аджит 181
Синий мятеж 133, 135
Систерон, епископ 65
Советский Союз:
важность литературы в 10, 343, 349
восточногерманские войска из 274
восточногерманские книги из 329
десталинизация в 275, 342
диалектический материализм в 348
его вторжение в Чехословакию 280, 344
его распад 320
недовольство в 338
соцреализм 341
упоминания в восточногерманской литературе о 227, 279
цензура в 341–343
см. также восточногерманская литература, соцреализм в
Солженицын, Александр 10, 341–343
Сорбонна 25, 65, 73, 74, 75
Союз драматургов 245
Союз писателей:
в нем не состоявшие 248
в создании плана 223, 238
вызов цензуре в 321, 325
допрашивающий Брауна 317, 318
и его журналы 256
исключение из 276, 279
кандидаты в 259
контроль коммунистической партии над 244, 246
цензурирующий Брауна 295
чиновники ГАПа из 213
сталинизм 210, 275, 278, 279, 289, 320, 333, 341, 343, 345, 347, 348, 349, 350
сторонники Уилкса 132
«Страдания юного Вертера» (Гете) 292
Стрэчи, Справедливый 196, 197
Стюарт, Чарльз Эдвард 67
США:
права из Первой поправки в 13, 340
расположение ракет в Западной Европе 243–244, 287, 303
роль литературы в 10
упоминания в восточногерманской литературе о 227
Сьёберг, Арне 219
Сюар, Жан-Батист-Антуан 41

Тагор, Рабиндранат 158
Твардовский, Александр 342
Террон, Жак-Бенжамин 111
Терсьер, Жан-Пьер 67, 75, 76
Тидке, Курт 310

Тилак, Балвантрао Гангадхар 174, 182, 184, 193, 196, 202
Тимофеев-Рессовский, Николай 330
Тиндейл, Уильям 10
Толстой, Лев 181
Тюрго, Анн-Робер-Жак 97

Ульбрихт, Вальтер 277
утилитаризм 148
«Утраченные иллюзии» (Бальзак) 94
ученые мужи 160, 194

Фельдек, Любомир 222
Ферранд, вдова 84, 93
философы, аргументы в пользу свободы слова у 14
Фиш, Стенли 16
Флигер, Ян 265
Фогт, Вальтер 246
Фонтенель, Бернар Ле Бовьер де 41, 54
Франц, Ульрих 328
Франция, при Бурбонах 19–94
le monde в 36, 37, 53, 71
бюрократия Старого режима при 44, 45, 47, 51
законы о торговле в 27
законы Старого режима при 28
крах Старого режима в 73
международная политика в 64
налоги в 64, 78
общественное мнение в 97–98
парламенты в 73, 74, 76, 78, 108;
см. также Парижский парламент
политические диспуты в 66, 74, 75, 76, 77, 78, 96, 108, 113
политическое влияние в 70
полиция в 80–118, 333
привилегированные места в 95
система «протекций» в 36, 37, 41, 51, 337
сожжение книг в 76
см. также французские цензоры, французская литература
Французская академия 37, 38, 51
французская литература:
«application» в 70, 87, 88, 92
feuille des jugements для 46, 49
государственный контроль над 76, 77, 117
ее исторический контекст 73
ее легальный статус 23–28, 35, 49, 61, 117, 337
ее печать 49
ее система распространения 94–118
и провинциальная торговля 80–81, 89, 92, 93, 94–118
исторические работы в 68
как вопрос экономики 61, 77, 89, 94, 101, 103, 107, 108, 109–112, 337
как объект полицейского преследования 81–118, 333

королевская администрация в, *см.* дирекция по вопросам книготорговли
незаконная 35, 60, 68, 82–118, 337, 339
неканонические взгляды в 32, 60, 64–65, 74, 75, 76, 77, 103, 106
ограничения публикаций для 28
партизанство в 53
политические работы в 66, 96, 103, 105–106, 110, 111, 112, 113, 333
порнография в 69, 98, 103, 105
посвящения в 36, 38–39, 62, 335
последующая цензура над 38, 73, 78, 81–118
протестные работы в 95, 105–106, 110, 111, 112, 113
публикации за рубежом 61, 64, 79, 81, 82, 92, 106, 108, 111, 112, 113, 114, 337
работы просветителей в 41, 63, 73–76
роль женщин в 93, 117
«роман с ключом» в 70, 88, 89, 90, 333
рост числа работ в 42, 68
титульные страницы из 23–28
Французская революция 73
французские цензоры:
варианты одобрения у 34
вопросы анонимности у 55
их взгляды 30–43, 338
их назначение 51, 54, 55, 57
их плата за работу 41
их повседневная работа 44–52
их престиж 41
их социальная среда 41, 334
их суждения 47–48, 49, 50
литературные соображения у 31–33, 52, 57, 59, 67
объем работы у 51–52
ограничения для 117
отказы от 40–41, 59, 70
отношения авторов с 53–62, 78, 79, 335, 337
отрицательные отзывы от 31–33, 55
познания у 42
положительные оценки от 30
проблемные случаи для 63–72
разрешение, получаемое от 34; *см. также* аппробации, привилегии, молчаливое согласие
рапорты от 31–33
Фрезер, Эндрю 177
Фрерон, Эли-Катрин 55
Фридрих II, король Пруссии 32, 67, 77
Фукас, Марион 270, 271, 272
Фуко, Мишель 140, 147
Фуллер, Бампфильд 198, 199
Фушер, аббат 31, 52, 59
Фухс, Юрген 284
Фюман, Франц 231, 254, 257, 283, 312

Хавличек, Франтишек 344–345
Хагер, Курт 221, 227, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 258, 273, 284, 292, 293, 294, 296, 298, 299, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 334
Хайм, Штефан 243, 283, 284, 295–296
Хайн, Кристоф 214, 229, 263, 321, 322
Хакс, Петер 327
Ханке, Эрих 329
Харвич, Х.-Г. 314
Хардинж, Лорд 177
Хафеман, Роберт 284
Хенли, Уильям 40
Хентшель, Франц 316
Хермлин, Штефан 250, 251
Херцберг, Вольфганг 269, 270
Хёнч-Харендт, Урсула 267
Хёпке, Клаус 223, 228, 229, 230, 231, 232, 235, 236, 237, 242, 243, 244, 251, 273, 287, 288, 292, 306, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 317, 321, 323, 324, 327, 328, 329, 334
Хильбиг, Вольфганг 243, 244, 247–353
Хинкель, Эрика 246, 291, 297, 299, 300, 316
Ховитт, Уильям 182
холодная война 234, 288, 323, 339
Хорн, Кристина 210, 211, 213, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 232, 235, 261
Хорсбруг, Р. П. 192
Хоффманн, Ганс-Йоаким 232, 239, 240, 241, 251, 252, 273, 313, 315, 316, 321
хранитель печати 49
Хрущев, Никита 275, 342

Центральный институт истории литературы 257
Центральный Комитет партии 213
  его восприятие Hinze-Kunze-Roman 310, 313, 316, 318, 319
  его документы 232
  его надзор за ГАПом 228, 229, 236
  одобрение им плана 221, 222, 223, 224, 236, 308
  см. также Kultur
цензура:
  в Британской Индии 119–206
  в Восточной Германии 207–330
  в цифровую эпоху 7, 8, 18, 352
  взгляды на 338
  во Франции при Бурбонах 19–118
  ее границы 8
  ее документальные свидетельства 8, 12, 14, 17–18, 19–20, 164–170, 231, 232–240, 243, 334, 351
  ее определения 11, 12, 331, 338
  ее противники 12
  ее отмена в Англии 14, 132
  научные подходы к 12–14, 17–19, 21–22, 23–24, 236, 243, 339, 351

опыт жизни при 331, 341–349
переговоры в рамках 335, 336, 349
«положительная» 25, 229, 335
последующая 12, 35, 73, 78, 81–118, 232, 261
само-, 227, 228, 251, 260, 262, 263, 267, 270, 271, 274, 282, 291, 294, 295, 305, 306, 307, 310, 314, 318, 341, 345, 346, 341
устройство 9, 10
см. также восточногерманские цензоры, французские цензоры
Цибулька, Ганс 266

Чандра, Бхарат 129
Чаушеску, Николай 346
Черни, Хорст 265
чернобыльская катастрофа 320
«Черный пакет» (Маня) 346
Чехословакия:
антисоветские волнения в 280, 344
цензура в 345

Шабовски, Гюнтер 326
Шартр, герцог де 36
Шастри, Шибонат 174, 178
Шатору, героцогиня де 91
Шенон, Пьер 98, 99, 101, 102, 103, 104, 106
Шива 166
Шиваджи 174, 184
Шленштедт, Дитер 271, 304, 305, 306, 307, 309, 310, 312, 315, 334
Шленштедт, Сильвия 271, 304
Шнайдер, Ганс 327
Шоу, Грэхэм 17
Шретьян, аббат 79
Штази 256, 274, 275, 277, 279, 283, 290, 321
Штраус, Лео 15, 334
Штриттматтер, Эрвин 231

Эдвард, принц Уэльский 164, 200
Эдуард VII, король Англии 194
«Эмиль» (Руссо) 53, 63
Эндлер, Адольф 242
«Энциклопедия» 21, 63, 76, 77, 78

Югославия, цензура в 347–348
Южная Африка, цензура в 340, 349

Ягер, Манфред 257
якобиты 67, 132
Якобс, Карл Хайнс 264, 284
Янка, Вальтер 276–279, 332, 333
Янсен, Корнелий 64
янсенизм 64, 65, 68, 70, 77, 79
Ярматц, Клаус 318
ятра 128, 198–204

Роберт Дарнтон

ЦЕНЗОРЫ ЗА РАБОТОЙ

Как государство формирует литературу

Редактор *К. Корчагин*
Дизайнер серии *Д. Черногаев*
Корректор *О. Косова*
Верстка *Д. Макаровский*

Налоговая льгота — общероссийский
классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

ООО РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА
«НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

Адрес редакции:
123104, Москва,
Тверской бульвар, 13, стр. 1
тел./факс: (495) 229-91-03
e-mail: real@nlo.magazine.ru
сайт: www.nlobooks.ru

Формат 60×90 1/16. Бумага офсетная № 1.
Офсетная печать. Печ. л. 24. Тираж 1000.
Отпечатано в ОАО «Издательско-полиграфический комплекс
„Ульяновский Дом печати“»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14